

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED  
УЧЕННЫЕ ЗАПИСКИ  
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS  
ALUSTATUD 1893. a.      VIHİK 369 ВЫПУСК      ОСНОВАНЫ в 1893 г.

---

---

# ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

## XXVI

### ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ



ТАРТУ 1975

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED  
УЧЕННЫЕ ЗАПИСКИ  
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS  
ALUSTATUD 1893. a. VIHİK 369 ВЫПУСК ОСНОВАНЫ в 1893 г.

---

**ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И  
СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ**

**XXVI**

**ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ**

ТАРТУ 1975

Редакционная коллегия: Б. Егоров (председатель), С. Исаков, Ю. Лотман, П. Рейфман

Ответственный редактор тома З. Минц.

Ученые записки Тартуского государственного университета. Выпуск 369. Труды по русской и славянской филологии XXVI. Литературоведение. На русском языке. Тартуский государственный университет. ЭССР, г. Тарту, ул. Юликооли, 18. Ответственный редактор З. Минц. Корректор В. Логинова. Сдано в набор 24. 03. 1975. Подписано к печати 25. 09. 75. Бумага типографская № 2. 60 × 90. <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печ. листов 13,0. Учетно-издат. листов 17,75. Тираж 800. МВ 05464. Заказ № 1546. Типография им. Х. Хейдемманна, ЭССР, г. Тарту, ул. Юликооли, 17/19. II  
Цена 1 руб. 78 коп.

7—2

© Тартуский государственный университет 1975

### СТАТЕЙНЫЙ СПИСОК 1652 г. КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАМЯТНИК

Е. В. Дущечкина

В конце мая 1652 года Алексей Михайлович написал Никону, тогда еще новгородскому митрополиту, послание, в котором рассказывает о перенесении мощей патриарха Иова из Старицы в Москву, о болезни и смерти патриарха Иосифа и о том, как он, царь, «строил душу» покойного патриарха. Никон в это время возвращался с Соловков, куда он был послан за мощами митрополита Филиппа. Он выехал из Москвы 20 марта, вскоре после того, как царь и священный собор положили перенести мощи святителей Гермогена, Иова и Филиппа в Москву и установить их в недавно поновленном Успенском соборе рядом с другими московскими святынями<sup>1</sup>.

За время отсутствия Никона в Москве произошли крупные и тревожные события. 5 апреля, через пятнадцать дней после отбытия Никона на Соловки, из Старицы в Москву были перенесены останки патриарха Иова, некогда изгнанного поляками из Москвы, и установлены в соборе Успения Богородицы. В этой церемонии принимал участие сам царь, который ездил встречать торжественную процессию к Тверским воротам<sup>2</sup>. Мощи Иова были открыты для свидетельства и, как говорили, уже начали творить чудеса. 11 апреля на Вербное воскресенье престарелый и уже неделю как тяжело больной патриарх Иосиф служил в соборе, после чего у него был стол, на котором присутствовали знатные бояре и церковные власти<sup>3</sup>. Здоровье патриарха резко ухудшалось с каждым днем, а 15 апреля он скончался, как говорили впоследствии, от апоплексии.

<sup>1</sup> См.: Выходы Государей царей и Великих князей Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича всея Руси самодержцев. (С 1632 по 1682 год). М., 1844, с. 255; Дворцовые разряды. Т. III. (С 1645 по 1676 г.). СПб., 1852, стлб. 300—301.

<sup>2</sup> См.: Дворцовые разряды. Т. III, стлб. 306.

<sup>3</sup> Там же. См. также: В. Берх. Царствование царя Алексея Михайловича. Ч. 2-я. СПб., 1831, с. 75.

ческого удара<sup>4</sup>. Патриарший престол оказался свободным. О смерти патриарха уже давно если и не мечтали, то во всяком случае, говорили и надеялись на нее. Иосиф в последние годы служил, по выражению В. О. Ключевского, «жалким статистом на придворной сцене»<sup>5</sup>. Царь и его духовник Стефан Вонифатьев, глава кружка ревнителей древлего благочестия, давно, видимо, оговорили вопрос о его преемнике<sup>6</sup> — по их мнению, лучшей кандидатуры, чем Никон, на это место не было. И вот патриарх умер, а до возвращения Никона было далеко — он еще только ехал на Соловки. Все вышеописанные события и легли в основу послания, мимо которого никогда не проходили исследователи времени царствования Алексея Михайловича. Его использовали как источник сведений для взаимоотношений Никона и 23-летнего царя, на него опирались исследователи истории раскола, оно являлось иллюстрацией в оценке характера «тишайшего» государя<sup>7</sup> и т. п. И все авторы, как один, восхищались слогом этого, по словам С. М. Соловьева, «драгоценного письма», непринужденной манерой писания, начитанностью его автора, психологизмом, искренностью и проникновенностью. П. Бартнев, публикуя послание Алексея Михайловича, называет его одним из «самых замечательных памятников древней русской словесности»<sup>8</sup>. И тем более удивительно, что специальному анализу его текст никогда не подвергался.

Впервые оно было опубликовано в 1836 году в IV томе «Актов, собранных Археографической экспедицией», откуда было перепечатано арх. Аполлосом в его книге «Начертание жития и деяний Никона» (М., 1845), и наконец, в 1856 году появилось

---

<sup>4</sup> Митр. Евгений (Болховитинов). Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви. Т. I, изд. 2-е, СПб., 1827, с. 313.

<sup>5</sup> В. О. Ключевский. Сочинения. Т. 3, М., 1957, с. 303.

<sup>6</sup> Свидетельством острых разногласий между кружком Стефана Вонифатьева и патриархом, доходивших до личных оскорблений, может служить публикуемая Н. Ф. Каптеревым челобитная Иосифа царю. (См.: «Православное обозрение», 1887, декабрь, с. 786—799). См. об этом также: Н. Ф. Каптерев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. Сергиев Посад, 1909.

<sup>7</sup> См., например, следующие работы: А. З е р н и н. Царь Алексей Михайлович. Историческая характеристика из внутренней истории России XVII столетия. — «Москвитянин», 1854, № 17; П. М е д о в и к о в. Историческое значение царствования Алексея Михайловича. М., 1854; И. З а б е л и н. Русская личность и русское общество накануне петровской реформы. В его кн.: Опыты изучения русских древностей и истории. Ч. I, М., 1872; М. Х м ы р о в. Царь Алексей Михайлович и его время. Нравописательный очерк. — «Древняя и новая Россия», 1875, октябрь; Н. К о с т о м а р о в. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Вып. IV. XVII столетие. СПб., 1874; С. М. С о л о в ь е в. История России с древнейших времен. Кн. V, тт. 9—10, М., 1961.

<sup>8-9</sup> Собрание писем царя Алексея Михайловича с приложением Уложения сокольничья пути, с пояснительною к нему заметкою С. Т. Аксакова. Издал П. Бартнев. М., 1856, с. 56.

в «Собрании писем царя Алексея Михайловича» П. Бартевева, издании, может быть, и не достаточно компетентном, но безусловно важном в культурно-историческом аспекте: это была первая, хоть и далеко не исчерпывающая, сводная публикация сочинений царя Алексея. Сборник предназначался для широкой читательской публики, и несмотря на то, что давал повод для во многом справедливой критики И. Забелина, сыграл положительную роль.

Археографическая комиссия, а вслед за нею арх. Аполлос и П. Бартевева воспроизводили не подлинный текст Алексея Михайловича, а копию с него, снятую в XVII веке. Подлинник послания до сих пор остается науке неизвестен.

Предлагаемая статья представляет собой опыт интерпретации послания Алексея Михайловича как текста литературного. Нет сомнения в том, что литературным произведением в современном значении этого понятия назвать его нельзя. Сочинение царя Алексея — произведение сугубо личное, написанное только для Никона, что царь тщательно оговаривает, прося Никона хранить в тайне как само послание, так и его содержание: «И тебе б, владыко святой, пожаловать сие писание сохранить и скрыть втайне, ее пожаловать тебе великому господину прочесть самому...»<sup>10</sup>. Но тем не менее царь, имевший всегда, а особенно в ранние годы своего царствования, склонность к литературному труду, о чем свидетельствуют многие документы, к этому своему сочинению отнесся с особым рвением и безусловно тщательно обдумывал не только то, о чем он писал, но и саму манеру изложения.

Вопрос о жанре послания Алексея Михайловича Никону никогда не ставился; в исследовательской литературе оно обычно называется письмом, хотя никаких специфических признаков этого жанра письменности XVII века, которые царь всегда строго соблюдал<sup>11</sup>, обнаружить в нем нельзя. Да и сам автор воспринимал его иначе: оно было отправлено в качестве приложения одновременно с письмом, в котором Алексей Михайлович сообщает Никону о тех же событиях, но при этом строго следуя установленному канону. Царь называет свое произведение статейным списком<sup>12</sup>, что тоже не соответствует давно за-

<sup>10</sup> Собрание писем царя Алексея Михайловича. Издал П. Бартевева, с. 184. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте в скобках.

<sup>11</sup> См.: Письма русских государей и других особ царского семейства. V. Письма царя Алексея Михайловича. М., 1896; см. также письма Алексея Михайловича в издании П. Бартевева.

<sup>12</sup> Копия списка имеет следующий заголовок: «Список с статейного списка слово в слово, о принесении мошей в царствующий град Москву Иева, патриарха московского и всеа Русии чудотворца, и о преставлении Иосифа, патриарха московского и всеа Русии, каков статейной список прислан от государя царя и великаго князя Алексея Михайловича всеа Русии, на дорогу, едучи с Соловков, к великому господину преосвященному митрополиту великаго Новаграда и Великих Лук, с московским сотником».

крепленному в науке представлению о статейных списках как об отчетах послов. Назвав так свое послание, Алексей Михайлович тем самым распространяет этот термин на отчет вообще, каковым оно несомненно является. Ведь рассказ о перенесении мощей Иова, о болезни и смерти Иосифа и переписи его имущества действительно представляется подробным отчетом Алексея Михайловича как о своей деятельности, так и о деятельности церковных и светских властей за время отсутствия Никона. То, что такого рода отчет адресовался именно Никону, неудивительно. Никон к этому времени уже давно был «собиным другом» царя; они не только часто встречались для бесед, но и в бытность Никона новгородским митрополитом вели активную переписку<sup>13</sup>, причем царь относился к Никону, как к старшему и многоопытному другу, с несомненным пиететом. Кроме того, после смерти патриарха Иосифа Никон, как уже говорилось, был, по существу, единственным реальным претендентом на патриарший престол и следовательно — первым духовным лицом в государстве. Поэтому естественно, что именно у него Алексей Михайлович, строгий блюститель церковных служб, спрашивает в следующем своем письме, кому вместо умершего патриарха и как петь многолетия<sup>14</sup>, и именно ему отсылает подробный отчет об апрельских событиях, носящий исповедальный характер, о чем пишет сам царь, называя его своей духовной исповедью: «а я к тебе, владыко святой, пишу духовную» (183). Тщательно описывая свои собственные действия и действия церковных властей, царь указывает на все нарушения обрядов и устава, которые имели место за время отсутствия Никона и просит у него прощения и отпущения этих «грехов». Послание Алексея Михайловича явилось, таким образом, своего рода исповедью, написанной в форме подробного отчета, адресованного к будущему патриарху.

Статейный список Алексея Михайловича с точки зрения содержания распадается на четыре части. В начале его царь описывает перенесение в Москву мощей Иова, свое участие в этой церемонии и свои впечатления от нее; большая и наиболее интересная в литературном отношении часть посвящена описанию хода болезни и смерти Иосифа; далее Алексей Михайлович подробнейшим образом рассказывает, как он «строил душу» скончавшегося патриарха: описывал его многочисленное имущество и раздавал милостыню церковному клиру на поминование души покойного, и, наконец, в конце списка царь, сообщает Никону внутри- и внешнеполитические новости и укоряет его за на-

---

<sup>13</sup> См.: П. Медовиков. Историческое значение царствования Алексея Михайловича, с. 191.

<sup>14</sup> «и ты отпиши к нам, великий святителю, — пишет царь Алексей, — так ли надобеть петь, или как инак петь надобно, и как у тебя святителя поют, и то отпиши к нам» (211).

сильное понуждение людей, ездивших с ним на Соловки, соблюдать все строгости поста и религиозного обряда.

При составлении статейного списка Алексей Михайлович, несомненно, ориентировался на те нормы литературного этикета, которых требовала каждая из тем четырех частей повествования. Алексею Михайловичу, известному начетчику в текстах древней русской письменности, нормы эти были прекрасно известны и он их, как правило, строго придерживался. В отношении же статейного списка можно говорить не столько о соблюдении правил, сколько лишь о некоторой ориентации на них. Здесь они лишь слегка намечены и ощущаются более как воспроизведение норм этикета миропорядка и поведения, чем соблюдение этикета словесного<sup>15</sup>.

Удобнее всего продемонстрировать эту особенность статейного списка на первой части его. Она вызывает аналогию с многочисленными житийными и летописными рассказами о перенесении мощей святых угодников, традиции которых Алексей Михайлович следует в своем письме князю Н. И. Одоевскому, написанному 3 сентября 1653 года. Рассказывая в нем о принесении в Москву мощей митрополита Филиппа, Алексей Михайлович вводит все подходящие для данной темы мотивы: раку со святыми мощами принимает «на свои главы с великою честью» царь и московские власти, на встречу с мощами выходит множество людей, «и от великаго плача и вопля безмерной стон был», тут же силами мощей начинают свершаться многие чудеса, подробное описание которых с указанием на свидетелей дается в тексте и т. п. Новый московский «светильник» Филипп награждается многочисленными эпитетами, стилистика рассказа в целом цветиста и пышна. Таким образом, реальное событие, в котором принимал участие царь и которое совершалось по всем правилам ритуала, Алексей Михайлович целиком описывает в рамках литературного этикета. В статейном списке наблюдается другое. Здесь царю важнее было показать, насколько все, происходившее в действительности, приличествовало ситуации перенесения мощей, чем дать описание по всем правилам. И этого принципа Алексей Михайлович придерживается на протяжении всего списка, пишет ли он о церемонии встречи мощей Иова, о смерти патриарха, или же дает отчет о своей деятельности в роли душеприказчика.

Начало статейного списка написано в значительной степени в форме протокольной записи:

«Нынешняго 160 году, принесли великого святителя Иева патриарха мощи, Априлия в 5 день, в понедельник шестые недели, часы в отдачу денные, в монастырь к Пречистой Богородицы Страстныя; а встречать посыланы его святые мощи вла-

<sup>15</sup> См. определение этих понятий в кн. Д. С. Лихачева «Поэтика древнерусской литературы». (Л., 1971, с. 108).

сти: (идет перечисление властей — *Е. Д.*), да со властями встречали: бояре наши (идет перечисление бояр — *Е. Д.*) а встречали те его честные мощи в селе Тушине, за двенадцать верст до Москвы, по Иосифовской дороге а из Тушина несли на главах стрельцы до самой Москвы...» (156—157).

Часть эта напоминает собой запись на ту же тему в Дворцовых разрядах, которые явились, по словам И. Забелина, «летописью правительственной и служебной деятельности в России во все продолжение московского периода нашей истории»<sup>16</sup>. Правда, уже здесь в текст Алексея Михайловича после первых сугубо протокольных строк начинают проникать личные наблюдения царя, собственные впечатления, повествование разнообразится описанием событий, сопутствующих церемонии, но строго к ней не относящихся. Царь сообщает, что на встречу мощей вышло множество народа: «и многолюдно таково было, что не вместились от тверских ворот по неглиненския ворота, и по кровлям и по переулкам яблоку негде было упасть, а пожар весь занят людьми пешими, нельзя ни пройти, ни проехать» (157). По причине такого скопления людей, как пишет далее Алексей Михайлович, пришлось запереть кремлевские ворота: «а кремль велел запереть, ин и так на злую силу пронесли в собор: такая теснота была, старые люди говорят, лет за семьдесят не помнят такой многолюдной встречи» (157). Традиционная «многолюдность», такая, что «яблоку негде упасть», необходимая деталь в рассказах о встрече мощей, имеющая своей целью подчеркнуть популярность переносимого в новый собор святого, превращается в «тесноту», против которой приходится принимать меры (запирать Кремль), что, хоть в малой степени, но все же способствует перенесению мощей Иова в собор. Ссылка на мнение стариков проводит параллель между совершающимся богоугодным делом и каким-то другим, бывшим лет 70 тому назад, но оно не названо, и неизвестно потому, достойно ли сравнения с нынешним; параллель здесь чисто внешняя: и там, и там многолюдность встречи.

Далее Алексей Михайлович подробно описывает установление мощей в соборе; при этом внимание его привлекает не только сама церемония возложения нетленных останков Иова, но и подробности отнюдь не ритуального порядка: «И пришедше поставили в ногах у Иасафа патриарха, на мосту на верху,

---

<sup>16</sup> И. Забелин. Разрядные книги. В его кн.: Опыты изучения русских древностей и истории. Ч. I. М., 1872, с. 466. Ср. с текстом «Дворцовых разрядов» на ту же тему: «Того же месяца апреля в 5 день послал Государь встречать мощи святейшаго Иова, патриарха Московского и всеа Русии, по Волоцкой дороге, к Спасу на Восточную: (идет перечисление посланных лиц) И как встретят мощи святейшаго Иова патриарха, и указал Государь к себе государю отписать... А как мощи принесли под Москву и поставили за Тверскими вороты в Девичье монастыре у Богородицы страстной со кресты» — Дворцовые разряды. Т. III, стлб. 504.

и оклали кирпичем, а сверху доска положена, а не заделана для свидетельства» (158). О чудесах сказано коротко и сдержано: «а чудеса от него есть» (158). Царь передает и тот разговор с патриархом Иосифом, который произошел у него при этом. Патриарх, плакавший «мало не во всю дорогу до самого до собору» (это единственные слезы в обычно многослезной церемонии) спрашивает у государя: «кому де в ногах у него лежать?» И я молвил: «Ермогена тут положим». И он государь молвил: «пожалуй де, государь, меня тут грешнаго пограть» (158). Составляя это письмо, Алексей Михайлович знал уже, что десять дней спустя Иосиф умрет, поэтому и разговор с патриархом всплывает в его сознании в освещении последовавших за ним событий. Слова Иосифа о желании быть погребенным рядом с мощами Иова воспринимаются царем как пророчество, о чем он и говорит Никону: «и как отец наш преставися, и я грешный вспомянул его государевы слова, как мне приказывал, где велел себя положить, и место выпросил, только дня не ведал, в который день Бог изволит взять, и мне грешному его святительские слова в великое подивление, как есть он государь пророк пророчествовал себе про смерть ту свою» (158).

Описание этого разговора в статейном списке Алексея Михайловича явилось естественным переходом к рассказу о болезни и смерти патриарха: «да с тех мест и заболел лихорадкою» (158). И с этого момента все внимание царя (по крайней мере, в послании Никону это выглядит так) приковано к Иосифу. Тщательность описания, внимание к малейшим движениям, словам, жестам умирающего патриарха поразительны.

В исследовательской литературе уже отмечалось, что описание последних дней князей (в летописях) и святых (в житиях) очень рано перестают соответствовать нормам литературного этикета. Тема смерти нередко вызывает у авторов подробности совсем не этикетного характера, значение придается каждой мелочи, каждой детали, вставляются предсмертные речи умирающего и т. п. С подобного рода явлениями можно встретиться и в летописи<sup>17</sup>, и в житиях, такова и «Записка» Иннокентия о последних днях жизни Пафнутия Боровского, на которую обратил внимание и которую с интересующей нас позиции проанализировал Д. С. Лихачев<sup>18</sup>. Правда, Иннокентий писал о

<sup>17</sup> Правда, вплоть до XVII века достаточно широко встречаются и сугубо традиционные описания смерти. См., например, сообщение о смерти царя Михаила Федоровича в кн.: *Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции*. Собрал и издал Андрей Попов. М., 1869, с. 210.

<sup>18</sup> См.: Д. С. Лихачев. *Человек в литературе древней Руси*. М., 1970, с. 19—130. Записка Иннокентия о смерти Пафнутия Боровского опубликована В. О. Ключевским в его кн.: *Древнерусские жития святых как исторический источник*. (М., 1871, с. 435—453).

Пафнутия во второй половине XV века и писал он не житие, а именно записку — «материалы для биографии», по выражению Д. С. Лихачева, которые впоследствии могли бы послужить основой для жития, и в этом смысле Иннокентий не относился к своему труду как к труду литературному. Но тем не менее, его описание можно считать памятником в своем роде исключительным<sup>19</sup>. Показывая последние восемь дней жизни Пафнутия Боровского, Иннокентий безусловно не только проявил себя человеком крайне наблюдательным, но и художником, сумевшим справиться с той задачей, которую он сам перед собой поставил<sup>20</sup>. Алексей Михайлович писал о смерти Иосифа намного позже — почти через двести лет. Литература к этому времени стала значительно менее зависеть от норм этикета, и поэтому он в меньшей степени мог испытывать на себе силу штампа. В этом отношении Алексей Михайлович находился безусловно в более выгодном положении, чем Иннокентий. Но надо помнить и другое — что из себя представлял 23-летний государь, воспитанный в строго церковном духе, обладавший обостренным чувством религиозности и обостренным эстетическим отношением к обряду, который он прекрасно знал и любил<sup>21</sup>. Об этой его черте свидетельствуют многие документы, записки иностранцев, встречавшихся с Алексеем Михайловичем, и письма его, в которых он порою либо описывает церковный обряд, либо пытается уточнить свои сведения о нем. Зная об этой особенности царя и о характере его начитанности, можно не сомневаться, что он имел достаточно ясное представление о том, как подобает писать о смерти иерарха<sup>22</sup>. На этот стиль

<sup>19</sup> «Чуждый риторике, «невежда» Иннокентий считал своим долгом точно воспроизвести «святого и великого отца нашего Пафнутия» и создал благодаря этому необыкновенно выразительный образ больного старика...» — Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л., 1970, с. 420.

<sup>20</sup> Д. С. Лихачев пишет: «... в этой записке налицо такие явления литературного ряда, которые осознанно вступают в литературу значительно позднее». (Д. С. Лихачев. Человек в литературе древней Руси, с. 129).

<sup>21</sup> «В отношении внешних действий религиозности царь стоял, может быть, выше всех из своих современников» — И. Забелин. Русская личность и русское общество накануне петровской реформы, с. 331; «Особую мягкость, особую привлекательность природе Алексея, поступкам его сообщала глубокая религиозность, которая проникала все его существо», — С. М. Соловьев. История России, кн. V, тт. 9—10, с. 609.

<sup>22</sup> См. уже упомянутое нами письмо Никону, приложением к которому служит статейный список: «Да буди тебе великому святителю ведомо: за грехи всего православного христианства, но и паче и за мои окаянные грехи, Содетель и Творец и Бог наш изволил взять от здешняго прелестнаго и лицемернаго света отца нашего и пастыря великаго господина кир Иосифа, патриарха московскаго и всея Русии, изволил его вселити в недра Авраама и Исаака и Иакова, и тебе б отцу нашему было ведомо; а мати наша, соборная и апостольская церква, вдовствует, зело слезно и вельми сетует по женихе своем, и как в нее войтить и посмотреть, и она, мати наша, как есть пустынная голубица пребывает, немощи подружия: так же и она, немый жених своего, печалует» (152—153).

он иногда и перебивается, начав вдруг причитать, называть всех оставшихся овцами, лишившимися своего пастыря. Здесь у него появляется нужный в данной ситуации стиль, ритмика литературных плачей, описания подобающих в таких случаях жестов и поведения людей: «кто преставился, да к таким дням великим кого мы грешные отбыли; яко овцы без пастуха не ведают где деться, так то мы ныне грешные не ведаем где главы преклонити, понеже прежняго отца и пастыря отстали, а нового не имеем» (167). Но большая часть рассказа о смерти Иосифа написана непосредственно, с точки зрения наблюдателя, тем стилем, который В. В. Виноградов вслед за Аввакумом называет «вяканьем» — то есть стилем непринужденной, свободно льющейся беседы<sup>23</sup>.

Обратимся теперь непосредственно к той части послания, в которой описывается болезнь и смерть патриарха Иосифа. Описание охватывает вполне ограниченный промежуток времени — неделю с 11 по 17 апреля. Календарные даты Алексей Михайлович не ставит — с этим мы встречаемся только в начале списка. В остальном временные указания даются по названиям дней недели, церковных праздников и часов служб, так что читатель списка порою с точностью до получаса может знать, когда совершается описываемое событие. Строгая фиксация времени протекания событий оказывается для царя, пишущего Никону отчет, чрезвычайно важной, и он ни разу не от-

<sup>23</sup> В. В. Виноградов. О задачах стилистики. Наблюдения над стилем Жития прот. Аввакума. В сб.: Русская речь. Вып. I. Пг., 1923, с. 208—209. Общность письма Алексея Михайловича с аввакумовским стилем можно проследить во многом. Царь так же, как и Аввакум, нередко отступает от непосредственного предмета своего повествования, и желая снова вернуться к нему, пишет: «Дозде да возвращуся на преждереченное, да об отце своем повесть докончаю» (161); «А отзде да возвратимся на преждереченное» (168). Так же, как и Аввакум, Алексей Михайлович часто употребляет в своем сочинении пословицы, поговорки и народные фразеологизмы: «вчераь здорово, а ныне мертвы» (160); «И тот говорит во всю голову кричит» (169); «От земли создан, и в землю идет, чего бояться?» (170); «потому и милостина нарицается, что всем равна, какова первым, такова и последним» (181); «Учить премудра премудрее будет, а безумному мозилне ему есть» (183). Широко употребляет царь Алексей и просторечия: «яблоку негде было упасть», «нельзя ни пройти, ни проехать», «на злую (великую) силу» (6 раз), «я в дверн, а он в другие», «едва с ног не свалился» и т. д. Как Аввакум называет свой стиль «вяканьем», так и Алексей Михайлович называет свое сочинение «рукописанием непутным и несогласным» (184). Все такого рода черты показывают, что тот стиль, в основе которого лежит автобиографизм и который до сих пор усматривали в литературе раннего старообрядчества, распространен был значительно шире, в частности — при дворе. Но это вопрос особый, требующий дальнейших разысканий в этой области, и более подробно в данной статье мы его не касаемся. Вопрос об общих чертах стиля Жития Аввакума, правда, касающихся только сходства реально-бытового характера художественной детали см.: А. С. Демин. Реально-бытовые детали в Житии протопопа Аввакума. (К вопросу о художественной детали). В кн.: Русская литература на рубеже двух эпох. (XVII — начало XVIII в.). М., 1971, с. 232—233.

ступает от этого принципа повествования. В Вербное воскресенье Иосиф «на злую силу» ездит на осляти, в понедельник и во вторник Алексей Михайлович посылает справиться о его здоровье. В тот же вторник Иосиф последний раз находится при исполнении своих обязанностей — ездит отпевать жену Ивана Григорьева. В среду он не был уже ни у заутрени, ни у обедни. Вечером в среду Алексей Михайлович идет навестить больного патриарха. Утром в четверг Иосиф, который уже почти не в состоянии говорить, исповедуется у своего духовного отца, над ним совершается обряд соборования и причащения, «осмаго часа в полы» (то есть по нашему счету около двух часов дня) патриарх умирает. В пятницу его отпевают, в субботу «в одиннадцатом часу дни» состоится погребение. В среду, четверг, пятницу и субботу дан значительно более подробный счет времени. Таким образом, все описанные Алексеем Михайловичем события совершались на одной неделе — на неделе перед Пасхой, называемой страстной. Это достаточно случайное обстоятельство не могло не отложить печати на все повествование. На седьмой неделе великого поста церковь вспоминает страдания Христовы, и царь несколько раз напоминает, на какие дни пришлось описываемые события: «а се к таким великим дням стало» (173); «да к таким дням великим кого мы грешные отбыли» (167). Более того — погребение Иосифа состоялось в страстную субботу — в тот день, когда в церкви идет служба, посвященная воспоминаниям о погребении Иисуса Христа. На той неделе, которую описывает Алексей Михайлович, происходят торжественнейшие события — распятие и погребение Христа и отшествие к богу патриарха Российского. Первое — как ежегодно повторяющийся ритуал, всегда живой и заново переживаемый, второе — как реальная смерть близкого царю человека. Если в сюжете служб страстной недели все предопределено заранее, известно, что чем кончится, как должны развиваться события, так, что сама эта предопределенность приносит удовлетворение и вызывает из года в год повторяющееся религиозное чувство, то хода болезни Иосифа предусмотреть было невозможно: она протекала по своим, никому не известным законам.

Поэтому царь не только напоминает об этом поразительном совпадении, но и сожалеет о том, что так произошло: болезнь и смерть Иосифа все время сбивают службы страстной недели. Сам патриарх уже не может служить в соборе, назначая вместо себя Казанского митрополита Корнилия и других иерархов; он отвлекает внимание царя от богослужения, о чем царь сообщает Никону, прося у него прощения за это «грех»: «и меня прости, великий святитель, и первой час велел без себя отпевать, а сам с небольшими людьми побежал к нему» (162); смерть Иосифа вынуждает изменить часы страстных служб: «и мы велели обедню петь раннюю, чтоб причастить» (164); «так

мы по ранее обедню ту, положась на волю Божию, для того и велели в пятом часу дни благовестить» (171). С другой стороны, богослужения страстной недели как бы препятствуют умирающему «отойти к богу» по всем правилам религиозного обряда, так как власти, которые должны присутствовать при соборованиях, заняты в службе: «а у него (патриарха. — Е. Д.) толке протодьякон, да отец духовной, да Иван Кокوشيлов со мною пришел, да келейник Ферапонт <...>, а опричь того ни отнюдь никого нет» (163); «Да мы с Резанским да сели думать, как причащать ли его топеру или нет; а се ждали Казанского и прочих властей» (164). Таинство елеосвящения по обычаю должно совершаться семью священниками, но в случае крайней нужды оно может быть совершено и одним священником, что однако было крайне не желательно, так как умирающий был лицом высшего церковного сана<sup>24</sup>. Потому и раздумывает Алексей Михайлович, ждать других, или же начинать обряд единственному присутствующему здесь митрополиту Рязанскому Мисаилу. Прибежавшие со службы власти причащают Иосифа в спешке, боясь, что он может умереть, не успев причаститься. Таким образом, случайное совпадение во времени смерти патриарха и страстной недели нарушило как богослужение, так и обряды, связанные с отходом тела и смертью патриарха. Все эти нарушения непременно отмечаются царем в его отчете Никону.

Но правильному соблюдению обряда мешает и другое обстоятельство — протекание болезни патриарха и его скоропостижная смерть. Это обстоятельство постоянно приходится учитывать царю. Алексей Михайлович пишет, что когда Иосиф заболел, болезнь его была воспринята как обычная для него лихорадка: «да с тех мест и заболел лихорадкою» (158). Иосиф сам говорит об этом царю вечером в среду. Эта видимость лихорадки обманула и царя, который так и не решился, надеясь, что болезнь преходящая, спросить у Иосифа насчет его духовного завещания: «Я чаял, что впрям трясавица, а впрям смертная» (161). Алексей Михайлович просит у Никона прощения за это свое упущение, говоря, что он и собирался спросить о духовной да побоялся гнева патриарха: «и ты меня грешного прости, великий святитель и равноапостолом богомолец наш преосвященная главо, в том, что яз ему не воспомянул о духовной, и кому душу свою прикажет, и что про келейную казну прикажет <...> и помышлял себе, что гораздо болен, да положился на то, что знобит больно, тот-то он и без памяти; а се и то мне на ум пришло великое сумнение: болезнь та на нем трясавишная, а мне молвить про духовную ту, и помнить, вот де меня избывает, да станет сердечно гневаться» (160—161). Положившись на то, что у Иосифа простая лихорадка и надеясь побывать у

<sup>24</sup> См.: Арх. Вениамин. Новая скрижаль, или объяснение о церкви, литургии, о всех службах и утварях церковных. Изд. 15. СПб., 1891, с. 382—383.

него утром в четверг, царь просчитался: Иосиф так и умирает, не оставив завещания. И именно поэтому впоследствии царь сам берется «строить его душу», боясь, что другие растащат все многочисленное неопищенное имение патриарха: «все б раскрали» — пишет он Никону.

То состояние, в котором находится умирающий изменяет и обряды, связанные с отходом тела. В четверг утром Иосиф находится уже почти в бессознательном состоянии — «в нецелье». Об этом сообщают царю, и он бежит к патриарху, которого в это время «поновлял» духовный отец. На вопрос Алексея Михайловича, как прошло исповедание, духовный отец Иосифа отвечает: «гораздо де тупо понавливался, чуть де намечал» (163—164). Во всем дальнейшем ходе обрядового действия Иосиф практически никакого участия не принимает: за него просит прощение духовный отец, ему приходится силой разжимать челюсти для принятия «святых частей»: «а как пожаловали части и ему уста разжимал протодиакон, а он государь без памяти лежал» (165); при освящении большого елеем его держит за левую руку духовник царя — «опадывает рука та добре» (165).

Приводит Алексей Михайлович и все нарушения чинности отпевания и погребения покойного, причиной которых явилось рано начавшееся разложение тела покойного патриарха. Уже вечером в пятницу, то есть через сутки с небольшим после момента смерти, тело его «почало пухнуть», что страшно напугало читавшего над ним псалтырь священника и царя, пришедшего вечером в пятницу проститься с патриархом. Потом у покойника «треснуло во устах и нежид» (сукровица) пошел и «дух почал великой быть». «Нежид» «течмя» шел всю ночь, так что стали опасаться, что патриарх будет иметь к похоронам неприличествующий ему вид. И тогда царь велит чудовскому келарю «тайно повертеть в ногах». И за это свое «пригрешение» Алексей Михайлович просит у Никона прощение: «и меня прости, владыко святой, велел тайно ему одному да отцу его духовному, знаменскому игумену, повертеть в ногах, и шел нежид во всю ночь, течмя шол, мы чаяли, что и не престанет» (170—171). Но «к денным часам субботы великой» нежид перестал идти. Иосифа спешат скорее порохонить (из-за этого и обедню велели благовестить в пятом часу дня: «блюлись того: человек сырой, а се не вылежал ни выболел, блюлись долго не хоронить» (171).

И наконец, совершилось еще одно нарушение: Иосифа погребли без церковного звона, в то время как других патриархов погребали со звоном — все позабыли в ужасе и спешке: «Да такой грех, владыко святой, погребли без звоу: все позабыли в страсе; и я вспамятовал, как почали поклоны класть за него, так я велел звонить после погребения доколе мы все поклоны клали, а в ту пору звонили, а прежних патриархов со звоном погребали» (173).

Таким образом, внимание Алексея Михайловича направлено на то, чтобы строго описать обряды, связанные с отходом тела и погребением патриарха, но он указывает и на всевозможные нарушения правил, скорбя по этому поводу и прося у Никона за это прощения. Нарушения эти произошли из-за совпадения служб страстной недели с болезнью и смертью патриарха и из-за тех непредвиденных обстоятельств, которые были связаны с особенностями скоротечной болезни патриарха и рано начавшегося разложения трупа.

Показанная нами особенность статейного списка, суть которой состоит в фиксации внимания автора на всевозможных отклонениях от нормы и нарушениях ее, прослеживается на протяжении всего текста. В результате такого творческого задания, которое было обусловлено исповедальным характером сочинения и отчетностью его формы, Алексей Михайлович создает текст, ориентированный на нарушение норм, отчего он более походит на тексты новой литературы, чем на канонические тексты древней русской письменности<sup>25</sup>. Эта особенность ставит статейный список в совершенно особое положение в системе текстов, созданных царем Алексеем. Ревностный поборник всяческого этикета, Алексей Михайлович не только свято блюдет веками закрепленные правила, но и сам создает их в тех областях, где их еще не было. Каким же образом могло получиться, что в статейном списке царь выступил в ином облике, который, казалось бы, противоречил его истинной сущности? Противоречие здесь только внешнее. Статейный список не является по своей сути произведением, выходящим за рамки традиционного мышления царя. Зная, как нужно писать и как должны были протекать описываемые события, Алексей Михайлович проектирует свое изложение на некий идеальный конструкт, присутствующий в его сознании. Это явилось приемом выявления нарушений, происшедших в действительности, которые и составляют для царя суть «греха». Фиксация отклонений от норм здесь, таким образом, выступает не как новаторство, а как стремление выявить греховность дел, свершившихся в Москве за время отсутствия Никона.

Для пояснения этой мысли приведем пример. Вот царь описывает последние минуты жизни патриарха Иосифа:

«... повел очми теми вверх да почал сказно того жаться к стене; <...> почал пристально и быстро смотреть, <...> а смотрел с четверть часа быстро создод, а смотрит все в потолок знатно то что видит, и почал руками закрываться и жаться к стене то и в угол, как стену ту не выломит, и руки те вырвал у протопоба, да почал закрываться, да закричал великим гласом,

<sup>25</sup> О различии источников информативности канонического и внеканонического искусства см.: Ю. М. Лотман. Каноническое искусство как информационный парадокс. В кн.: Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. Сборник статей. М., 1973.

а неведомо что, да почал хорониться и жаться добре в угол; походило добре на то, как кто кого бьет, а кого бьют, так тот закрывается, так то над ним святителем было; да затрется весь в ту пору и плакать почал и кричать так же, а смотрит вверх; да было того с полчетверти часа» (165—166).

Для современного читателя процитированный отрывок представляет одно из самых сильных описаний агонии, на два века предшествующее опыту психологических описаний реалистической литературы<sup>26</sup>. Для Алексея Михайловича существует единственная возможная трактовка поведения патриарха — это поведение человека, видящего предсмертное видение: «и я узнал, что он видение видит; не упомяну где я читал: перед разлучением души от тела видит человек вся своя добрые и злые дела» (165—166). Мнение это было достаточно распространено и подкреплялось многочисленной литературой. Одним из возможных источников его могло послужить широко распространенное на Руси и входившее в состав четких миней «Житие Василия Нового», в котором приводится посмертный рассказ Феодоры о том, что она видела перед смертью. В этом рассказе особенно характерны жесты, движения, динамика взгляда Феодоры, во многом совпадающие с поведением умирающего Иосифа<sup>27</sup>. Недоверие духовников царя и патриарха к подобному объяснению того, чему они были свидетелями, для Алексея Михайловича недопустимо: «и молвил я отцу его духовному, — пишет царь, — «видит отец наш некое видение;» и он молвил: «нет де, полна де, в нецевень так смотрит;» и я молвил: «смотри что будет, и сам не знаешь, что говоришь;» и я отцу духовному своему сказал, что видит некое видение; и он молвил: «видит де нечто» (166). Духовник патриарха, таким образом, полностью отвергает мысль о видении, ссылаясь на бессознательное состояние умирающего, духовный отец царя отвечает весьма уклончиво, не присоединившись полностью к мнению Алексея Михайловича. Оба они тем самым компрометируют себя в глазах царя, о чем он сообщает Никону. Подобное толкование поведения патриарха может быть объяснено только традиционностью мышления царя: для него — осознание явления, проникновение в его сущность аналогично нахождению ему места в системе религиозных христианских представлений<sup>28</sup>. И в этом отношении послание Алек-

<sup>26</sup> Ср. с описанием агонии в рассказе Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича», где умирающему герою кажется, что его засовывают в черный мешок, а он изо всех сил отбивается и кричит.

<sup>27</sup> С. Г. Вилинский. Житие св. Василия Нового в русской литературе. Часть II. Тексты жития. Одесса, 1911, с. 415 (1 ред.) и с. 757 (2 ред). Во второй редакции это изображение особенно выразительно.

<sup>28</sup> Ср. с объяснением предсмертного возгласа Феодосия Печерского в его Житии: «Се бо яко же разумети есть, яко явление неко есть видево, сице изрече». — Д. И. Абрамович. Кієво-Печерський патерик. Київ, 1930, с. 74.

сея Михайловича Никону не выпадает из рамок традиционной письменности.

И все же статейный список Алексея Михайловича является произведением, по многим своим признакам характерным для переходного XVII века. Д. С. Лихачев в книге «Развитие русской литературы X—XVII веков» (Л., 1973) дает обстоятельный анализ тех особенностей письменности XVII века, которые знаменуют переход древней русской литературы к новой. Многие из этих особенностей можно обнаружить в послании Алексея Михайловича Никону. Царь показал себя в нем писателем, невольно отозвавшимся на ритм времени и включившимся в него. Сказалось это прежде всего в том, что он обратился к написанию воспоминаний о событиях полуторамесячной давности, в которых отчетливо проступает автобиографический элемент. И несмотря на то, что автобиографизм, как мы стремились показать, не был для царя самоцелью, он повлек за собой все те черты, которые были характерны для мемуарной и автобиографической литературы XVII века, и прежде всего — проявившуюся в тексте тенденцию к самовыявлению. Он много пишет о себе, своих взглядах на события, объясняет свои действия, и все это делается с целью самооправдания перед Никоном. Царь индивидуализирует не только себя, но и других действующих лиц своего повествования, что прежде всего касается патриарха Иосифа. «Человек все более начинал восприниматься как конкретный индивидуум, в сложной «раме» быта и общества», — пишет Д. С. Лихачев<sup>29</sup> о литературе XVII века. Именно в таком аспекте изображен в статейном списке умирающий патриарх — основное лицо повествования Алексея Михайловича. Иерарх церкви, как бы обязанный умирать по законам, предписанным ему каноном, показан как человек, имеющий свою индивидуальную, ни на кого не похожую судьбу. И даже раннее разложение трупа не является для царя чем-то компрометирующим Иосифа и его жизнь. Царя смущает только возможная реакция окружающих на этот факт: «ведомо, владыко святыи, тело перстно есть да мы малодушни тотчас станем осуждать да переговаривать» (171).

Характерна и та речь, которой наделяется Иосиф. Она, видимо, близка действительно произнесенным Иосифом словам. (Документальность статейного списка несомненна). Иосиф, находясь в роли отходящего к богу патриарха всея Руси, не произносит ни единой фразы, приличествующей ему в данной ситуации. Он говорит в основном только о своей болезни («знать де что врагуша трясет и губы окинула, чаю де что покинет, и летось так же была» — 160), причем произносит эти фразы то «скрозь зубы», то «с забытью, а иное замолчит, да долго не говорит» (160). Снижение персонажа привело, таким образом, к

<sup>29</sup> Д. С. Лихачев. Развитие русской литературы X—XVII веков. Эпохи и стили. Л., 1973, с. 146.

снижению его речи. Она становится бытовой, разговорной, обусловленной тем состоянием, в котором находится патриарх. Такова речь и царя, и того протодиакона, который прибежал в церковь звать царя к умирающему патриарху, и священника, читавшего над покойником псалтырь. Такова, наконец, и речь самого автора, представляющая непрерывный поток, в котором события разворачиваются с той беспорядочностью, с которой доходили они до сознания Алексея Михайловича.

Таким образом, сочинение царя, имевшее своей первичной целью если не соблюсти традицию, то во всяком случае фиксацией нарушений поддержать ее, превращается в произведение мемуарного жанра со всеми вытекающими из этого последствиями. И в данном случае не имеет значения тот факт, что статейный список адресовался одному человеку; так или иначе, но в нем проявились черты, свойственные эпохе, на которую пришлось царствование Алексея Михайловича. Алексей Михайлович, строгий последователь высокой церковной традиции, смог создать текст, созвучный духу своего времени.

## О ХЛЕСТАКОВЕ

Ю. М. Лотман

Гоголь считал Хлестакова центральным персонажем комедии. С. Т. Аксаков вспоминал: «Гоголь всегда мне жаловался, что не находит актера для этой роли, что оттого пьеса теряет смысл и скорее должна называться «Городничий», чем «Ревизор». <sup>1</sup> По словам Аксакова, Гоголь «очень сожалел о том, что *главная роль*, <курс. мой. — Ю. Л.>, Хлестакова, играется дурно в Петербурге и Москве, отчего пьеса теряла весь смысл <...> Он предлагал мне, воротясь из Петербурга, разыграть «Ревизора» на домашнем театре; сам хотел взять роль Хлестакова.» <sup>2</sup> Последнее обстоятельство знаменательно, поскольку в этом любительском спектакле роли распределялись автором с особым смыслом. Так, почтовый цензор Томашевский, по замыслу Гоголя, должен был играть «роль почтмейстера». <sup>3</sup>

Между тем, в перенесении главного смыслового акцента на роль городничего были определенные основания: такое понимание диктовалось мыслью о том, что основной смысл пьесы — в обличении мира чиновников. С этой точки зрения, Хлестаков, действительно, превращается в персонаж второго ряда — служебное лицо, на котором держится анекдотический сюжет. Основание такой трактовки заложил Белинский, который видел идею произведения о том, что «призрак, фантом или, лучше сказать, тень от страха виновной совести должны были наказать *человека призраков*.» <sup>4</sup> «Многие почитают Хлестакова героем комедии, главным ее лицом. Это несправедливо. Хлестаков является в комедии не сам собою, а совершенно случайно, мимоходом <...> Герой комедии — городничий, как представитель этого мира призраков.» <sup>5</sup> Статья была написана в конце 1839 г. Но уже в апреле 1842 г. Белинский писал Гоголю: «Я понял, почему Вы

<sup>1</sup> С. Т. Аксаков. Собр. соч. в 4-х тт. Т. III. М., 1956, с. 160.

<sup>2</sup> Там же, с. 165.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. III, М., 1953, с. 454.

<sup>5</sup> Там же, ср. 465.

Хлестакова считаете героем Вашей комедии, и понял, что он точно герой ее.»<sup>6</sup>

Этот новый взгляд не получил развития, равного по значению статье «Горе от ума», которая и легла в основу традиционного восприятия «Ревизора» в русской критике и публике XIX в.

Характер Хлестакова все еще остается проблемой, хотя ряд глубоких высказываний исследователей и критиков XX века и театральные интерпретации от М. Чехова до И. Ильинского многое раскрыли в этом, по сути дела, загадочном персонаже, определенном Гоголем как «фантазмагорическое лицо».<sup>7</sup>

Каждое литературное произведение одновременно может рассматриваться с двух точек зрения: как отдельный художественный мир, обладающий имманентной организацией, и как явление более общее, часть определенной культуры, некоторой структурной общности более высокого порядка.

Создаваемый автором художественный мир определенным образом моделирует мир внетекстовой реальности. Однако сама эта внетекстовая реальность — сложное структурное целое. То, что лежит по ту сторону текста, отнюдь не лежит по ту сторону семиотики. Человек, которого наблюдал Гоголь, был включен в сложную систему норм и правил. Сама жизнь реализовывалась, в значительной мере, как иерархия социальных норм: послепетровская европеизированная государственность бюрократического типа, семиотика чинов и служебных градаций, правила поведения, определяющие деятельность человека как дворянина или купца, чиновника или офицера, петербуржца или провинциала, создавали исключительно разветвленную систему, в которой глубинные вековые типы психики и деятельности просвечивали сквозь более временные и совсем мгновенные.

В этом смысле сама действительность представляла как некоторая сцена, навязывавшая человеку и амплу. Чем зауряднее, дюжиннее был человек, тем ближе к социальному сценарию оказывалось его личное поведение.

Таким образом, воспроизведение жизни на сцене приобретало черты театра в театре, удвоения социальной семиотики в семиотике театральной. Это неизбежно приводило к тяготению гоголевского театра к комизму и кукольности, поскольку игровое изображение реальности может вызывать серьезные ощущения у зрителя, но игровое изображение игрового изображения почти всегда переключает нас в область смеха.

Итак, рассмотрение сущности Хлестакова уместно начать с анализа реальных норм поведения, которые делали «хлестаковщину» фактом русской жизни до и вне гоголевского текста.

Одной из основных особенностей русской культуры послепетровской эпохи было своеобразное двоемирие — идеальный об-

<sup>6</sup> Там же, т. XII, с. 108.

<sup>7</sup> Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч. Т. IV, 1951, с. 118.

раз жизни в принципе не должен был совпадать с реальностью. Отношения мира текстов и мира реальности могли колебаться в очень широкой гамме от представлений об идеальной высокой норме и нарушениях ее в сфере низменной действительности до сознательной правительственной демагогии, выражавшейся в создании законов, не рассчитанных на реализацию («Наказ») и законодательных учреждений, которые не должны были занимать реальным законодательством (Комиссия по выработке нового уложения). При всем глубокоом отличии, которое существовало между деятельностью теоретиков эпохи классицизма и политической практикой «империи фасадов и декораций», между ними была одна черта глубинной общности: с того момента, как культурный человек той поры брал в руки книгу, шел в театр или попадал ко двору, он оказывался одновременно в двух как бы сосуществующих, но нигде не пересекающихся мирах — идеальном и реальном. С точки зрения идеолога классицизма, реальностью обладал только мир идей и теоретических представлений; при дворе в политических разговорах и во время театрализованных праздников, демонстрировавших, что «златый век Астреи» в России уже наступил, правила игры предписывали считать желательное существующим, а реальность — несуществующей. Однако это был именно мир игры. Ему отводилась в основном та сфера, в которой, на самом деле, жизнь проявляла себя наиболее властно: область социальной практики, быта — вся сфера официальной «фасадной» жизни. Здесь напоминать о реальном положении дел было непростительным нарушением правил игры. Однако рядом шла жизнь чиновно-бюрократическая, служебная и государственная. Здесь рекомендовался реализм, требовались не «мечтатели», а практики. Сама императрица, переходя из театральной залы в кабинет или отрываясь от письма к европейскому философу или писания «Наказа» ради решения текущих дел внутренней или внешней политики, сразу же становилась деловитым практиком. Театр и жизнь не мешались у нее, как это потом стало с Павлом I. Человек потемкинского поколения и положения еще мог соединять «мечтательность» и практицизм (тем более, что Екатерина II, всегда оставаясь в государственных делах прагматиком и дельцом, ценила в «любезном друге» ту фантазию и воображение, которых не хватало ее сухой натуре, и разрешала ему «мечтать» в политике):

... Кружу в химерах мысль мою:

То плен от персов похищаю,

То стрелы к туркам обращаю;

То, возмечтав, что я султан,

Вселенну устрашаю взглядом;

То вдруг, прельщаяся нарядом,

Скачу к портному по кафтан...<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Г. Р. Державин. Стихотворения. Л., 1957, с. 98—99.

Но для людей следующих поколений складывалась ситуация, при которой следовало выбирать между деятельностью практической, но чуждой идеалов, или идеальной, но развивающейся вне практической жизни. Следовало или отказаться от «мечтаний», или изживать свою жизнь в воображении, заменяя реальные поступки словами, стихами, «деятельностью» в мечтаниях и разговоре. Слово начинало занимать в культуре гипертрофированное место. Это приводило к развитию творческого воображения у людей художественно одаренных и «ко лжи большому дарованью», по выражению А. Е. Измайлова, у людей посредственных. Впрочем, эти оттенки могли и стираться. Карамзин писал:

Что есть поэт? искусный лжец...<sup>9</sup>

Но тяготение ко лжи в психологическом отношении связывается с определенным возрастом — переходом от детства к отрочеству, временем, когда развитие воображения совпадает с неудовлетворенностью реальностью. Становясь чертой не индивидуальной, а исторической психологии, лживость активизирует во взрослом человеке, группе, поколении черты инфантилизма. Проиллюстрируем это на ярком в своей крайности примере — жизни Д. И. Завалишина.

Д. И. Завалишин — фигура исключительно яркая. М. К. Азадовский дал ему следующую характеристику: это был «незаурядный деятель, прекрасно образованный, с большим общественным темпераментом, — вместе с тем человек крайне тщеславный, с болезненно развитым самомнением и наличием в характере несомненных черт авантюризма.»<sup>10</sup> Полное освещение роли Завалишина не может быть задачей данной работы, тем более, что его реальный политический облик и место его в декабристском движении, по выражению того же авторитетного исследователя декабризма, «представляются совершенно невыясненными».<sup>11</sup> Нас сейчас занимает не столько политический, сколько психологический облик Завалишина, в котором проглядывают некоторые из интересующих нас черт более общего порядка, чем личная психология. Среди декабристов Завалишин был одинок. Даже наиболее расположенный к нему Н. Бестужев писал: «Дмитр<ия> Иринарх<овича> надобно узнать ближе, чтоб он перестал нравиться.»<sup>12</sup> Конечно, не исключительная одаренность, память и эрудиция выделяли его среди сотоварищей по политической борьбе и Сибири — там были люди и более яркие, чем он. Но и преувеличенное честолюбие и даже авантюризм встречались и у других деятелей декабрьского движения. Совершенно исключительным его делало другое: Д. И. Завали-

<sup>9</sup> Н. М. Карамзин. Полн. собр. стихотворений. М.—Л., 1966, с. 195.

<sup>10</sup> Воспоминания Бестужевых. М.—Л., 1951, с. 787.

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Н. А. Бестужев. Статьи и письма, М.—Л., 1933, с. 271.

шин был очень лживый человек. Он лгал всю жизнь: лгал Александру I, изображая себя пламенным сторонником Священного союза и борцом за власть монархов, лгал Рылееву и Северному обществу, изображая себя эмиссаром мощного международного тайного общества, лгал Беляевым и Арбузову, которых он принял в несуществующее общество, морочил намеками на свое участие в подготовке покушения на царя во время петергофского праздника, а позже, когда праздник спокойно прошел, — тем, что чуть было не был вынужден бежать за границу и даже договорился, якобы, со шкипером, но, что потом все переменялось, поскольку «сыскан человек, которого понукать ненужно.»<sup>13</sup> Позже он обманывал следствие, изображая всю свою деятельность как попытку раскрыть тайное общество, якобы, приостановленную лишь неожиданной гибелью Александра I. Позже, когда эта версия рухнула, он пытался представить себя жертвой Рылеева и без колебаний валил на него все, включая и стихи собственного сочинения. Однако вершиной, в этом отношении, были его мемуары — одно из интереснейших явлений в литературе подобного рода.

Однако ложь Завалишина носила совсем не простой и не тривиальный характер. Прежде всего, она не только была бескорыстна, но и, как правило, влекла за собой для него же самого тяжелые, а в конечном итоге и трагические, последствия. Кроме того, она имела одну неизменную направленность: планы его и честолюбивые претензии были несоизмеримы даже с самыми радужными реальными расчетами. Так, в 18 лет в чине мичмана флота он хотел стать во главе всемирного рыцарского ордена, а приближение к Александру I, к которому он с этой целью обратился, рассматривал лишь как первый и сам собой разумеющийся шаг. Двадцати лет, будучи вызван из кругосветного путешествия в Петербург, он предлагал правительству создание вассальной по отношению к России тихоокеанской державы с центром в Калифорнии (главой, конечно, должен был стать он сам) и, одновременно, собирался возглавить политическое подпольное движение в России. Естественно, что разрыв между всемирными планами и скромной должностью младшего флотского офицера, хотя и блестяще начавшего служебную карьеру и выделившегося незаурядными дарованиями, был разительным. Завалишин был еще человеком поколения декабристов — человеком действия. Кругосветное путешествие, свидание с императором, которого он поразил красноречием, сближение с Рылеевым — все это были *поступки*. Но он опоздал родиться на какие-нибудь 10 лет: он не участвовал в войне 1812 г., по возрасту, чину, реальным возможностям, политическому опыту и весу мог рассчитывать и в государственной карьере, и в политической борьбе лишь на второстепенные ме-

<sup>13</sup> Восстание декабристов. Т. III, М.—Л., 1927, с. 264.

ста. А это его никак не устраивало. Жизнь не давала ему простора, и он ее систематически подправлял в своем воображении. Родившаяся в его уме — пылком и неудержимом — фантазия мгновенно становилась для него реальностью, и он был вполне искренен, когда в письме Николаю I называл себя человеком, «посвятившим себя служению Истинны». <sup>14</sup>

Записки Завалишин писал в старости, когда жизнь, столь блестяще начатая, близилась к концу, обманув все его надежды. И вот он написал повествование, богатое сведениями о декабристском движении (память у него была изумительная), но описывающее не реальную, изуродованную и полную ошибок, жизнь мемуариста, а ту блистательную, которую он *мог бы прожить*. Он пересоздает свою жизнь как художник. Все было иначе, чем в реальности: рождение его сопровождалось счастливыми предзнаменованиями, в корпусе его называли «маленький человек, но большое чудо», а на экзамене «прямо сказали», что ему «нечего даже учиться у наших учителей». <sup>15</sup> Он был «первым и в целом корпусе». <sup>16</sup> В Швеции (Завалишину было 14 лет) «Бернадот очень полюбил меня и усаживал бывало возле себя, когда играл с нашим послом в шахматы.» <sup>17</sup> «Что я достиг во всем замечательного успеха, на это имеется слишком много свидетелей и свидетельств. Здесь я хочу обратить внимание на то обстоятельство, имевшее влияние на принятие мною участия в политическом движении, что я задолго до этого участия был уже, что называется реформатором во всех сферах и служебной деятельности, в которых приходилось мне действовать» <sup>18</sup>.

Так выглядит в записках Завалишина пребывание его в корпусе. Затем начинается кругосветное путешествие под командованием Лазарева.

Во время подготовки к походу другие офицеры «почти все еще были в отпуску» — «я немедленно отправился в Кронштадт, и мы приступили к работам только вдвоем со старшим лейтенантом. Зато поручения налагались на меня Лазаревым одно за другим. Мне были поручены все работы по адмиралтейству, тогда как старший лейтенант знал только работы на фрегате, да и в тех я же помогал ему. На меня возложено было преобразование артиллерии по новому устройству, которое послужило потом образцом для всего флота, и мне же поручена была постройка гребных судов». Завалишину были, по его словам, поручены должности «начальника канцелярии, полкового адъютанта, казначея и постоянного ревизора всех хозяйственных частей, — провиантской, комиссариадской, шкиперской, артил-

<sup>14</sup> Там же, с. 224.

<sup>16</sup> Д. И. Завалишин. Записки декабриста. СПб., 1906, с. 21.

<sup>16</sup> Там же, с. 22.

<sup>17</sup> Там же, с. 31.

<sup>18</sup> Там же, с. 41.

лерийской и штурманской.» Такое обилие поручений «всех поразило», и «Лазареву был сделан формальный запрос». На это он разъяснил, что «как я, по общему отзыву, составляю одну из светлых надежд флота и на меня уже теперь привыкли смотреть как на будущего начальника, то он и счел обязанностью своею для пользы службы познакомить меня со всеми отраслями управления.»<sup>19</sup>

Естественно, что именно Завалишин, а не Лазарев фактически возглавил экспедицию на «Крейсере», ставшую одним из самых знаменитых походов русского корабля вокруг света. Когда Завалишина отзывали, все пошло прахом.

Затем следует ряд новых триумфов: Завалишин организует специальные работы во время петербургского наводнения, старшие офицеры безропотно выполняют его распоряжения, видя свое бессилие и его организаторские способности; государь благодарит его, предложения и проекты вызывают всеобщее восхищение. Мордвинов поражен, «как он сам выразился, необычным моим знанием дела и дальновидною предусмотрительностью относительно колоний.» «Между тем главное управление Р<оссийско>—А<мериканской> компании давно уже с нетерпением ожидало возможности войти в непосредственные отношения со мною».<sup>20</sup>

Тайное общество, с которым сталкивается Завалишин в Петербурге, преобразуется в его памяти в своего рода подпольный парламент с постоянно работающими комиссиями, шумными и многочисленными общими собраниями, в которых громче всех раздается его голос: «Хотя многие и прославляли мой ораторский талант, мое красноречие и, особенно, как многие говорили, мою непобедимую логику и диалектику, но я вообще не очень любил те многочисленные и шумные собрания, куда многие шли только для того, чтобы „послушать З<авалишин>а“». Я предпочитал небольшие собрания или, как называли их, «комитеты», где обсуждались специальные вопросы.»<sup>21</sup> Следует иметь в виду, что Завалишин вообще не был членом ни «Северного», ни какого-либо иного декабристского общества и даже если бы имелась та сеть «собраний» и «комитетов», о которой он пишет, не имел бы на их заседания свободного доступа. Рылеев даже «советовал <...> быть с Завалишиным осторожным», поскольку «был против него, по собственному признанию, предубежден».<sup>22</sup>

Отношения между Рылеевым и Завалишиным сложились неприязненно. Рылеев и А. Бестужев подозревали, что Завалишин морочит их рассказами об «Ордене восстановления» (так оно и

<sup>19</sup> Там же, с. 54.

<sup>20</sup> Там же, с. 87.

<sup>21</sup> Там же, с. 97.

<sup>22</sup> Восстание декабристов. Т. III, с. 237.

было на самом деле), а его переписка с императором внушала опасения. Мы не можем сказать, как связан был с этими обстоятельствами загадочный эпизод из биографии Завалишина: написав очередное письмо Александру I, он оставил Петербург и уехал в Москву, где его застала весть о смерти императора. Из Москвы он отправился в Казань и Симбирск, где и был арестован в своем поместье присланным из Петербурга фельдъегерем. В записках дело приобретает совершенно иной — увлекательно-авантюрный — характер. Между Рылеевым и Завалишиным происходит борьба за руководство Северным обществом. Большинство рядовых членов на стороне Завалишина, и Рылеев решается удалить его из Петербурга. Для этого Завалишина отправляют с миссией обривизовать действия членов тайного общества на местах. Он обнаруживает развал московской группы, но в Симбирске, где, каким-то образом, оказываются члены «его» отрасли, — дела идут хорошо. Деятельность настолько активна, прибытия его ожидают с таким нетерпением, что его встречают «члены общества», «ожидавшие <...> уже у въезда в город.» Хотя мы знаем, что никаких членов тайных обществ в Симбирске не было, перед нами — отнюдь не вульгарная ложь. Видимо, Завалишина действительно кто-то встретил (вероятно, из родственников), чтобы предупредить, что в Симбирске его уже ожидает офицер с патентом на арест. Но воображение Завалишина так же трансформировало действительность, как фантазия Дон Кихота превращала пастухов в рыцарей.

Сложность использования «Записок» Завалишина — в том, что они сообщают большое число фактов, порой совершенно уникальных. Однако, каждый раз, вспоминая какую-либо вполне реальную ситуацию, Завалишин, как кинорежиссер, неудовлетворенный куском ленты, требует «дубль» и создает другой вариант сюжета. Он как бы мстит жизни. Из «Записок» Завалишина можно узнать, какие коллизии имели место, но не как они разрешались.

Завалишин — человек переходной эпохи. Одной из характернейших черт «регулярного государства», созданного Петром I, было то, что в реальном течении государственной жизни была упразднена всякая регулярность. Подобно тому, как «Устав о наследии престола» от 5 февраля 1722 г. уничтожил автоматизм в наследовании власти и, развязав честолюбивые поползновения, положил начало цепи дворцовых переворотов, ликвидация местничества в 1682 г. и последовавшая за ней борьба правительства с назначением на государственные должности «по породе»<sup>23</sup> резко изменили психологию служилого сословия. «Табель о рангах» заменила старый порядок новым, который, связывая служебное продвижение с заслугами, открывал определенный простор инициативе и честолюбию. Однако «Табель о рангах» никогда не была единственным законом служебного возвышения. Рядом с ее нормами, требовавшими, чтобы

каждый тянул служебную ляжку («надлежит дворянских детей <...> производить с низу»<sup>24</sup>), существовал другой регулятор — «случай», суливший быстрое — в обход всех норм и правил — возвышение с низших ступеней на самые высшие. Л. Н. Толстой в «Войне и мире» исключительно четко выразил мысль о том, что речь идет не о какой-то системе нарушений и аномалий, а о двух постоянных механизмах — единых и противоположных одновременно, — взаимодействии которых и образовывало реальные условия службы русского дворянина XVIII — начала XIX вв. «Борис в эту минуту уже ясно понял то, что <...> кроме той субординации и дисциплины, которая была написана в уставе и которую знали в полку <...> была другая, более существенная субординация, та, которая заставляла этого затянутого, с багровым лицом генерала почтительно дожидаться, в то время как капитан князь Андрей для своего удовольствия находил более удобным разговаривать с прапорщиком Друбецким <...> Он теперь чувствовал, что только вследствие того, что он был рекомендован князю Андрею, он уже стал сразу выше генерала, который в других случаях, во фронте, мог уничтожить его, гвардейского прапорщика.»<sup>25</sup>

Служба уподоблялась карточной игре: можно было играть в солидные и спокойные коммерческие игры — ломбер или бостон и продвигаться по службе с помощью «умеренности и аккуратности», но можно было избирать путь азарта (карьерный термин «случай» — простой перевод карточного «азарт» — *hasard*), опять-таки соизмеряя риск с честолюбием: «играть по-маленькой» семпелями или гнуть углы, стремясь сорвать банк. Фаворитизм, истоки которого восходят к Петру («случаи продвижения незнатных людей на высшие государственные должности были редки и являлись, как правило, результатом протекции самого Петра I», — пишет проф. К. А. Сафроненко<sup>26</sup>; это следует иметь в виду: своеобразный «демократизм» служебных выдвижений при Петре был неотделим от фаворитизма), оформился при Екатерине II в своеобразный государственно-хозяйственный организм. Я. Л. Барсков писал: «Фаворитизм — любопытная страница не только придворной, но и хозяйственной жизни; это один из важнейших факторов в образовании крупных богатств в русской дворянской среде XVIII века. Состояния, созданные самими фаворитами или при их помощи, значительно превосходили старинные имения столбовых дворян. Нужны были десятки, даже

<sup>23</sup> А. Романович-Славатинский. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права. СПб., 1870, с. 11.

<sup>24</sup> Полный свод законов. Т. VI, № 3890.

<sup>26</sup> Памятники русского права. Вып. VIII. Законодательные акты Петра I. М., 1961, с. 193. Показательно, что Пушкин в «Моей родословной» историю фаворитизма в России начинает с Меньшикова («Не торговал мой дед блинами...»).

<sup>25</sup> Л. Н. Толстой, Собр. соч. в 14 тт., т. VI, М., 1951, с. 306.

сотни лет, чтобы создать крупное имение в несколько тысяч десятин или накопить капитал в несколько сот тысяч рублей, не говоря уже о миллионах; а фаворит, даже столь незначительный, как Завадовский, становился миллионером в два года. Правда, громадные средства, легко достававшиеся, быстро и проживались, и многие фавориты умирали без потомства; и все-таки наиболее известные богачи второй половины XVIII или первой половины XIX века обязаны своими средствами фаворитизму.»<sup>27</sup>

Современникам казалось, что развитие фаворитизма связано с личными особенностями характера императрицы, однако, царствование Павла I доказало противоположное: стремление довести «регулярность» до фантастического предела сопровождалось не уничтожением, а столь же крайним развитием фаворитизма. Любовь Павла I к порядку, отвращение его от роскоши, личная — по сравнению с Екатериной II — воздержанность не изменили дела, поскольку корень фаворитизма был в принципе неограниченной единоличной власти, а не в каких-либо особенностях его носителей.

Фаворитизм в сочетании с общеевропейским процессом расшатывания устоев феодальных монархий и расширением роли денег и личной инициативы приводил к чудовищному росту авантюризма и открывал перед личным честолюбием, как казалось, бескрайние горизонты.

Однако психология честолюбия в конце XVIII столетия должна была претерпеть значительные изменения. Наряду с идеей личного утверждения, изменения собственного статуса в неизменном мире (к этому стремился герой плутовского романа) возникал идеал деятельности во имя изменения мира. Сначала античные образцы, а затем — опыт Великой французской революции были восприняты как своеобразные парадигмы исторического поведения, следование которым позволяет любому человеку завоевать право на несколько строк, страницу или главу в истории. Наконец, судьба Наполеона Бонапарта сделалась как бы символом безграничности власти человека над своей собственной судьбой. Выражение: «Мы все глядим в Наполеоны» — не было гиперболой: тысячи младших офицеров во всех европейских армиях спрашивали себя, не указывает ли на них перст судьбы. Вера в собственное предназначение, представле-

---

<sup>27</sup> Я. Л. Барсков. Письма имп. Екатерины II к гр. П. В. Завадовскому. — «Русский исторический журнал», кн. 5, 1918, с. 240—241. См. также: Карлик фаворита. История жизни Ивана Андреевича Якубовского, карлика светлейшего князя Платона Александровича Зубова, писанная им самим. — Slavische Prosylläen. Texte in Neu- und Nachdrucken, Bd. 32, München, 1968. Здесь, например, сообщается относительно Платона Зубова: «Одной серебряной монеты после его смерти осталось на 20 миллионов рублей, хотя он сознавался, что «и сам не знает, для чего он копит и бережет деньги» (с. 300).

ние о том, что мир полон великих людей, составляло черту массовой психологии для молодых дворян начала XIX века. Слова Пушкина:

Иль разве меж моих друзей  
Двух, трех великих нет людей? (V, с. 102) —

в 1832 г. звучали иронически. Однако в начале 1820-х гг. они воспринимались бы вполне серьезно. Внешнее сходство с Наполеоном отыскивали в Пестеле и С. Муравьеве-Апостоле.<sup>28</sup> Существенно не то, имелось ли это сходство на самом деле, а то, что его искали. Ведь еще Плутарх учил распознавать сущность современников, обнаруживая в них — пусть даже внешние и случайные — черты сходства с историческими деятелями.

Сколь ни были различны эгоистическое честолюбие авантюриста XVIII века и самопожертвенная любовь к славе «либералиста» начала XIX столетия, у них была одна общая черта — честолюбивые импульсы были неотделимы от деятельности и воплощались в поступках. Завалишин — один из самых молодых деятелей этого поколения (родился летом 1804 г.). Он принадлежал к тем, кто, хотя и «посетил сей мир в его минуты роковые», но «поздно встал — и на дороге застигнут ночью Рима был», как писал Тютчев в 1830 г. Он не успел не только принять участие в войнах с Наполеоном, но даже вступить в тайное общество. Честолюбивые мечты его разрешались не в действиях практических, а в воображаемых деяниях. Гипертрофия воображения служила для него компенсацией за неудачную жизнь.

И все же было бы глубочайшим заблуждением не заметить, что Завалишин и Хлестаков принадлежат различным эпохам и психология их, при видимом сходстве, скорее противоположна.

Разница между враньем Хлестакова, враньем Репетилова и самообманом Завалишина очень велика. Завалишин проникнут глубочайшим уважением, даже нежной любовью к себе самому. Его вранье заключается в том, что он примышляет себе другие, чем в реальности, обстоятельства и действия, слова и ситуации, в которых его «я» развернулось бы с тем блеском и гениальностью, которые, по его убеждению, составляют сущность его личности. Преобразуя мир силой своей фантазии, он трансформирует окружающее, ибо недоволен им, но остается в этом выдуманном мире Дмитрием Иринарховичем Завалишиным. Репетилов не прославляет себя, а кается, однако, в упоении самоосуждения он, гиперболизируя черты своей личности, остается собой. Если он говорит, что «танцовщицу держал! и не одну: трех ра-

---

<sup>28</sup> О Пестеле: «Увертками, телодвижением, ростом, даже лицом очень походил на Наполеона» (Шукинский сб. Вып. 4. М., 1905, с. 39). О С. Муравьеве-Апостоле: «Имел <...> необычайное сходство с Наполеоном I» (Декабристы. — Летописи, Государственный литературный музей. Кн. 3. М., 1938, с. 465).

зом!», то можно предположить, что у него была какая-то театральная интрижка. Когда он себя характеризует:

Всё отвергал: законы! совесть! веру! —

то, вероятно, какое-то салонное вольнодумство действительно имело место.

Иное дело Хлестаков. Основа его вранья — бесконечное презрение к себе самому. Вранье потому и опьяняет Хлестакова, что в вымышленном мире он может *перестать быть самим собой*, отделаться от себя, стать другим, поменять первое и третье лицо местами, потому что сам-то он глубоко убежден в том, что подлинно интересен может быть только «он», а не «я». Это придает хвостовству Хлестакова болезненный характер самоутверждения. Он превозносит себя потому, что втайне полон к себе презрения. То раздвоение, которое станет специальным объектом рассмотрения в «Двойнике» Достоевского и которое совершенно чуждо человеку декабристской поры, уже заложено в Хлестакове: «Я только на две минуты захожу в департамент с тем только, чтобы сказать: это вот так, это вот так, а там уж чиновник для письма, эдакая крыса, пером только: тр, тр... пошел писать». <sup>29</sup> В этом поразительном пассаже Хлестаков, вспаривший в мир вранья, приглашает собеседников посмеяться над

<sup>29</sup> Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч. Т. IV, Изд. АН СССР, 1951, с. 48. В дальнейшем все ссылки на это издание даются в тексте (римская цифра — том, арабская — страница). Исключительно интересное свидетельство связи ситуации социальной униженности с психологической реакцией ненависти к себе и стремлением переродиться (не «возродиться») — толстовская жажда возрождения связана с совершенно иным идейно-психологическим комплексом), перестать быть собою, вплоть до мифологической жажды «переменишь имя», находим в письме Вяземского Жуковскому от 13 декабря 1832 г. Вяземский не был «маленьким человеком», и сознание своей униженности было ему глубоко чуждо. В 1826 г. он писал:

Твердят, что люди эгоисты.

Где эгоизм? кто полный я?

Кто не в долгу пред этим словом?

Оно глядит в издании новом

Анахронизмом словаря («Коляска»).

Тем более остро должен был он чувствовать себя безликим винтиком, когда правительственный нажим вынудил его пойти на государственную службу. Вяземский писал Жуковскому: «Вот тебе сюжет для русской фантастической повести *dans les mœurs administratives*: чиновник, который сходит с ума при имени своем, которого имя преследует, рябит в глазах, звучит в ушах, кипит в слюне; он отплевывается от имени своего, принимает тайно и молча другое имя, например, начальника своего, подписывает под чужим именем какую-нибудь важную бумагу, которая идет в ход и производит значительные последствия; он за эту неумышленную фальшь подвергается суду и так далее. Вот тебе сюжет на досуге. А я по суеверию не примусь за него, опасаясь, чтобы не сбылось со мной» (Русский архив, 1900, кн. I, с. 367). Бросается в глаза совпадение ряда черт этой «русской фантастической повести» с «Записками сумасшедшего» Гоголя. Поскольку письмо Вяземского хронологически совпадает с началом работы Гоголя над повестью, можно предположить, что последний через Жуковского ознакомился с сюжетом.

реальным Хлестаковым. Ведь «чиновник для письма, эдакая крыса» — это *он сам* в его действительном петербургско-канцелярском бытии!

Показательно, что Гоголь тщательно искал для этой характеристики героем самого себя наиболее убийственные, пропитанные отвращением формулировки. Сначала (в так называемой «второй редакции») Хлестаков глазами Хлестакова выглядит так: «Приезжаю я, вот в этакую самую пору <...> Только вижу, в гостинице уже дожидается какой-то этакой молодой человек, которых называют (вертит рукой) фу, фу! в козырьке каком-то эдаком залихватском. Я уж, как только вошел: ну, думаю себе, хорош ты гусь» (IV, 292). Ср. в «Замечаниях для гг. актеров» Гоголя о Хлестакове: «Один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими» (IV, 9). Затем появляется в первой печатной редакции «чиновник для письма», который «сию минуту пером: тр . . . тр . . . так это все скоро» (IV, 412). Но Гоголь искал более резких слов самооценки и вставил в окончательной редакции — «эдакая крыса!» Врун 1820-х гг. стремился избавиться от условий жизни, Хлестаков — от самого себя. В этом отношении интересно, как Гоголь демонстративно сталкивает бедность воображения Хлестакова во всех случаях,

«Записки сумасшедшего», во многом, — трагическая параллель к «Ревизору». То избавление от самого себя и взлет на вершины жизни, которые Хлестакову обеспечиваются «легкостью в мыслях необыкновенною» и бутылкой-толстобрюшкой губернской мадеры, Поприщину даются ценой безумия. Однако основная параллель очевидна. Поприщину, подавленный своей принужденностью, не стремится изменить мир. Более того: мир в его сознании настолько неизблем, что именно вести о социальных переменах — изменение закона о престолонаследии и вакантность испанского престола — сводят его с ума. Он хочет сделать «анти-собой» и, доводя это до предела, производит себя в короли (Хлестаков, действуя в условиях России, по цензурным обстоятельствам останавливается на фельдмаршалстве и руководстве государственным советом; ср. сюжет «Золотой рыбки»). Сцена перемены имени и подписания бумаги («на самом главном месте, где подписывается директор департамента» — «Фердинанд VIII», III, 209), совпадая с замыслом Вяземского, знаменует момент перевоплощения Поприщина. Убеждение в том, что подлинная жизнь — по ту сторону двери («хотелось бы мне рассмотреть поближе жизнь этих господ, все эти эскивоки и придворные штуки, как они, что они делают в своем кругу», «хотелось бы мне заглянуть в гостиную, куда видишь только иногда отворенную дверь», III, 199), рождает сначала страсть к подглядыванию, психологический резервуар доносительства, а затем — желание самому сделаться угнетателем и видеть унижение других («чтобы увидеть, как они будут увиваться», III, 205). Стремление стать «анти-собой», чтобы унижить себя нынешнего, свойственно и другим героям Гоголя. Ср. слова городничего: «Ведь почему хочется быть генералом? потому, что случится, поедешь куда-нибудь — фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед: лошадей! и там на станциях никому не дадут, всё дожидается: все эти титулярные, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь: обедаешь где-нибудь у губернатора, а там: стой, городничий! Хе, хе, хе (заливается и помирает со смеху), вот что, канальство, заманчиво!» (IV, 82).

Одновременное пробуждение в Поприщине человека, описанное Г. А. Гурковским, делает его героем трагической разорванности.

когда он пытается измыслить фантастическую перемену внешних условий жизни (все тот же суп, хотя и «на пароходе приехал из Парижа», но подают его на стол в кастрюльке; все тот же арбуз, хотя и «в семьсот рублей»), с разнообразием обликов, в которые он желал бы перевоплотиться. Тут и известный писатель, и светский человек, завсегда кулис, директор департамента, и главнокомандующий, и даже турецкий посланник и Дибич-Забалканский. При всем убожестве фантазии «канцелярской крысы», проявляющемся в том, какой он представляет себе сущность каждой из этих ролей<sup>30</sup>, разница здесь очень существенна: в фантастическом мире окружение остается то же, что и в реальном быту чиновника, но чудовищно возрастает количественно (в этом отношении показательно употребление числительных: 700 рублей стоит арбуз, 100 рублей — бутылка рома, 800 рублей платит Хлестаков за «квартирку», которая фантастична лишь по цене, но вполне вписывается в средний чиновничий быт по сущности — «три комнаты этакие хорошие» — IV, 294), но амплуа, которые выбирает себе Хлестаков, строятся по иному принципу. Во-первых, они должны быть предельно экзотичными — это должно быть бытие, *максимально удаленное от реальной жизни* Хлестакова, и, во-вторых, они должны представлять в своем роде — высшую ступень: если писатель, то друг Пушкина, если военный — главнокомандующий. Это роднит Хлестакова не только с Поприциным, перевоплощающимся в испанского (экзотика!) короля (высшая степень!), но и с карамазовским чертом, который мечтает воплотиться в семипудовую купчиху и «поставить свечку от чистого сердца». Если герой «Двойника», как и гоголевские персонажи, видит свое идеальное инобытие в несовместимо-отличном по восходящей шкале социальных ценностей, то карамазовский черт конструирует его по нисходящей.

Стремление избавиться от себя заставляет персонажей этого типа пространственно членить мир на *свое* — лишенное социальной ценности — и высоко ценимое *чужое* пространство. Все жизненные устремления их направлены на то, чтобы жить в *чужом* пространстве. Символом этого делается плотно закрытая дверь и попытки гоголевских героев подглядеть: что же делается по ту ее сторону. Поприцин записывает: «Хотелось бы мне рассмотреть поближе жизнь этих господ, все эти экивоки и при-

---

<sup>30</sup> Ср. его представление о сущности творческого процесса: «А как странно сочиняет Пушкин. Вообразите себе: перед ним стоит в стакане ром, славейший ром, рублей по сту бутылка, какова только для одного австрийского императора берегут <предполагается, что ром для австрийского императора также берут в погребке, но только за особо дорогую цену — Ю. Л.>, — и потом уж как начнет писать, так перо только: тр...тр...тр... Недавно он такую написал пиэсу: Лекарство от холеры, что просто волосы дыбом становятся. У нас один чиновник (в варианте «один начальник отделения») с ума сошел, когда прочитал» (IV, 294).

дворные штуки, как они, что они делают в своем кругу <...> Хотелось бы мне заглянуть в гостиную, куда видишь только иногда отворенную дверь, за гостиной еще в одну комнату» (III, 199). Бобчинский: «Мне бы только немножко в щелочку-та в дверь эдак посмотреть, какие у него эти поступки» (IV, 22). Гоголь подчеркнул этот момент, как бы боясь, что зритель его не оценит, водевильным жестом: «В это время дверь обрывается, и подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит вместе с нею на сцену» (IV, 38). Эта страсть к подглядыванию психологически связана с убеждением в серости и неинтересности собственной жизни и сродни жажде видеть «красивую жизнь» на сцене, в книге или на экране.

Особо ярко проявляются эти черты в сцене опьянения Хлестакова. Употребление алкогольных напитков (или других средств химической регуляции поведения личности) — тема, слишком обширная и касающаяся слишком общих и древних проблем, чтобы здесь затрагивать ее даже поверхностно. Однако можно было бы отметить, что, с точки зрения типов «праздничного» или «ритуального» поведения, в данном аспекте возможны две целевые установки (им будут соответствовать типы культуры, ориентированные на употребление предельно слабых алкогольных средств, — примером может быть античная норма вина, разбавленного водой, и представление о неразбавленном виноградном вине как недопустимом в сфере культуры напитков, — и предельно крепких; соответственно, в первом случае ориентация на длительное употребление, на *процесс* питья, во втором — на *результат*, воздействие жидкости на сознание)<sup>31</sup>. Одна имеет целью усиление свойств личности, освобождение ее от того, что ей мешает быть самой собою. Следовательно, она подразумевает подчеркивание памяти о себе самом, таком, каков я во «внепраздничной» ситуации. Только те свойства личности, которые из-за противодействия окружающего мира не могли получить развития, вдруг освобождаются. Как и в процессе фантазирования «завалишинского» типа, реальность внешнего мира внезапно теряет жесткость, она начинает поддаваться деформирующему воздействию фантазии. Жизнь снимает свою руку с человека, и он — в опьянении — реализует свои подавленные возможности, то есть становится в большей мере собой, чем в трезвом состоянии.

Вторая ориентация подразумевает перемену в самой личности. Следовательно, основной целью химической регуляции поведения становится забвение, необходимость забыть о своем предшествующем (обычном) состоянии и о сущности своей личности. Отличительная черта Хлестакова — короткая память (делающая его, в частности, неспособным к сложным расчетам

<sup>31</sup> Ср.: Roland Barthes, *Mythologies* (глава «Le vin et le lait»), éd. du Seuil, 1957, p. 83—86.

корыстолюбия и эгоизма и придающая ему те «чистосердечие и простоту», о которых Гоголь напомнил актерам, как об основных чертах его личности) в момент опьянения превращается в решительную невозможность сохранить единство личности — она рассыпается на отдельные моменты, из которых каждый не хранит памяти о предшествующем. Хлестаков каждую минуту как бы рождается заново. Он чужд всякого консерватизма и традиционализма, поскольку лишен памяти. Более того, постоянное изменение составляет его естественное состояние. Это закон его поведения и когда он объясняется в любви, и когда он мгновенно переходит от состояния затравленного должника к самочувствию вельможи в случае. Обратное превращение также не составляет для него никакого труда. Понятия эволюции, логики внутреннего развития к Хлестакову не применимы, хотя он и находится в постоянном движении. Приняв какой-либо модус поведения, Хлестаков мгновенно достигает в нем совершенства, какое человеку с внутренним развитием стоило бы усилий целой жизни (Хлестаков, бесспорно, одарен талантом подражательности). Но мгновенно приобретенное столь же мгновенно теряется, не оставив следа. Уснув Очень Важным Лицом, он просыпается снова ничтожным чиновником и «пустейшим малым».

Однако здесь уместно поставить вопрос: «Что же, собственно, является объектом нашего рассмотрения?». Мы рассматриваем не комедию Гоголя как некоторое художественное целое, во внутреннем мире которой Хлестаков существует лишь как текстовая реальность, один из элементов в архитектонике созданного Гоголем произведения. Предмет нашего рассмотрения следует, видимо, отнести к трудно изучаемой прагматике текста. Область эта не случайно реже всего привлекает внимание исследователей. Прежде всего, понятие прагматических связей, в том виде, в каком оно было сформулировано Пирсом и Моррисом, в применении к сложным семиотическим системам оказывается в достаточной мере неопределенным. Отношения между знаком и людьми, получающими и передающими информацию, трудно определимо, поскольку и слово «отношение» здесь, видимо, употребляется в ином, чем при определении семантики и синтактики, смысле, далеком от терминологической определенности, и понятие «люди» сразу же вызывает вопрос: рассматривается ли здесь человек как объект семиотического, социологического, психологического или какого-либо еще описания<sup>31а</sup>.

Вопрос еще более усложняется, когда объектом исследования становится исторический материал — в этом случае возникают трудности не только из-за неопределенности понятий, но

---

<sup>31а</sup> Какая путаница может возникать под флагом прагматических исследований, свидетельствует «прагматическая поэтика» Э. Чаплевича. См.: Эугениуш Чаплевич. Целостен ли структурный анализ? — «Вопросы литературы», 1974, № 7.

и по причине отсутствия зафиксированных данных, которые с достаточной полнотой позволяли бы судить об отношении разнообразных коллективов к циркулировавшим в их среде текстам. Если мнение критики бывает хорошо документировано, то сведения об отношении читателей, как правило, неполны и отрывочны. Средние же века, в основном, дают нам сведения не о том, как относился адресат к определенным текстам, а как он должен был относиться. Конечно, и эти скудные данные могут быть ценным материалом для реконструкций. Однако методика последних пока еще не разработана.

И все же необходимость исследований того, что определяется как прагматический аспект, столь насущна и настоятельна, что трудности, о которых говорилось выше, следует рассматривать не как причины для отказа от разысканий в этой области, а в качестве стимулирующего фактора.

Видимо, будет уместно заменить понятие «людей» представлением о коллективе, организованном по структурным законам некоторой культуры. По отношению к данной культуре коллектив этот может рассматриваться как текст определенного рода. Тогда прагматические связи можно будет трактовать как соотношение двух различно организованных и иерархически занимающих разные места, но функционирующих в пределах единого культурного целого текстов. Еще более сужая задачу, мы полагаем целесообразным выделить из понятия культурного коллектива более частное: структуру поведения определенной исторически и культурно конкретной группы. Поведение рассматривается и как определенный язык, и как сумма исторически зафиксированных текстов.

Поставленная таким образом задача, с одной стороны, оказывается в пределах возможностей семиотического изучения, а, с другой, сближается с традиционной эстетической проблемой соотношения искусства и действительности. Рассматривая присутствующую той или иной культуре структуру поведения как сложную иерархическую организацию, создающую для свойственных ей социальных ролей нормы «правильного» поведения, равно как и допустимые от них отклонения, мы получаем возможность выделять в реальных поступках исторических лиц и групп значимые и незначимые элементы, реконструируя инвариантные типы исторического поведения. При этом мы учитываем, что каждая культурная эпоха с целью организации поведения членов своего коллектива занимается тем же, создавая типовые нормы «правильного» поведения. Эти метатексты — ценный источник для наших реконструкций. Однако не следует забывать, что любое описание поведения в том или ином тексте эпохи — самое точное предписание закона или самое реалистическое художественное произведение — для нас не сам объект во всей его безусловности, а лишь источник для реконструкции объекта, закодирован-

ный определенным способом, составляющим специфику данного текста. В этом состоит отличие нашего подхода от популярных на рубеже прошлого и настоящего веков эссеистических рассуждений литературных героев как «типов русской жизни». Художественное произведение может изучаться с многочисленных точек зрения. В частности, совершенно различны исследовательские подходы, рассматривающие художественное произведение как результат творческого акта автора и как материал для реконструкции типов культурного поведения определенной эпохи. Наивное смешение этих аспектов тем более недопустимо, что оно происходит постоянно.

Представим себе зрителя, совершенно незнакомого с европейской культурой XIX — начала XX вв., перед статуей Родэна. Он совершит глубокую ошибку, если на основании этого текста попытается представить себе одежду, жесты и поведение людей — современников скульптора. Ему надо будет осмыслить видимое как целостный художественный акт, являющийся переводом представлений определенной эпохи на язык некоторой художественной структуры. Но представим, что эта работа сделана со всей возможной полнотой. Тогда, вероятно, окажется возможным дешифровать по статуе эпоху, включая и ее бытовой облик, уже не в первоначальном, наивном, смысле.

Цель настоящей работы — не изучение образа Хлестакова как части художественного целого комедии Гоголя, а реконструкция, на основании этого глубокого создания синтезирующей мысли художника, некоторых типов поведения, образующих тот большой культурно-исторический контекст, отношение к которому приоткрывает двери в проблему прагматики гоголевского текста.

В Хлестакове — герое «Ревизора» — легко выделяются признаки, присущие некоторому более общему типу, присутствовавшему в сознании Гоголя как сущность более высокого порядка, проявляющаяся в различных персонажах гоголевских текстов как в ипостасях. Этот творческий архетип — факт творческого сознания Гоголя. Однако в нем можно с достаточной мерой наглядности обнаружить черты сходства с поведением определенных исторических лиц, причем черты эти будут весьма устойчивы, им будет присуща тенденция к повторению в различных вариациях. Это позволяет увидеть и в творческом создании Гоголя, и в исторических документах проявления некоторого более общего исторического образования, определенной культурной маски — исторически сложившегося в рамках данной культуры типа поведения. Из довольно многочисленных примеров изберем наиболее показательные.

В 1812 г. 17-летний корнет Роман Медокс растратил две тысячи казенных денег и бежал из полка. Он решил избежать расплаты при помощи проекта, в котором переплелись авантюризм,

«легкость в мыслях необыкновенная», мечты о героических предприятиях и самое обыкновенное мошенничество. Подделав документы на имя флигель-адъютанта конногвардейского поручика Соковнина, адъютанта министра полиции Балашова, он снабдил себя также инструкцией, сфабрикованной от имени военного министра и дававшей ему самые широкие и неопределенные полномочия для действия на Кавказе от высочайшего имени. С этой инструкцией он собирался, как новый Минин, сформировать на Кавказе ополчение из горских народов и во главе его грянуть на Наполеона, тем заслужив себе прощение.<sup>32</sup>

Прибыв в Георгиевск, Медокс получил по подложному распоряжению министра финансов 10 000 рублей. Здесь он был встречен с полнейшим доверием опытными администраторами: губернатором бар. Врангелем и командующим Кавказской линией ген. Портнягиным. Показательно, что, когда один из чиновников палаты выразил сомнение в том, что столь высокая миссия могла быть поручена такому молодому — возрастом и чином офицеру, а казенная палата проявила колебания в выдаче столь большой суммы, Врангель решительно пресек и то, и другое и настоял на выдаче требуемой суммы. Медоксу был оказан прием как лицу, наделенному высочайшими полномочиями, он принимал парады, в честь его давались балы. Оттягивая разоблачение, он уведомил местное почтовое ведомство о, якобы, данном ему полномочии проверять корреспонденцию губернатора, а ген. Портнягину сообщил, что ему поручен тайный надзор за бар. Врангелем, которому, якобы, в Петербурге не доверяют.

Совершенно теряя чувство реальности, Медокс отправил Балашову донесение о своих действиях от лица несуществующего адъютанта Соковнина, правда, сопроводив его саморазоблачительным письмом, в котором подчеркивал патриотические мотивы своей аферы и просил покровительства и заступничества, чтобы довести «ополчение» до конца. Одновременно он обратился к министру финансов гр. Гурьеву, аттестуя себя как лицо, находящееся под покровительством Балашова, и ходатайствовал о новых суммах.

Наглость и размах аферы повергли столичные власти в недоумение, что значительно оттянуло арест Медокса, тактика которого состояла в запутывании как можно более широкого круга как можно более высокопоставленных лиц.

Будучи арестован, он назвал себя Всеволожским, а затем — князем Голицыным, видимо, перечисляя подряд все известные ему аристократические фамилии.

---

<sup>32</sup> См.: С. Я. Штрайх. Провокация среди декабристов. Самозванец Медокс на Петровском заводе. М., 1925; изд. второе — С. Я. Штрайх. Роман Медокс. Похождения русского авантюриста XIX в. 1929; изд. 3-е, 1930.

По распоряжению императора, Медокс был посажен в Петропавловскую крепость, без срока. В 1826 г. участь его вдруг переменилась. Сидя в Шлиссельбурге, он встретился там с некоторыми осужденными по делу 14 декабря. Можно предположить, что тогда же он обратился к соответствующим инстанциям с предложением услуг по части осведомительства. По крайней мере, в марте 1827 г. он был неожиданно освобожден и отправлен на поселение в Вятку, через которую следовали в Сибирь осужденные декабристы. Проезжая через Вятку, И. И. Пущин писал домашним: «Тут же я узнал, что некто Медокс, который 18-ти лет посажен был в Шлиссельбургскую крепость и сидел там 14 лет, теперь в Вятке, живет на свободе. Я с ним познакомился в крепости.»<sup>33</sup> Из Вятки Медокс бежал, раздобыл паспорт на чужое имя и отправился на Кавказ, но был снова задержан в Екатеринодаре. Царь распорядился определить его рядовым в Сибирь, но он снова бежал и из Одессы, где проживал по подложным документам, обратился к Николаю с письмом на английском языке, в котором просил о помиловании. Все эти перипетии завершаются тем, что Медокс, числясь рядовым Омского полка, вдруг оказывается — без ведома непосредственного его войскового начальства, но при явном покровительстве жандармского ведомства — в Иркутске, где проявляет подозрительный интерес к ссыльным декабристам и их приехавшим в Сибирь семьям. Он втирается в дом А. Н. Муравьева, сосланного в Сибирь без лишения дворянства и получившего — в порядке высочайшей милости — разрешение вступить в службу иркутским городничим.

С. Я. Штрайх считает, что в момент появления в доме Муравьева Медокс действовал как провокатор. Оснований для подобного мнения нет: никаких донесений его и документальных следов связей с тайной полицией за этот период в делах, составляющих, насколько можно судить, хорошо сохранившийся корпус документов, не сохранилось. Вообще, С. Я. Штрайх склонен рационализировать поведение Медокса, представляя его человеком, целеустремленно идущим по своему пути. Характер Медокса, как он вырисовывается из документов, был, видимо, иным.

Еще в Шлиссельбурге Медокс — тогда узник, просидевший уже 14 лет и не имеющий надежд на освобождение, — познакомился с Юшневским, Пуциным, М. и Н. Бестужевыми, Пестовым и Дивовым. Переведенный позже в Петропавловскую крепость, он нашел способы познакомиться с Фонвизиным и Нарышкиным, а в Вятке уже близко сошелся с Юшневским, Штейнгелем, Швейковским и Бяратинским. Неясность его появления в Вятке, а затем в Иркутске наводит на мысль о каких-то связях с жандармским управлением. Однако следует иметь в виду, что, с одной стороны, документальными подтверждениями этих

<sup>33</sup> И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956, с. 100.

связей мы не располагаем, а, с другой, сами декабристы, весьма в этом отношении осторожные, не видели в его появлении в своей среде ничего странного. Какие-то обыденные объяснения его пребыванию в Иркутске, видимо, были.

Стремление Медокса проникнуть в декабристскую среду в Сибири, вероятно, диктовалось многими соображениями: ему были приятны встречи и беседы с сочувствующими и высокообразованными людьми (сам Медокс, как отмечалось еще во время его первого ареста, отличался свободным владением французским, немецким и английским языками, «сведениями в литературе и истории, искусством в рисовании, ловкостью в обращении и другими преимуществами, свойственными человеку благовоспитанному, а особенно основательным знанием отечественного языка и большими навыками изъясняться на оном легко и правильно»<sup>34</sup>). Кроме того, Медокс был абсолютно лишен средств и пользовался материальной поддержкой А. Н. Муравьева и декабристских «дам» (активнее всего, видимо, Юшневской). Суммы были, вообще-то, мелкие, но для него, в его положении — значительные. Но важнее всего, видимо, другое: здесь Медоксу казалось, что он попадает в мир той аристократии — «соковниных, всеволожских, голицыных», который всегда составлял предел его мечтаний. Когда же он узнал, какие суммы переводят своим ссыльным родственникам Волконские, Трубецкие, Шереметьевы — у него просто дух захватило. Ему показалось (особенно после того, как попытка через П. Л. Шиллинга добиться милости у Бенкендорфа не увенчалась успехом и он начал обдумывать план своевольного побега<sup>35</sup>), что через ссыльных он может завязать полезные ему аристократические связи. У него есть черта, роднящая его с Николаем I, — преувеличенное мнение о мощи, солидарности, богатстве тех сил, представителями которых он считает ссыльных декабристов.

Попав в дом А. Н. Муравьева, Медокс встретил сестру жены основателя Союза Спасения, княжну Варвару Михайловну Шаховскую. В. М. Шаховская много лет была связана с П. А. Мухановым взаимной любовью. Сначала родительское противодействие, а затем арест и ссылка ее возлюбленного помешали им соединиться. В. М. Шаховская приехала к сестре в Иркутск, чтобы быть ближе к возлюбленному и в надежде на то, что Николай I разрешит их брак (препятствием было также близкое родство: сестра Муханова была женой брата Шаховской). Разрешение не было получено, и Шаховская вскоре вернулась в Москву, где через некоторое время скончалась.

Увидав Шаховскую, Медокс воспылал к ней любовью. Нет оснований считать, что, как это полагает Штрайх, никакого чув-

<sup>34</sup> С. Я. Штрайх. Провокация... , с. 31.

<sup>35</sup> Запись в дневнике Медокса от 28 апреля 1831 г.: «Если содействие Шиллинга останется безуспешным, то придется, не ожидая милостей, уехать своевольно» (Там же, с. 42).

ства не было вообще и полицейский провокатор просто разыгрывал роль влюбленного. Дневник Медокса свидетельствует о противоположном: он действительно влюблен, хотя любовь его выражается словами, как будто заимствованными из дневника Поприщина с его знаменитым: «дочка . . . эх канальство!» — или из поэзии Бенедиктова: «Думая, что она будет без чепчика, вперед восхищался зрелищем прекрасных черных волос, убранных со вкусом Рафаэля, весь кипел от мысли увидеть обожаемую в наряде < . . . > Она была в чепчике, грудь, которая в идеале, за минуту перед тем мечтавшемся, являлась открытою, была совершенно невидима под палантином.»<sup>36</sup> Правда, одновременно он пробует завязать роман с Юшневской, объясняя это в дневнике своим пристрастием к «мягким бабам».

Однако надежды Медокса не оправдываются. Бенкендорф отказывает Шиллингу в ходатайстве, в доме Муравьевых его принимают лишь как знакомого, он пользуется определенным доверием декабристок, которые используют его для передачи корреспонденции помимо официальных каналов, ссыльные охотно с ним беседуют, видимо, кое-что рассказывая из своей прошлой жизни и деятельности, но дальше этого дело не идет.

И тогда Медокс, убедившись, что между Петровским заводом и европейской Россией, через посредство женщин, идет по неофициальным каналам довольно оживленная переписка, затевает грандиозную провокацию. Он обращается к Бенкендорфу, а через его посредство — к царю с сообщением о новом колоссальном заговоре декабристов. Центр заговора находится, по его сведениям, в Москве. Участники тесно связаны с ссыльными и готовят новое выступление. Сообщая реальные сведения о тайной переписке с Россией, он примешивает к ним вымышленные документы, шифры и коды, якобы, служащие для сношений

<sup>36</sup> Там же, с. 36—37. Опубликованный С. Я. Штрайхом дневник Р. Медокса (см.: С. Я. Штрайх, Роман Медокс. Похождения русского авантюриста XIX века, изд. переработанное, М., «Федерация», 1930) не подтверждает мысли публикатора о том, что чувства Медокса к В. М. Шаховской были притворными, и единственной целью его был донос. Для того, чтобы придать этой версии убедительность, Штрайх совершенно произвольно утверждает, что дневник писался для показа в доме Муравьевых и, якобы, по частям «забывался» в их гостиной». Все это — совершенно произвольные домыслы. В равной мере безосновательно утверждение, что известный ученый Шиллинг был агентом-провокатором 3-го отделения. (О Шиллинге см.: М. П. Алексеев, Пушкин и наука его времени, в кн.: Пушкин. Сравнительно-исторические исследования, Л., 1972). Р. Медокс — не агент охраны эпохи Зубатова, каким его представляет Штрайх. Это «гоголевский человек», попавший в культурный мир людей пушкинской эпохи. Он ослеплен цивилизованной утонченностью этого мира, его духовностью и нравственной высотой. Нищенская сибирская жизнь Муравьевых потрясает его уровнем материальной обеспеченности. Он охвачен и влечением к этому миру, и острой завистью. «Естественный» результат — влюбленность в В. М. Шаховскую и донос на А. Н. Муравьева. Оба поползновения одинаково искренни и в равной мере закономерно вытекают из психологического комплекса Медокса.

государственных преступников с их единомышленниками в столицах. Фальшивки эти, как и всякие подделки, весьма интересны. Вообще следует заметить, что при выяснении сущности документа как факта культуры фальшивки представляют такой же интерес, как пародии для выявления сущности произведения искусства.

Фальшивки Медокса, с одной стороны, в такой же мере отражают распространенные пошлые представления о сущности декабризма, в какой рассказы Хлестакова о Пушкине — зеркало мещанских мнений о характере поэтического творчества. Резко преувеличен таинственный заговорщический характер мнимого «Союза», причем в ход пошли какие-то сведения о масонском ритуале, рассуждения о семи степенях, ссылки на храмовых рыцарей и бутафория шифров. Однако, с другой стороны, нельзя не признать, что Медокс умело использовал разговоры, которые велись при нем, но то, что говорилось о прошлом, он перенес на будущее. Так, он явно повторял чьи-то слова (и это интересно для реконструкции содержания бесед ссыльных декабристов), когда писал о Михаиле Орлове: «Никто лучше его не умеет привлекать к себе. Он в свое время был единственный <т. е. «незаменимый». — Ю. Л.> человек.»<sup>37</sup> Но, прибавляя к этому, что М. Орлов «не вовсе упал духом, и, верно, может быть полезен», он старался внушить, что последний привлечен к новому заговору.

Видимо, не случайно, в составленном Медоксом шифре М. Орлов был обозначен графическим значком молнии. Столь же интересно, что Якушкин там же зашифрован знаком кинжала. Передавая, якобы, слова Юшневского о распределении ролей в будущем выступлении, Медокс дал Якушкину такую характеристику: «Якушкин и Якубович давно выточенные кинжалы». Это мнение соответствовало поведению Якушкина периода «московского заговора» 1818 г. («казалось молча обнажал царевбийственный кинжал»), но ничего общего не имело с настроениями его в 1832 г. Юшневский мог так характеризовать лишь былого Якушкина — Медокс изменил время и превратил рассказ о прошлом в донос о настоящем.

И между тем отголоски каких-то мнений донос Медокса все же содержит. Заслуживает внимания свидетельство о проникновении каких-то сочинений ссыльных в зарубежную печать, поскольку сообщение это несет следы живых интонаций каких-то реальных бесед. «От души смеялся Юшневский, говоря, что в получаемых ими книжках сего журнала <Revue Britannique. — Ю. Л.>, у них вырезают их собственные сочинения, боясь, чтоб они просветились оными.» Вероятнее всего, Медокс поступает так, как исторические романисты средней руки, которые, примыслив романтический контекст, вкладывают историческим

<sup>37</sup> Там же, с. 63.

персонажам в уста реплики, зафиксированные в каких-либо источниках. Ситуацию он выдумал, но реплику, вероятно, где-то в декабристских кругах слышал.

Интересен также замысел журнала «Митридат» (название подсказано легендой о том, что Митридат приучил себя к ядам и мог не бояться отравлений) — издания на французском языке, которое опровергало бы официальную ложь русского правительства. Какой-то разговор о желательности подобного журнала Медокс, бесспорно, слышал, превратив ни к чему не обязывающую беседу в обдуманый политический проект.

В другом отношении показателен круг лиц, оговоренных Медоксом. Провокатор убежден, что сибирские изгнанники пользуются поддержкой в самых высоких аристократических сферах — в тех сферах, в которые он с острым чувством социальной зависти всю жизнь мечтает проникнуть.<sup>37а</sup> Он подряд называет все титулованные фамилии, которые ему приходят в голову (как Хлестаков, когда перечисляет свои петербургские связи): граф Шереметьев, князь Касаткин-Ростовский, графиня Воронцова, графиня Орлова. К этим именам он приплетает тех, о ком он слышал от «государственных преступников» как о деятелях тайных обществ, избежавших наказаний: М. Орлова, генерал-адъютанта С. П. Шипова, Л. Витгенштейна (последнему Медокс «поручил» издание «Митридата»). Показательно, что из петровских узников Медокс «привлек» к заговору не наиболее решительных и политически активных, а богатых и знатных: Трубецкого, Н. Муравьева, Фонвизина, Юшневского, Швейковского, прибавив Якушкина и Якубовича как «цареубийц» и Муханова, вероятно, из ревности.

По хорошо известному психологическому правилу, он припутал к доносу предмет своей любви В. Шаховскую и оказывавшего ему материальную поддержку и гостеприимство А. Н. Муравьева.

Петербургское начальство отреагировало на донос нервно. Дело в том, что представления Медокса о сущности декабризма, по сути, разделялись Николаем I, который тоже был убежден, что за спиной деятелей 14 декабря стоят аристократические заговорщики, и вынужден был выслушать от Михаила Орлова, который разъяснил ему «истинно демократическую» сущность

---

<sup>37а</sup> Зависть занимает вообще очень большое место среди побуждений Медокса. Она сквозит, например, в его доносе на Юшневского, в словах о том, что вместо заслуженной смерти он «наслаждается и жизнью и женою, все еще барынею, живет в темнице лишь по названию, в сущности же в академии» (С. Я. Штрайх, цит. соч., с. 62—63). Характерны последние слова, снова доносящие до нас атмосферу устных разговоров эпохи Петровского завода. Декабристы не понимают, с какой злобой и завистью наблюдает за некоторыми послаблениями Медокс, не получавший ни от кого ни копейки, просидевший 14 лет в камере без какой-либо помощи и в Иркутске, снедаемый безграничным честолюбием — в солдатской шинели и без гроша.

движения, лекцию по современной политике.<sup>38</sup> О сущности той, казалось бы, странной доверчивости, которая обеспечивала хлестаковым благодарную аудиторию, речь пойдет в дальнейшем. В Сибирь был направлен ротмистр Вохин, который с помощью Медокса должен был собрать на месте доказательства существования заговора. От Медокса потребовали доказательств — он изготовил фальшивый документ — «купон», написанный с применением выдуманных шифров, по предъявлении которого ему должны были, якобы, быть открыты в Москве тайны заговорщиков. Этим он добился своего — вызова из Сибири в европейскую Россию. Что будет дальше, он, видимо, не склонен был загадывать, может быть, рассчитывая действительно раскрыть заговор, в существование которого он сам начинал верить, а может быть, вообще ни о чем не думая и полагаясь на «авось».

В Москве он сразу же кинулся тратить деньги, которые теперь у него имелись в изобилии, поселился в лучшей гостинице, заказал французскому портному платья на 600 р., требовал — и получал — деньги и от Бенкендорфа, и от московского генерал-губернатора, выгодно женился, взяв за женой приличное приданое. Поведение Медокса вызвало подозрения начальника московского жандармского округа генерала Лесовского, который поделился своими сомнениями с Бенкендорфом, однако, в Петербурге продолжали упорно верить в идею заговора, хотя лживость изветов Медокса делалась все более очевидной. Когда же, наконец, после полугодовых проволочек Лесовский потребовал от Медокса положительных результатов — Медокс бежал, сказав жене, что заедет навестить сестру, и захватив остатки приданого.

Отправившись вояжировать по России, он то выдавал себя за чиновника с важными поручениями, то, заезжая к родственникам ссыльных декабристов (например, к братьям В. Ф. Раевского в Старый Оскол), за пострадавшего их единомышленника. С дороги он писал письма Лесовскому, уверяя его в своей преданности, но не сообщая местонахождения. Когда деньги вышли, он вернулся тайком в Москву, надеясь получить от жены новые суммы. Однако родственники жены выдали его полиции, и он был под арестом доставлен в Петербург. Он попытался выпутаться новой серией доносов, теперь уже извещающая правительство, что заговор свил себе гнездо в корпусе жандармов: управляющий III отделением А. Н. Мордвинов как двоюродный брат А. Н. Муравьева препятствует раскрытию дела, а противодействие Лесовского — главная причина неудачи Медокса. Он даже пытался убедить начальство, что для раскрытия заговора ему обязательно надо жить на широкую ногу, иметь своего кучера — без этого заговорщики ему не доверяют и не раскрывают своих тайн. Просил он и личного свидания с царем. Од-

<sup>38</sup> «Красный архив», 1926, № 6, с. 160.

нако это уже не помогало — Медокс снова попал в Шлиссельбург, где просидел до 1856 г. Умер он в 1859 г.<sup>38а</sup>

Несколько другие стороны этого историко-психологического типа раскрываются в жизненной судьбе Ипполита Завалишина.

22 июня 1826 г. во время прогулки Николая I на Елагином острове к нему подошел юнкер артиллерийского училища Ипполит Завалишин и подал донос, в котором обвинял родного брата Дмитрия, подписавшего 24 мая последнее показание и ожидавшего решения своей судьбы в крепости. Ипполит Завалишин обвинял брата в государственной измене и получении огромных сумм от иностранных держав для ведения в России подрывной деятельности. Началось новое дело. Ипполит Завалишин жил не по средствам и имел большие долги. Кроме того, перед ним замаячила надежда мгновенной и, как ему казалось, беспронгрышной «фортуны». Вот как о сущности этого дела рассказывает Д. И. Завалишин: «Никаких секретных бумаг он не мог, разумеется, видеть у меня, но по управлению моему хозяйственной частью в кругосветной экспедиции, у меня было множество бумаг официальных, не составляющих никакого секрета и потому лежавших открыто на столе <...> Вот в этих-то бумагах он, как оказалось впоследствии, и рылся. Тут было много бумаг на иностранных языках и консульских денежных счетов за разные вещи, поставляемые для экспедиции и по переводу векселей. Не зная никакого другого языка, кроме французского, Ипполит не мог узнать содержание этих бумаг. Видя же впоследствии раздражение правительства против нас и даже явную несправедливость относительно нас, он по легкомыслию вообразил себе, что против нас при таком расположении правительства всякое показание будет принято без исследования, и потому, зная, что при дурном его учении он не может рассчитывать на повышение законным путем, он вздумал составить себе выслугу из ложного доноса на брата.»<sup>39</sup>

Ложность доноса обнаружилась, хотя Ипполит поторопился подкрепить его вторым, в котором оговорил большое число ни в чем не повинных людей. Ипполит Завалишин, находясь под арестом во время следствия по его доносу, сообщил генералу Козену, что «ожидает быть флигель-адъютантом»<sup>40</sup>. Надо было обладать поистине хлестаковским воображением, чтобы представить себе возможность такого прыжка из юнкеров артиллерийского училища. Однако судьба готовила ему иное: император

---

<sup>38а</sup> В связи с психологией социальной ущербности напрашивается сопоставление Медокса и центрального персонажа повести Булата Окуджавы «Мерси, или похождения Шипова» («Дружба народов», 1971, № 12).

<sup>39</sup> Д. И. Завалишин, цит. соч., с. 252.

<sup>40</sup> Цит. по вступительной ст. П. Е. Щеголева в кн.: В. П. Колесников. Записки несчастного, содержащие путешествие в Сибирь по канату. СПб., 1914, с. XII.

приказал разжаловать его в рядовые и сослать в оренбургский гарнизон.

Прибыв в Оренбург, Завалишин вскоре обнаружил существование кружка свободолюбивой молодежи<sup>41</sup>, предложил им составить тайное общество, для которого сам же и написал устав, а затем выдал всех начальству.

Вторая попытка сделать карьеру путем доносов также оказалась неудачной: Ипполит Завалишин был осужден еще строже, чем его жертвы, — к пожизненной каторге. Каторгу он отбывал вместе с декабристами.

Судьба Ипполита Завалишина менее похожа на плутовской роман, чем приключения Романа Медокса, но она характерно дополняет этот историко-психологический инвариант существенными чертами.

Ипполит Завалишин, по имеющимся у нас свидетельствам, — неразвитый юнец (в момент подачи первого доноса ему 17 лет), рано научившийся делать долги и похваляющийся тем, «что ему до вступления в училище все трактиры и кабаки в Петербурге были известны»<sup>42</sup>. Однако в той же характеристике генерала Козена, составленной со слов самого И. Завалишина, говорится, что «он читал более, нежели по летам его ожидать можно, имея память хорошую, он много стихов знает наизусть»<sup>43</sup>. Но более изумительно другое: тому же генералу Козену И. Завалишин считает необходимым заявить, что он — страстный поклонник Рылеева. Заявление это делается где-то в конце июня — начале июля 1826, то есть, когда участь Рылеева уже решена, а, может быть, и исполнилась. Правда, мы не можем сказать, в какой мере к словам Завалишина подходит формула «заявление». Может быть, это была просто упоенная болтовня самолюбленного мальчишки. Но в любом случае примечательно, что он болтал так.

Несколько интересных в психологическом отношении деталей сообщает в своих воспоминаниях Колесников. Последний описывает процедуру отправки жертв оренбургской провокации и самого провокатора в Сибирь. В частности, она включала снятие особых примет. Аудитор Буланов, однополчанин и знакомый осужденных, «столько был деликатен и снисходителен, что не захотел ни раздевать нас, ни мерить, но записал приметы и рост каждого со слов наших», — пишет Колесников. Однако И. Завалишин неожиданно потребовал, чтобы в особые приметы за-

<sup>41</sup> См.: В. П. Колесников. Записки несчастного... (опубликовано с некоторыми цензурными изъятиями; полный текст — РО ИРЛИ, ф. 604 (Бестужевых), ед. хр. 18 <5587>); М. Д. Рабинович. Новые данные по истории Оренбургского тайного общества. — Вестник АН СССР, 1958, № 7; Ю. Лотман. Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель. — Уч. зап. ТГУ. Вып. 78, Тарту, 1959.

<sup>42</sup> В. П. Колесников, Записки несчастного..., с. XI.

<sup>43</sup> Там же.

несли, «что у него на груди родимое пятно в виде короны, а на плечах — в виде скиптра. Это возбудило общий смех.»<sup>44</sup> При всей неприязни, которую естественно вызывает личность И. Завалишина, человека, моральная дефективность которого дошла до степени законченного нравственного уродства<sup>45</sup>, отделаться смехом от его слов историк не имеет права. Здесь мы неожиданно сталкиваемся с верованием, хорошо известным нам по истории самозванцев из народа и отражающим твердую народную веру в то, что у истинного царя на теле должны быть врожденные «царские знаки». За этой верой стоит глубокое мифологическое представление о том, что реальная власть — «ненастоящая» («подложный царь», «антихрист», «оборотень»), а настоящая царь — скрывается и может до определенного времени и сам не догадываться о своей царской сущности. Так, в 1732 г. «в селе появился нищий, который заявил: «Я не мужик и не мужичий сын: я орел, орлов сын, мне орлу и быть (ср. сказку об орле и вороне в «Капитанской дочке» — Ю. Л.). Я царевич Алексей Петрович <...> есть у меня на спине крест и на лядвее родимая шпага». Крестьяне повели его к знахарю, который славился тем, что узнавал людей (интересно представление о том, что существует специальная способность «знать людей», т. е. по некоторым знакам узнавать их подлинную сущность. — Ю. Л.). Знахарь признал в нем подлинного царевича.»<sup>46</sup> От Пугачева единомышленники требовали, чтобы он показал «царские знаки» на теле: «Ты-де называешь себя госу-

---

<sup>44</sup> Там же, с. 22.

<sup>45</sup> Для историка культуры интересно, однако, что поступок И. Завалишина оценивался единодушно как уродство. Брежнего отвращения к нему не могли скрыть ни Николай I, ни председатель суда над Оренбургским обществом ген. Эссен, ни оренбургские мещане, солдаты и крестьяне. Даже в такой далекой от высокой морали среде, как мелкие чиновники в провинции, он вызывал отвращение. Колесников сохранил нам такую сцену: когда арестантов, прибывших по этапу в кандалах из Оренбурга в Уфу, ввели в губернское правление — полуразрушенное здание, где вокруг помадных банок, заменявших чернильницы, сидели писаря и подъячие с ободранными локтями, «все писцы, мгновенно перестав скрипеть перьями, обратились к нам с приметным любопытством. Один заложил себе перо за ухо, другой взял в зубы, иной держал в руке; но все тотчас встали с своих мест и обступили нас. Первый вопрос их, в несколько голосов произнесенный, был: «Кто из вас Завалишин?» <...> С какою-то театральною важностью, выступив вперед и язвительно усмехаясь, он отвечал им: «Что вам угодно? я к вашим услугам!» Подъячие оглядели его с ног до головы и тотчас отступили; один из них сказал: «Ничего, нам хотелось только узнать, что ты за зверь» (там же, с. 64). Следует иметь в виду, что само существование записок Колесникова обязано инициативе декабриста В. Штейнгеля, который принял меры к тому, чтобы этот беспримерный случай дошел довести потомства. Не случайно, записки Колесникова — один из самых ранних памятников декабристской мемуаристики: они были созданы в 1835 г.

<sup>46</sup> К. В. Чистов. Русские народные социально-утопические легенды, XVII—XIX вв. М., 1967, с. 126.

дарем, а у государей-де бывают на теле царские знаки». <sup>47</sup> И Пугачев показывал им «орлов» на теле (видимо, знаки от фурунгулов).

Если народная форма веры в свое избранничество в устах у столичного дворянина и офицера (пусть и разжалованного) в 1820-е гг. звучит ошеломляюще неожиданно (кстати, это лишний раз подтверждает схематичность наших представлений о пропасти, якобы, лежавшей между сознанием образованного дворянина и фольклорным миром), следует учитывать, что мысль о великом предназначении, видимо, культивировалась в семье Завалишиных. Так, не полуобразованный мальчишка Ипполит, а энциклопедически эрудированный Дмитрий Завалишин на склоне своих лет пресерьезно начинал свои записки с того, что сообщал читателю: «Крестины мои сопровождались, как говорят, особенною торжественностию. Меня крестили в знаменной зале, под знаменами (характерная для затемненных текстов предсказаний игра слов «знамя» — «знамение». — Ю. Л.), в присутствии архиерея, значительных лиц в городе и deputаций от разных народов: персиан, индийцев, киргизов, калмыков (трудно представить, чтобы Завалишин, много лет тщательно изучавший писание и «для собственного употребления» заново переведший на каторге всю Библию с подлинника, сообщая это, не думал о поклонении волхвов. — Ю. Л.) <...> Мне всегда твердили в семействе о каких-то предвещаниях, относящихся к какой-то блестящей будто бы будущности. Одно из предсказаний было сделано каким-то френологом». К этому месту «Записок» Д. Завалишин делает примечание: «Еще в 1863 году сестра писала мне, что очевидно, что Провидение неисповедимыми судьбами ведет меня к какой-то особенной цели». <sup>48</sup> И хотя престарелый Д. Завалишин формой рассказа как бы отмежевывается от этих предсказаний, бесспорно, что вся его жизнь прошла под знаком ожидания их исполнения. Очень может быть, что и Ипполит Завалишин считал момент описания особых примет своим «звездным часом», когда он наконец будет «узнан» и судьба его круто переменится.

Весьма интересно, что эти наивные фольклорные представления соединялись в голове И. Завалишина с романтическим наполеонизмом, культом избранной личности, находящейся по ту сторону моральных запретов, разумеется, в той примитивной версии, которая соответствовала умственному уровню 17-летнего юнкера, в голове которого фольклор и западная культура причудливо перемешались.

Колесников рисует трагикомическую сцену: И. Завалишин, уже осужденный на вечную каторгу, с обритой головой, бредущий в цепях и «на канате» (железный прут или толстая ве-

<sup>47</sup> Там же, с. 149.

<sup>48</sup> Д. И. Завалишин, Записки..., с. 10.

ревка, к которой прикреплялись попарно скованные арестанты — с «оренбужцами» церемонились значительно меньше, чем с декабристами, которые путешествовали в Сибирь в отдельных кибитках) с «какой-то комической надменностью» заявляет своим, погубленным им, спутникам: ««Вы не понимаете меня; вы не в состоянии постигнуть моего назначения!» Тапиков и Дружинин, смеючись, сказали: «Уж не думаешь ли ты быть Наполеоном?» — «Почему не так, — сказал он злобно, — знайте, если мне удастся, то от самого Нерчинска до дворца я умощу себе дорогу трупами людей, и первой ступенью к трону будет брат мой!»<sup>49</sup>

Поразительной особенностью И. Завалишина является его способность мгновенно меняться: то он мрачный демон и Наполеон, то он вольнодумец, изгоняющий из камеры священника, явившегося с утешениями: «Простоволосый поп, тебе ли понимать эту высокую и святую мысль (мысль о жизненном пути как несении креста. — Ю. Л.)? Убирайся вон!»<sup>50</sup> А через полчаса он танцует в цепях между нарами, приговаривая своим товарищам по несчастью: «Вы хотите спать, а мне хочется танцевать галопаду,»<sup>51</sup> — или беззаботно насвистывает, идя по этапу. То он, в письме к императору, в таком стиле характеризует свой донос на брата: «Видя высокие чувства преданности и любви к отечеству отверженными, жертву, доселе неслыханную, ни во что поставленную, я в жару негодования и различных чувств, сильно меня колеблющих...», то об этом же говорит — и кому? — генералу, приставленному его сторожить: «Если бы государь император, читав мои бумаги, мог читать, что у меня в сердце, то он послал бы меня к чорту».<sup>52</sup>

Хотелось бы отметить еще одну черту, роднящую интересующую нас группу характеров друг с другом, — все они, по субъективному самосознанию, романтики. Нам уже приходилось говорить о том, что романтическая модель поведения обладает особой активностью. Легко сводясь к упрощенным стереотипам, она активно воспринимается читателем как программа его собственного поведения. Если в реалистической ситуации искусство подражает жизни, то в романтической жизнь активно уподобляется искусству.<sup>53</sup> Не случайно Вертеры и Демоны породили эпидемии подражания, чего нельзя сказать ни о Наташе Ростовской, ни о Константине Левине, ни о Раскольникове или Иване Карамазове. Однако человек, избравший программой своего поведения романтические нормы, разыгрывающий роль демона или вампира, не властен по собственному произволу изменить сцену, на которой идет пьеса его жизни. По-

<sup>49</sup> Колесников, Записки несчастного ... , с. 76.

<sup>50</sup> Там же, с. 75.

<sup>51</sup> Там же, с. 76.

<sup>52</sup> Там же, с. XI.

<sup>53</sup> Ю. Лотман. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1973.

ступки, перенесенные из идеального пространства романтического текста в совсем не идеальную русскую действительность, порождают странные гибриды. Еще Г. А. Гуковский рассмотрел в гоголевских чиновниках романтиков: герой «Записок сумасшедшего», пишет он, «тоже, с позволения сказать, романтик, и романтическая поза Поприщина — пародия на романтизм, злее которой трудно придумать».<sup>54</sup> Конечно, здесь не только пародия. То, что является пародией в тексте, созданном волей поэта, в реальном тексте человеческого поведения выступает как деформация установки действующего лица под влиянием условий, навязываемых ему обстоятельствами. С этим связано резкое несовпадение самооценок и оценки внешнего наблюдателя в героях этого типа. Текст, который прочитывается с субъективной позиции как «демон», для глаз внешнего наблюдателя может оказываться Хлестаковым или Ипполитом Завалишиным.

Для такого романтизма в варианте Грушницкого весьма типично, что поведение не вытекает из органических потребностей личности и не составляет с ней нераздельного целого, а «выбирается», как роль или костюм, и как бы «надевается» на личность. Это приводит к возможности быстрых смен поведения и отсутствия в каждом состоянии памяти о предшествующем. Так кожа при любых ее изменениях сохраняет память о предшествующем, но новый костюм памяти о предшествующем костюме не имеет. Не только отдельные личности в определенные эпохи, но и целые культуры на некоторых стадиях могут заменять органическую эволюцию «сменой костюмов». Платой за это будет историческая и культурная утрата памяти.

Подробность, с которой мы остановились на наших примерах, избавляет от дальнейшего их накопления — представляется, что и сейчас уже можно сказать, что литературный Хлестаков связан с определенным историко-психологическим амплуа. Каковы же исторические условия складывания такого типа?

Прежде всего, это наличие в определенной историко-культурной близости высоко развитой и органической культуры, откуда человек хлестаковского типа может усваивать готовые тексты и образцы поведения. Выше мы связали хлестаковщину с романтизмом. Необходимо подчеркнуть, что она не генератор романтизма (она вообще не является в культурном отношении генератором), а его потребитель. Хлестаковщина, осуществляя паразитирование на какой-либо высоко развитой культуре, которую она упрощает, нуждается в особой среде — в ситуации столкновения сложившейся высокоразвитой и находящейся в супердинамическом состоянии молодой культуры.

Во-вторых, существенно, чтобы на фоне этого динамизма, текучести, отсутствия в культуре доминирующих консервативных

<sup>54</sup> Г. А. Гуковский. Реализм Гоголя. М.—Л., 1959, с. 310.

элементов, органическое развитие общества было заторможено или, в какой-то момент, вовсе остановлено, как, например, это было, когда получившее динамический толчок в петровскую эпоху русское общественное развитие оказалось замороженным при Николае I. Отсутствие глубокой традиционности в государственной культуре той поры создавало в определенных бюрократических сферах «легкость в мыслях необыкновенную», представление о «вседозволенности» и безграничности возможностей. А мнимый характер государственно-бюрократической деятельности легко позволял заменить реальную деятельность «враньем». Будучи перенесено в психологию отдельной личности, это давало хлестаковщину.

В-третьих, хлестаковщина связана с высокой знаковойостью общества. Только там, где разного рода социальные отчуждения, «мнимости» играют доминирующую роль, возможно то отчуждение деятельности от результатов, без которого хлестаковская морока — мороченье себя и окружающих как форма существования — делается невозможной.

В-четвертых, хлестаковщина подразумевает наличие деспотической власти. Хлестаков и городничий, Медокс и Николай Павлович (или Бенкендорф) — не антагонисты, не обманщики и обманутые, а неразделимая пара. С одной стороны, только в обстановке самодержавного произвола, ломающего даже нормы собственной государственной «регулярности», создается та атмосфера зыбкости и, одновременно, мнимо безграничных возможностей, которая питает безграничное честолюбие хлестаковых и ипполитов завалишиных. С другой стороны, самодержавие, тратящее огромные усилия на то, чтобы лишить себя реальных источников информации о том, что на самом деле происходит в обществе, которым оно управляет, все же в такой информации нуждается.<sup>55</sup> Удушая печать, фальсифицируя статистику, превращая все виды официальной отчетности в ритуализованную ложь, николаевское самодержавие оставляло для себя единственный источник информации — тайный надзор. Однако этим оно само ставило себя в положение, не лишенное своеобразного фарсового трагизма. Ошибочно было бы думать, что правительство Николая I, включая и III отделение канцелярии его величества, было укомплектовано тупыми, необразованными или полностью некомпетентными людьми. И в III-м отделении были деятельные и вполне разумные чиновники, были люди, не лишенные образования. Как ни оценивать их умственные способности, очевидно, что кругозор их был шире тех ничтожных личностей — разнообразных медоксов, — которые яв-

---

<sup>55</sup> Ср. слова М. Лунина: «Народ мыслит, несмотря на глубокое молчание. Доказательством, что он мыслит, служат миллионы, тратимые с целью подслушивать мнения, которые мешают ему выразить». И стремление не дать народу выразить свои мысли, и намерения эти мысли «подслушивать» в равной мере свойственны самодержавию.

лялись для них источниками информации. Однако использование честолюбивых недорослей, темных фантастов и просто досужих сплетников и доносчиков приводит с неизбежностью к тому, что самый уровень управления понижается до кругозора этих людей.

Одна из загадок «Ревизора» — почему глупый и простодушный Хлестаков водит за нос умного, по-своему, и опытного в делах городничего, почему простодушный, ветренный, внешне незначительный<sup>56</sup> Медокс водит за нос всех, с кем его сталкивает судьба, — от генералов и губернаторов на Кавказе до Бенкендорфа и Николая I? Пользуясь единственным источником информации, нельзя возвыситься над ним.

Крылов в басне «Бритвы», опубликованной в 1829 г. (Гоголь видел здесь связь с устранением от дел людей декабристского круга), писал:

... Бритвы очень тупы!  
Как этого не знать? Ведь мы не так уж глупы;  
Да острыми-то я порезаться боюсь.

С умом людей — боятся,  
И терпят при себе охотней дураков...<sup>57</sup>

Тупица и авантюрист делались двумя лицами николаевской государственности. Однако привлекая авантюриста на службу, николаевская бюрократия сама делалась слугой своего слуги. Она вовлекалась в тот же круг прожектерства. Как хлестаковщина представляла концентрацию черт эпохи в человеке, так же, в свою очередь, и она, во встречном движении поднимаясь снизу до государственных вершин, формировала облик времени.

Гоголь имел основания настаивать на том, что Хлестаков, воплощающий идею лжи не в чертах абстрактного морализирования, а в конкретном ее историческом, социально-культурном облике, — «это фантазмагорическое лицо которое, как лживый олицетворенный обман, унеслось вместе с тройкой, бог знает куда» (IV, 118) — главный герой «Ревизора». Нужно ли напоминать о том, с какими переживаниями был для Гоголя связан образ тройки? Однако вопрос о том, как трансформировался в сознании Гоголя этот реально-исторический тип, выходит за рамки настоящей статьи — он требует уже рассмотрения гоголевской комедии как самостоятельного текста.

Выше мы говорили об активности романтических текстов. Это не означает, разумеется, что литература реализма пассивна в своем отношении к поведению читателей. Однако природа ее

<sup>56</sup> «Лицом бел и чист, волосы на голове и бровях светлорусые, редковатые, глаза серые, нос невелик, островат, когда говорит — заикается» (С. Я. Штрайх, цит. соч., стр. 32).

<sup>57</sup> И. А. Крылов. Соч. Т. III. М., 1946, с. 181.

активности иная. Романтические тексты воспринимаются читателем как непосредственные программы поведения. Реалистические образы в этом отношении менее ориентированы. Однако они *дают наименование* спонтанно и бессознательно существующим в толще данной культуры типам поведения, тем самым переводя их в область социально-сознательного. Хлестаков — «тип многого разбросанного в разных русских характерах» (IV, 101), будучи построен, назван и получив определенность под пером Гоголя, переводит хлестаковщину в мир, находящемся за пределами гоголевской комедии, на совершенно иной уровень — в разряд культурно осознанных видов поведения.

В определенном отношении можно сказать, что реализм тяготеет к большей мере условности,<sup>68</sup> чем романтизм. Изображая типизованные образы, реалистическое произведение обращается к материалу, который еще за пределами художественного текста прошел определенную культурную обработку — стоящий за текстом человек уже избрал себе культурное амплу, включил свое индивидуальное поведение в разряд какой-либо социальной роли. Введенный в мир художественного текста, он оказывается дважды закодированным. Кодирова себя как «Демон», «Каин», «Онегин», «воображаясь героиней своих возлюбленных творцов» (VI, 55), персонаж оказывается еще чиновником, мелким офицером, провинциальной барышней. Реалистический текст в принципе ориентирован на ситуацию «изображение в изображении». Не случайно именно в реалистической литературе такое место занимает цитата, реминисценция, «новые узоры по старой канве» (то, что русская реалистическая проза начинается с «Повестей Белкина», — символично), в реалистической живописи — темы зеркала и картины на картине, в реалистическом театре — ситуация «сцена на сцене». В романтическом искусстве (если не считать пограничной сферы романтической иронии) эти ситуации значительно менее активны. Конечно, системы цитаций характерны лишь для той стадии реалистического искусства, когда оно вырабатывает свой язык, однако, ориентация на двойное семиотическое кодирование составляет его коренную черту. Побочным результатом этого будет то, что реалистические тексты являются ценным источником для суждений о прагматике разного рода социальных знаков.

Таким образом, если романтический текст перестраивает реальное поведение индивида, то реалистический перестраивает отношение общества к поведению индивида, иерархически организует различные типы поведения в отношении к ценностной шкале данной культуры — активность его проявляется в орга-

---

<sup>68</sup> Наше понимание проблемы условности в искусстве см.: «Философская энциклопедия», т. 5 (сигнальные системы — яшты), М., 1970 (статья «Условность в искусстве», совместно с Б. А. Успенским), с. 287—288.

низации целостной системы поведения данной культуры. Конечно, такая система воздействий отличается большой сложностью. И если мы говорили о том, что исследование прагматики художественных текстов — одна из наиболее сложных проблем, стоящих перед современным литературоведением, то к этому следует добавить, что прагматика реалистического текста (в отличие от прагматики фольклорных и средневековых текстов, где на этот счет имеются специальные правила, и романтизма, где наличествует относительно строгий прагматический узус) и на этом фоне выделяется, как исследовательская задача, сложностью.

## РОЛЬ ПРИБАЛТИЙСКО-НЕМЕЦКИХ ЛИТЕРАТОРОВ В ПРОПАГАНДЕ ТВОРЧЕСТВА М. Ю. ЛЕРМОНТОВА В НЕМЕЦКОМ КУЛЬТУРНОМ МИРЕ

С. Г. Исаков

Прибалтике было суждено сыграть роль своеобразного посредника в литературных общениях России с немецким культурным миром, и из среды остзейцев вышло немало крупных переводчиков русской литературы на немецкий язык.<sup>1</sup> Прибалтийско-немецкие переводы имеют тем большую ценность, что по ним знакомились с творчеством русских писателей и первые поколения эстонской (да и латышской) интеллигенции, поскольку переводов из русской литературы на эстонский язык до 1880-х гг. почти не было, русским же языком большинство эстонцев не владело и обращаться к русской литературе в оригинале в силу этого не могло.

Правда, внутренняя обстановка Прибалтики не слишком благоприятствовала деятельности местных пропагандистов русской литературы: большинство остзейцев не любило русских и весьма презрительно относилось к русской литературе, считая ее неразвитой и «варварской»; к тому же возможности печататься здесь для переводчиков были ограничены. Не случайно, многие переводы из русской словесности и статьи о ней, вышедшие из-под пера балтов, были опубликованы за границей, главным образом в Германии. И все же местные переводчики сделали немало для знакомства немецких читателей с русской литературой и, в частности, для знакомства их с творчеством М. Ю. Лермонтова.

Особенно велики в этом заслуги Романа Будберга-Беннингаузена (1816—1858).<sup>2</sup> Уроженец Эстляндии, он в 1835—1838 гг.

<sup>1</sup> См. об этом: С. Г. Исаков. Материалы по русской литературе и культуре на страницах немецкой прибалтийской печати начала XIX века (Обзор). — Уч. зап. ТГУ, вып. 184, 1966, с. 142—147.

<sup>2</sup> О нем см.: Jegór v. Sivers. Roman Freiherr Budberg-Benninghausen. — «Rigasche Zeitung», 10. III 1858, Nr. 56; Roman Freiherr Budberg-Boenninghausen. — In: R. Budberg-Boenninghausen. Gedichte. Zweite veränderte Ausgabe. Reval, 1861, S. IX—XX; Э. Райдма.

изучал камералистику в Тартуском университете, в 1840 г. отправился в Берлин. Там Р. Будберг-Беннингхаузен подружился с Н. Ленау, стал членом литературного общества «Туннель через Шпре». На его заседаниях прибалтийский поэт читал свои стихи и переводы из Лермонтова, получившие одобрение членов объединения. За свою любовь к русской литературе и стремление ее пропагандировать Р. Будберг получил в обществе «Туннель через Шпре» прозвище «Пушкин» (все члены этого общества имели прозвища-псевдонимы, под которыми они и фигурируют в его протоколах).

На поэзию же Лермонтова внимание Р. Будберга-Беннингхаузена, по всей вероятности, обратил остзеец Б. Иксуль,<sup>3</sup> лично знакомый с Лермонтовым.<sup>4</sup> Борис (Берххард) Иксуль (1819—1884) учился в Царскосельском лицее, в 1830-е гг. он часто бывал в петербургско-царскосельском салоне Карамзиных, где встречался с Лермонтовым, а также с П. А. Вяземским, В. Ф. Одоевским, А. С. Хомяковым, Аксаковым и др.<sup>5</sup> В 1839—1840 гг. Б. Иксуль изучал в Берлине логику и философию, там он познакомился с И. С. Тургеневым (с которым неоднократно встречался и позже и переписывался) и М. А. Бакуниним, вошел в кружок русских.<sup>6</sup> Как можно предполагать, там же в Берлине Б. Иксуль сблизился с Р. Будбергом-Беннингхаузенем и привлек его внимание к поэзии Лермонтова.<sup>7</sup> Летом 1840 г. Б. Иксуль в Киссингене встретился с известным популяризатором русской литературы немецким писателем К. А. Фарнгаге-

---

«Он к солнцу свой направил гордый взлет» (Р. Будберг — один из первых популяризаторов творчества М. Ю. Лермонтова). — «Советская Эстония», 16. X 1959, № 244; Eberhard Reissner. Deutschland und die russische Literatur. 1800—1848. Berlin, 1970, S. 207—210.

<sup>3</sup> Впрочем, Егор фон Сиверс считал, что предложение заняться переводами из Лермонтова исходило от К. А. Фарнгагена фон Энзе (см. «Blätter für literarische Unterhaltung», 19. I 1854, Nr. 4, S. 78). Однако Э. Рейсснер (см. цит. выше труд, с. 208) справедливо сомневается в достоверности этого известия.

<sup>4</sup> См. о нем: М. Ашукина. Забытый друг Лермонтова. — Литературное наследство, т. 58, М., 1952, с. 477—480. Это сообщение поражает своей неполнотой. М. Ашукиной остались неизвестны публикации воспоминаний Б. Иксуля, где он говорит о своих встречах с русскими писателями, и многие другие материалы о нем.

<sup>5</sup> Bernhard Freiherr von Uexküll, Petersburg und Gadebusch. Reval, 1885, S. 4—5. Б. Иксуль переписывался с П. А. Вяземским, информировал его о жизни эстонцев и прислал ему текст одной эстонской песни, см. об этом: С. Г. Исаков, Ю. М. Лотман. П. А. Вяземский и Эстония. — Уч. зап. ТГУ, вып. 104, 1961, с. 295.

<sup>6</sup> Bernhard Uexküll. Erinnerungen an Iwan Turgenjew. — «Baltische Monatsschrift», Bd. XXXI, 1884, S. 1.

<sup>7</sup> На это есть указание в поэтическом посвящении к кн.: М. Лермонтов. Der Novize. Aus dem russischen übersetzt von Roman Freiherrn Budberg-Benninghausen. Berlin, 1842, стр. не нумерованы.

ном фон Энзе и помог ему перевести на немецкий язык «Бэлу» Лермонтова<sup>8</sup> (в том же году перевод вышел в свет).

Р. Будберг-Беннингхаузен в 1842 г. издал в Берлине сборник своих стихотворений, в который вошли и три перевода из Лермонтова — «Дары Терека», «Казачья колыбельная песня» и «Три пальмы»,<sup>9</sup> позже, в 1861 г., перепечатанные во втором издании «Стихотворений», вышедшем в свет в Таллине.<sup>10</sup> В том же 1842 г. в Берлине был издан сделанный Р. Будбергом перевод «Мцыри» Лермонтова с большим поэтическим посвящением Б. Иксулю, в котором оплакивалась гибель поэта. Это был первый перевод из Лермонтова на немецкий язык, вышедший отдельным изданием. Наконец, в 1843 г. в Берлине появился принадлежащий Р. Будбергу перевод трех частей «Героя нашего времени» — «Тамани», «Фаталиста» и «Княжны Мэри».<sup>11</sup> Все эти издания привлекли внимание немецкой критики и были встречены ею очень одобрительно.<sup>12</sup>

Впрочем, немецкие критики и литературоведы расходятся в оценке переводов Р. Будберга-Беннингхаузена. Современники склонны были оценивать их очень высоко, еще в конце XIX в. их называли блестящими,<sup>13</sup> и в 1922 г. А. Лютер включил некоторые из них (в переработанном, правда, виде) в свое издание сочинений Лермонтова.<sup>14</sup> Немецкие же исследователи наших дней, наоборот, считают их малоудачными и имеющими лишь историческую ценность как одни из первых немецких переводов поэзии Лермонтова.<sup>15</sup>

Эти расхождения не трудно объяснить. Переводы Р. Будберга хорошо звучат по-немецки, но не очень точны: переводчик часто допускает отступления от оригинала, и некоторые из его работ правильнее было бы назвать вольными перепевами, переложениями лермонтовских произведений.<sup>16</sup> Исконное, трудно разре-

<sup>8</sup> K. Varnagagen von Ense. Tagebücher. Bd. 1. Leipzig, 1861, S. 188, 190, 195—197, 201. См. также: Dr. Friedrich Dukmeyer. Die Einführung Lermontows in Deutschland und des Dichters Persönlichkeit. Berlin, 1925 [Historische Studien, H. 164], S. 14—16.

<sup>9</sup> Roman Freiherr Budberg-Benninghausen. Gedichte. Berlin, 1842, S. 23—29, 119—122, 135—140.

<sup>10</sup> Перевод стихотворения «Три пальмы» был напечатан и в берлинском журнале: «Magazin für die Literatur des Auslandes», 29. VIII 1842, Nr. 103, S. 412.

<sup>11</sup> Aus dem Kaukasus, von Roman Freiherrn Budberg-Benninghausen. Nach Lermontoffschen Skizzen. Berlin, 1843.

<sup>12</sup> См. «Blätter für literarische Unterhaltung», 5. VI 1843, Nr. 156, 13. IV 1844, Nr. 104.

<sup>13</sup> См. Das Baltische Dichterbuch. Hrsg. v. J. E. v. Grothuss. Zweite Auflage. Reval, 1895, S. 398—399.

<sup>14</sup> Lermontows Werke, hrsg. von A. Luther. Berlin, 1922.

<sup>15</sup> См. E. Reissner. Deutschland und die russische Literatur. 1800—1848, S. 208—210.

<sup>16</sup> Впрочем, на это обращали внимание уже и современники, см. рецензию X. Браккеля в «Beilage zum Zuschauer», 3/15. X 1842, Nr. 5372, S. 701—702. Ср.: Roman Freiherr Budberg-Boenninghausen, S. XVII.

шимое противоречие между точностью и звучанием перевода выступает здесь ощутимо наружу, и оценка перевода зависит от того, на какую сторону его критик обращает преимущественное внимание.

Посредником в общении Р. Будберга с К. А. Фарнгагеном фон Энзе был видный прибалтийский писатель Егор фон Сиверс (1823—1879), любопытная личность, ныне вновь привлекающая внимание как исследователь Центральной Америки.<sup>17</sup> Позже он откликнулся небезынтeресной рецензией на новый перевод «Героя нашего времени» А. Болыца.<sup>18</sup> В творческом наследии Е. Сиверса важное место занимают переработки и переложения эстонских народных песен, легенд и сказаний.

Можно еще отметить, что одним из пропагандистов Лермонтова, как и вообще русской литературы, в Германии был известный ученый-ориенталист профессор Вильгельм Шотт (1807—1889), который, правда, не происходил из Прибалтики, но живо интересовался эстонской культурой, был автором ряда статей об эстонском фольклоре, переписывался с основоположником эстонской национальной литературы Ф. Р. Крейцвальдом и крупнейшей эстонской поэтессой Л. Койдулой и был одним из литературных информаторов первого из них. В 1842 г. В. Шотт опубликовал большую статью о Лермонтове, содержащую прекрасный анализ его поэзии, в котором были использованы и русские источники.<sup>19</sup> В статью был включен и перевод «Песни про купца Калашникова» Лермонтова.

В прибалтийской немецкой печати первое обращение к поэзии Лермонтова относится к 1848 г., когда в одном альманахе в переводе К. Штерна<sup>20</sup> появилось три стихотворения русского поэта — «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Выхожу один я на дорогу...» и «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»).<sup>21</sup> Вслед за тем переводы лирики Лермонтова довольно часты на страницах прибалтийской немецкой печати и в сборниках стихов остзейских поэтов (см. приложение). Можно сказать, что Лермонтов был одним из самых популярных рус-

<sup>17</sup> См. о нем: Gustav Kieseritzky. Jegór von Sivers. Riga, 1879.

<sup>18</sup> «Blätter für literarische Unterhaltung», 19. I 1854, Nr. 4, S. 78.

<sup>19</sup> «Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland», 1842, Bd. 2, S. 439—458.

<sup>20</sup> Карл Вальфрид Штерн (1819—1874) родился в Эстонии, изучал в 1838—1843 гг. экономику в Тартуском университете, после чего работал чиновником кадастровой комиссии в Рязани, Орле, Пскове и Новгороде. В 1855 г. вышел в отставку и поселился в своем имении в Вильяндском уезде. Умер в Тарту. Еще в 1844 г. К. Штерн издал небольшой сборник стихов и вслед за тем изредка печатался в прибалтийских изданиях. Наиболее полное издание его стихотворений вышло посмертно в Тарту в 1877 г. О нем см.: вступительная статья Л. Шрёдера к кн.: Karl Walfried Stern. Gedichte. Dorpat, 1877, S. 3—10; Jegór von Sivers. Karl Walfried v. Stern. Ein grünes Blatt auf sein Grab. Riga, 1874.

<sup>21</sup> Nach Lermontoff. Carl Stern. — Baltisches Album, Hrsg. von N. Graf Reh binder. Dorpat, 1848, S. 74—76.

ских авторов у остзейских любителей литературы XIX в., что не могло не способствовать распространению его произведений и среди эстонских читателей, владевших немецким языком.

Среди переводчиков стихов Лермонтова мы видим поэта-дилетанта Эд. Баумбаха.<sup>22</sup> Во второй сборник своих стихотворений, вышедший в свет в 1870 г., он поместил переводы двух образцов лирики Лермонтова — «В альбом» и «Нет, не тебя так пылко я люблю...».<sup>23</sup> В новый же сборник своих стихотворений 1876 г. Эд. Баумбах включил небольшую антологию русской поэзии, в которой мы находим 8 переводов из Лермонтова, в том числе «Утес», «Три пальмы», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Как часто пестрою толпою окружен».<sup>24</sup> Переводы Эд. Баумбаха демонстрируют нам, если так можно выразиться, средний уровень немецко-прибалтийского переводческого искусства: они в меру точны, чаще всего передают и формальные особенности оригинала (размер, ритмику, строфику, систему рифмовки), но им не хватает благозвучия, музыкальности, поэтический стиль переводов безукоризнен, и, как следствие, работы Эд. Баумбаха далеко не оставляют того впечатления, что лермонтовский подлинник.

Переводы из Лермонтова мы находим и в первом сборнике стихов известной прибалтийско-немецкой поэтессы Хелене Энгельгардт (Пабст, 1850—1910).<sup>25</sup> Кстати, об этом сборнике добродетельно отозвались Ф. Фрейлиграт, В. Менцель, Фр. Боденштедт. В него включены переводы стихотворений «Дары Терека», «Сон», «Парус», «Кавказ», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Звезда» («Вверху одна горит звезда...»), «Выхожу один я на дорогу...», «Волны и люди».<sup>26</sup> Молодую переводчицу (ей только исполнилось 20 лет) прежде всего привлекала лермонтовская романтика. Ее переводы неровны: среди них есть и удачные, точные и хорошо звучащие по-немецки («Сон», «Парус» и др.), но есть и менее удачные, в которых дает себя знать неопытность поэтессы («Выхожу один я на дорогу...»).

Но наибольшее значение, конечно, имели переводы А. Аша-

---

<sup>22</sup> Эдуард Баумбах (1827—1884), родом из Курляндии, изучал в 1849—1852 гг. камеральные науки и историю в Тартуском университете, позже работал учителем в Виндаве, Риге и, наконец, в Шлоке, где и умер. Автор трех сборников стихотворений (1849, 1870, 1876). Первые переводы Эд. Баумбаха из русской поэзии относятся к 1853 г. (стихи Пушкина и К. Павловой в журнале «Inland»).

<sup>23</sup> Eduard Baumbach. Gedichte. Zweite veränderte Auflage. Mitau, 1870, S. 257—258.

<sup>24</sup> Eduard Baumbach. Neue Gedichte. Riga, 1876, S. 139—148.

<sup>25</sup> О ней см.: Paul Kügelgen. Leben und Wirken der Dichterin Helene Baroness Engelhardt-Schnellenstein. — В кн.: Helene von Engelhardt. «Meine Stärke und Mein Schild». Gedichte. Reval, <1903>, S. 3—20.

<sup>26</sup> Morgenroth. Jugendlieder von Helene Baroness v. Engelhardt-Schnellenstein. Stuttgart, 1870, S. 289—300.

рина, без сомнения, самого крупного и талантливового прибалтийско-немецкого переводчика последней трети XIX в., чьи работы получили широкую известность и за пределами Остзейского края.

Андреас Ашарин (1843—1896), уроженец эстонского города Пярну, был по национальности русским, но получил немецкое образование (учился в гимназии и в университете в Тарту), работал некоторое время журналистом в петербургских немецких органах печати, а затем учителем немецкого языка в русских гимназиях Риги. На немецком языке он писал стихи и владел им в совершенстве. В 1877 г. в переводе А. Ашарина вышел сборник стихотворений Пушкина и Лермонтова,<sup>27</sup> в 1885 г. без изменений переизданных в Таллине.<sup>28</sup> Он включал 19 произведений Лермонтова: 16 стихотворений и 3 поэмы («Песня про купца Калашникова», «Мцыри», «Демон»).

Свои переводческие принципы А. Ашарин изложил в предисловии к более позднему сборнику переводов из русской поэзии.<sup>29</sup> Он декларирует здесь два основных положения: 1) если точность и красота перевода вступают в противоречие друг с другом, то переводчик прежде должен думать о красоте своего труда; 2) он — за малым исключением — не имеет права менять форму оригинала, его метрику и строфику. Эти утверждения ни в коей мере не означают, что А. Ашарин игнорировал принцип точности, адекватности перевода оригиналу. Они, скорее, направлены против буквализма. Ашаринские переводы в целом довольно точны, но это не буквалистская точность, когда в угоду букве оригинала приносится в жертву дух, общий смысл, идея оригинала.<sup>30</sup>

Переводы А. Ашарина были восторженно встречены ценителями русской литературы. Их вполне заслуженно называли превосходными, мастерскими. Критики справедливо указывали, что Ашарину удается передать сущность, дух оригинала, своеобразие переводимых авторов. Его переводы безукоризненно звучат по-немецки и в этом отношении превосходят боденштедтовские.<sup>31</sup> Один из рецензентов даже назвал работы Ашарина гениаль-

<sup>27</sup> Dichtungen von Puschkin und Lermontow in Deutscher Uebertragung von Andreas Ascharin. Dorpat, 1877.

<sup>28</sup> Dichtungen von Puschkin und Lermontow in Deutscher Uebertragung von Andreas Ascharin. Zweite Auflage. Reval, 1885.

<sup>29</sup> Nordische Klänge. Russische Dichtungen in deutscher Uebertragung von A. Ascharin. Riga, 1894, S. VIII—IX. В эту антологию русской поэзии включен и перевод стихотворения Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...»

<sup>30</sup> На это указывали и тогдашние рецензенты, см. рецензию Э. Бауэра на первое издание «Стихотворений Пушкина и Лермонтова» в переводе А. Ашарина («Nordische Rundschau», 1884, Bd. I, S. 669).

<sup>31</sup> См. указанную в предыдущей сноске рецензию. Ср. «Baltische Monatsschrift», 1884, Bd. XXXI, H. 9, S. 791—792 (рецензия Ф. Бинемана); Das Baltische Dichterbuch. Hrsg. von J. E. v. Grothhuss. Reval, 1895, S. 391.

ными.<sup>32</sup> И они, действительно, вскоре вытеснили в Германии переводы Фр. Боденштедта.<sup>33</sup> В начале XX в. в широко распространенном в немецкоязычном мире энциклопедическом словаре Майера утверждалось как нечто общепризнанное, что переводы Ашарина из Лермонтова — лучше.<sup>34</sup> Нам известно, что и некоторые эстонские переводы Лермонтова были сделаны не с оригинала, а с ашаринских переложений.<sup>35</sup> В этой связи можно указать хотя бы на перевод известным эстонским поэтом К. Э. Сёетом стихотворения «Утес», явно сделанный с переложения А. Ашарина.<sup>36</sup> Вообще в 1880-е гг. да иногда, возможно, и позже ряд переводов стихов Лермонтова на эстонский язык был осуществлен с немецкого.

В 1880 г. в Риге вышла антология русской поэзии в немецких переводах Александра Вальда.<sup>37</sup> В нее вошли произведения 53 русских поэтов плюс подборка русских и украинских народных песен. Лермонтов представлен в антологии А. Вальда 15 стихотворениями и отрывками из поэм. Однако художественный уровень переложений А. Вальда очень невысок.

Десять переводов из Лермонтова включено в выдержавший несколько изданий сборник стихов Х. Миквитца.<sup>38</sup>

О популярности Лермонтова в немецкой среде говорит и такой факт: эпитафией к разделу «Лирические стихотворения» в сборнике «Песни пролетария» известного немецкого поэта родом из балтов М. Штерна<sup>39</sup> взят стих из лермонтовского

<sup>32</sup> «Nordische Rundschau», 1884, Bd. II, S. 667.

<sup>33</sup> См. Friedrich Duktmeуег. Лермонтов у немцев. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Полное собрание сочинений. Т. 5. СПб., 1913, с. 112.

<sup>34</sup> См. Meyers Grosses Konversations-Lexikon. Sechste Auflage. Bd. XII. Leipzig und Wien, 1905, S. 436.

<sup>35</sup> Не случайно, когда газета «Олевик» в 1887 г. объявила конкурс на лучший перевод на эстонский язык стихотворения Лермонтова «Молитва», то в условиях конкурса приводился не только русский текст стихотворения, но и его переложение на немецкий язык А. Ашарина («Olewiku lisa» 1887, гл. 21, lk. 321—322). Не подлежит сомнению, что ряд переводов, присланных на конкурс, был сделан с немецкого.

<sup>36</sup> Ср.: Kalju. Lermontow'i järele K. E. S <ööt>, — «Olewiku lisa» 1887, nr. 13, lk. 203, — Dichtungen von Puschkin und Lermontow..., S. 8 («Der Felsen»).

<sup>37</sup> Russlands Bedeutendste Dichter von Lomonossow bis auf die Gegenwart metrisch in's Deutsche übersetzt von Alexander Wald. Riga, 1880. В сборник вошли переводы и из более ранней антологии того же автора: Anthologie Russischer Dichter. Metrisch ins Deutsche übersetzt von A. Wald. Odessa, 1860 (2-е изд. — Warschau, 1866).

<sup>38</sup> Christoph Mickwitz. Gedichte—Leipzig, Reval, 1892, S. 135—148. Христоф Фридрих Карл Миквитц (1850—1924) — прибалтийско-немецкий журналист и поэт, изучал филологию в Тартуском университете (1869—1877), был редактором газеты «Revalsche Zeitung», принимал активное участие в политической жизни края.

<sup>39</sup> Морис Рейнхольд Штерн (1860—1938), сын упоминавшегося выше К. Штерна, родился в Таллине, учился в Тартуской гимназии и в частном училище Шмидта в Вильянди, затем некоторое время работал театральным

«Демона». <sup>40</sup> Кстати, стихотворения, включенные в этот сборник, пронизаны идеями социализма, призывами к социальной революции. Одно из них носит название «In memoriam Karl Marx».

Таковы некоторые факты, свидетельствующие о немаловажной роли прибалтийско-немецких литераторов в пропаганде творчества М. Ю. Лермонтова среди немецких читателей.

## Приложение

### К библиографии переводов произведений М. Ю. Лермонтова на немецкий язык в прибалтийско-немецкой печати XIX в.

Хотя имеется несколько библиографий немецких переводов произведений М. Ю. Лермонтова, \* но почти все они страдают неполнотой. В них, в частности, не зафиксирована значительная часть переводов из Лермонтова, появившихся на страницах прибалтийско-немецкой печати XIX в. Между тем, как мы только что показали, эти переводы были весьма многочисленны и сыграли немаловажную роль в ознакомлении как немецких, так и эстонских и латышских читателей прошлого столетия с творчеством Лермонтова.

Ниже мы приводим материалы к библиографии немецких переводов произведений Лермонтова, вышедших из печати в Прибалтике в XIX в. При составлении библиографии нами были просмотрены *de visu* журналы, специальные литературные приложения к газетам, альманахи, сборники смешанного содержа-

---

рецензентом и переводчиком с русского в редакции газеты «Revalsche Zeitung». В 1881 г. эмигрировал за границу, жил в Германии, США, Швейцарии, принимал участие в рабочем социалистическом движении. С 1898 г. жил в Австрии, где и умер. Плодовитый поэт, публицист, драматург и эссеист.

<sup>40</sup> Maurice Reinhold von Stern. Proletarier-Lieder. Gesammelte Dichtungen dem arbeitenden Volke gewidmet. Jersey City (Nord-Amerika), 1885, S. 40. Этот же эпиграф и во втором издании книги: M. R. v. Stern. Stimmen im Sturm, Zürich, 1888, S. 73.

\* См.: Götz Kuhr, Eckbert Pechstedt. M. J. Lermontow. Bibliographie der in Deutschland erschienenen Werke und der deutschsprachigen Übersetzungen 1842—1964. — Wissenschaftliche Zeitschrift des Pädagogischen Instituts Erfurt. Jg. 2. 1965. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, S. 57—60; Rudolf Gregor und Hans-Werner Melka. Verzeichnis Lermontovscher Gedichte und Poeme in deutschen Übertragungen (1841—1962) geordnet nach Titeln, Übersetzern und Quellennachweisen in chronologischer Folge. — Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe. Jg. XIV (1965), 5, S. 675—686. Библиография переводов до 1848 г. приведена в кн.: Eberhard Reissner. Deutschland und die russische Literatur. 1800—1848. Berlin, 1970, S. 361—362. Ср. более раннюю: Friedrich Dukmeuer. Лермонтов у немцев. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Полное собрание сочинений. Изд. Разряда изящной словесности имп. Академии Наук. Т. 5, СПб., 1913, с. 102—115.

ния и поэтические сборники отдельных авторов, изданные в Остзейских губерниях в XIX столетии и имеющиеся в библиотеках Тарту, Риги и Ленинграда.

Все же настоящая библиография не может претендовать на исчерпывающую полноту, поскольку мы не имели возможности просмотреть все прибалтийско-немецкие газеты (на страницах некоторых из них печатались и литературные материалы).

В библиографии не зафиксированы переводы, принадлежащие прибалтийско-немецким переводчикам, но опубликованные за пределами Остзейского края — в Германии или в России.\*

Материалы в библиографии даны в хронологическом порядке. Перепечатки указываются в подстрочных примечаниях.

\* \*  
\*

1—3. Nach Lermontoff. I. Nicht Dich, mein Kind, lieb' ich so heiss und wild... \*\* [Нет, не тебя так пылко я люблю...]. II. Einsam schreit' ich auf der fels'gen Küste [Выхожу один я на дорогу...]. III. Traum (In Dagestan, zu heisser Mittagsstunde) [Сон (В полдневный жар в долине Дагестана...)]. <Übers.> Carl Stern. — In: Baltisches Album. Hrsg. von N. Graf Rehbinder. Dorpat, 1848, S. 74—76.

4—6. Drei Gedichte Lermontow's. Uebersetzt von Robert Hasenjäger. <4> Der Pilger [Вид гор из степей Козлова]. <5> Das Segel [Парус]. <6> Wogen und Menschen [Волны и люди]. — Extrablatt zur Rigaschen Zeitung, 1. IX 1854, Nr. 202.

7. Die Gaben des Terek [Дары Терека]. Aus dem Russischen des Lermontoff. — In: Roman Freiherr Budberg-Boeninghausen. Gedichte. Zweite veränderte Ausgabe. Reval, 1861, S. 91—97. \*\*\*

8. Wiegenlied einer Kosakin [Казачья колыбельная песня]. Frei nach Lermontoff. — Ibid., S. 98—101. \*\*\*\*

9. Die drei Palmen [Три пальмы]. Nach Lermontoff. — Ibid., S. 102—107. \*\*\*\*\*

\* Кроме отмеченных в тексте статьи переводов можно еще указать на следующие, кстати, не зафиксированные в немецких библиографиях:

1. Die Gaben des Terek [Дары Терека]. (Nach Lermontow). Youry v. Arnold. — «St. Petersburger Zeitung», 6./18. XII 1853, nr. 271.

2. Kosakisches Wiegenlied [Казачья колыбельная песня]. — In: Sophie von Winkler. «Blüthen». Gedichte. St. Petersburg, 1882, S. 80—81.

3. Freie Uebersetzung des Lermontowschen Gedichts: «Der Kosakenmutter Wiegenlied» [вольный перевод «Казачьей колыбельной песни»]. — In: Rudolf Treuer. Harmlose Gedichte. Berlin, 1900, S. 7—8.

\*\* Перевод перепечатан в кн.: Karl Walfried v. Stern. Gedichte. Hrsg. und bevorwertet von Leopold Schroeder. Dorpat, 1877, S. 25.

\*\*\* Первопубликация: Roman Freiherr Budberg-Benninghausen. Gedichte. Berlin, 1842, S. 23—29.

\*\*\*\* Первопубликация: там же, с. 119—122.

\*\*\*\*\* Первопубликация: там же, с. 135—140.

10. Die drei Palmen [Три пальмы]. Nach dem Russischen des Lermontow. <Übers.> H. V. — «Die Libelle», 5. IV 1869, Nr. 14, S. 105.

11. In ein Album [В альбом <?>].\* (Aus dem Russischen des Lermontoff). — In: Eduard Baumbach. Gedichte. Zweite veränderte Auflage. Mitau, 1870, S. 257.

12. Nein du bist's nicht für die mein Herz erglöh [Her, не тебя так пылко я люблю...]. (Aus dem Russischen des Lermontoff). — Ibid., S. 258.

13. Lermantoff (Лермантов). Der Himmel und die Sterne [Небо и звезды]. — In: Eduard Baumbach. Neue Gedichte. Riga, 1876, S. 139.

14. Der Fels [Утес]. — Ibid., S. 140.

15. Der sterbende Gladiator [Умирающий гладиатор]. — Ibid., S. 140—141.

16. Gebet [Молитва (Я, мать божия, ныне с молитвою...)]. — Ibid., S. 141—142.

17. Die drei Palmen [Три пальмы]. — Ibid., S. 142—144.

18. Ein Traum [Сон (В полдневный жар в долине Дагестана...)]. — Ibid., S. 145.

19. Der erste Januar [Как часто, пестрою толпою окружен...]. — Ibid., S. 146—147.

20. An die Gräfin Rostoptschin [Графине Ростопчиной]. — Ibid., S. 147—148.

21. Lermontow. Das Gebet [Молитва (В минуту жизни трудную...)]. — In: Dichtungen von Puschkin und Lermontow in Deutscher Uebertragung von Andreas Ascharin. Dorpat, 1877, S. 1.\*\*

22. Lermontow. Wiegenlied einer Kosakenmutter [Казачья колыбельная песня]. — Ibid., S. 2—4.

23. Lermontow. Sehnsucht [Желанье (Отворите мне темницу...)]. — Ibid., S. 6—7.

24. Lermontow. Der Felsen [Утес]. — Ibid., S. 8.

25. Lermontow. Der Engel [Ангел]. — Ibid., S. 8—9.

26. Lermontow. Der Prophet [Пророк]. — Ibid., S. 10—12.

27. Lermontow. Das Segel [Парус]. — Ibid., S. 12.

28. Lermontow. Auf den Tod Puschkins [На смерть Пушкина]. — Ibid., S. 13—15.

29. Lermontow. Das Testament [Завещание]. — Ibid., S. 16—18.

30. Lermontow. Borodino [Бородино]. — Ibid., S. 18—22.

---

\* Из приписываемых Лермонтову стихотворений. Публикация снабжена подстрочным примечанием: «Dieses Gedicht befindet sich nicht unter Lermontoff's herausgegebenen Gedichten, sondern ist in der Zeitschrift Pantheon Nr. 10 und 11 abgedruckt».

\*\* Все переводы из этого сборника без изменений вошли в его второе издание: Dichtungen von Puschkin und Lermontow in Deutscher Uebertragung von Andreas Ascharin. Zweite Auflage. Reval, 1885, страницы те же.

31. Lermontow. Der Traum [Сон (В полдневный жар в долине Дагестана...)]. — Ibid., S. 26.
32. Lermontow. Die Meermaid [Русалка]. — Ibid., S. 29—30.
33. Lermontow. Die Gaben des Terek [Дары Терека]. — Ibid., S. 33—36.
34. Lermontow. Tamara [Тамара]. — Ibid., S. 37—39.
35. Lermontow. Des Meerkönigs Kind [Морская царевна]. — Ibid., S. 39—41.
36. Lermontow. Das Stelldichein [Свиданье]. — Ibid., S. 57—60.
37. Lermontow. Lied von dem Zaren Iwan Wassiljewitsch, seinem jungen Liebtrabanten Kiribejewitsch und dem Kaufmannssohne Kalaschnikow [Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова]. — Ibid., S. 67—89.
38. Der Novize [Мцыри]. — Ibid., S. 90—125.
39. Lermontow. Der Dämon [Демон]. — Ibid., S. 127—184.
40. Lermontow. Das Gebet [Молитва (В минуту жизни трудную...)]. — In: Russlands Bedeutendste Dichter von Lomonossow bis auf die Gegenwart metrisch in's Deutsche übersetzt von Alexander Wald, Kaiserlich Russischem Staatsrath. Riga, 1880, S. 207. \*
41. Tamara [Тамара]. — Ibid., S. 207—208. \*
42. Wiegenlied des Kosaken [Казачья колыбельная песня]. — Ibid., S. 208—209. \*
43. Die Trennung [Расстались мы, но твой портрет...]. — Ibid., S. 210.
44. Der Gefangene [Узник]. — Ibid., S. 210—211.
45. Die drei Palmen [Три пальмы]. — Ibid., S. 211—213. \*
46. Die Wassernixe [Русалка]. — Ibid., S. 213—214. \*
47. Mein Wunsch [Желанье]. — Ibid., S. 214. \*
48. Allein auf dem Wege [Выхожу один я на дорогу...]. — Ibid., S. 215. \*
49. Tscherkessenlied. Kampf, tönt's! Ein Laut, den Menschen wohl bekannt [отрывок «Война!.. Знакомый людям звук...» из поэмы «Измаил-Бей»]. — Ibid., S. 215—216. \*
50. Der Traum [Сон (В полдневный жар в долине Дагестана)]. — Ibid., S. 216—217. \*
51. Der Prophet [Пророк]. — Ibid., S. 217—218. \*
52. Tscherkessenlied [Черкесская песня из поэмы «Измаил-Бей»]. — Ibid., S. 218.
53. Wohl giebt es Worte, deren Schall... [Есть речи — значенье...]. — Ibid., S. 219.

---

\* Отмеченные звездочкой переводы были ранее напечатаны в кн.: Anthologie Russischer Dichter. Metrisch ins Deutsche übersetzt von A. Wald, Oberlehrer am zweiten Gymnasium zu Odessa. Odessa, 1860 (Zweite Auflage. Warschau, 1866).

54. Nachtlied. Rückübersetzung aus dem Goetheschen «Unter allen Wipfeln ist Ruh» [Из Гете]. — Ibid., S. 220.

55. Das Segel [Парус]. (Uebersetzt aus Lermontow). — In: <Emil Rathlef>.\* Büchlein Lieder von einem Livländer. 1879. Dorpat, 1880, S. 32.

56—57. Aus russischen Dichtern. IX. Von C. Mickwitz. <56> Warum? [Отчего]. Von M. Lermontow. <57> An O. Smirnow [А. О. Смирновой]. Von M. Lermontow. — «Nordische Rundschau», 1885, Bd. IV, S. 641.

58—59. Aus dem Russischen. Lermontoff. <58> Wenn reifend rings... [Когда волнуется желтеющая нива...]. <59> Das Gebet [Молитва (В минуту жизни трудную...)]. — In: Jeannot Emil von Grothuss. Am Strome der Zeit. Dichtungen. Riga, 1885, S. 141—142.\*\*

60. Wiegenlied einer Kosakenmutter von Lermontow [Казачья колыбельная песня]. — In: Carl Friedr. Aug. Förster. Aus meinen Mussestunden. Gedicht und Lieder. Riga, <1885>, S. 124—126.

61—66. Uebertragungen aus Lermontoff. — In: Freiherr Alexander von Mengden. Gedichte. Riga, 1890, S. 181—184.

<61> Gebet [Молитва (В минуту жизни трудную...)], S. 181.

<62> Der Fels [Утес], S. 181.

<63> An ein junges Mädchen [Отчего], S. 182.

<64> Erinnerung [Нет, не тебя так пылко я люблю...], S. 182.

<65> Der Nachbar [Сосед], S. 183.

<66> Wunsch [Выхожу один я на дорогу...], S. 184.

67. Nach Lermontoff (Die Felsenkette schlummert, umhüllt...) [вольное переложение «Из Гете»]. — In: Anonymus der Prima des Livländischen Landesgymnasiums zu Fellin. I Theil. Dorpat, 1892, S. 88.

68. Nach Lermontoff (Wir sind getrennt; jedoch ich trag dein Bildnis...) [Расстались мы, но твой портрет...]. — Ibid., S. 88.

69. Nach Lermontoff — «Die Bergespipfel» [Из Гете]. — Ibid., S. 90.

70. Das Gebet (Nach Lermontoff) [Молитва (В минуту жизни трудную...)]. — Ibid., S. 90—91.

71. Nach Lermontoff: «Das Segel» [Парус]. — Ibid., S. 91.

72. Der Traum (Frei nach Lermontoff). [Сон (В полдневный жар в долине Дагестана...)]. — Ibid., S. 91—92.

---

\* Автор установлен по каталогу отдела «Estica» Научной библиотеки Тартуского государственного университета.

\*\* Эти стихотворения перепечатаны в кн.: Jeannot Emil Freiherrn von Grutthuss. Gottsuchers... Wanderlieder. Dichtungen. Stuttgart, 1898, S. 172—173.

73. Lermontoff. Lied [Слышу ли голос твой...]. — In: R. Costa [= Anna Hoeffener (Cossart-Brandt)]. An Lust und Leid. Gedichte. Dorpat, 1892, S. 115.

74. Lermontoff. Vision [Сон (В полдневный жар в долине Дагестана...)]. — Ibid., S. 115—116.

75. Der Gefangene [Узник]. — Ibid., S. 116—117.

76—85. Von Michail Lermontow. — In: Christoph Mickwitz. Gedichte. Reval—Leipzig, 1892, S. 135—148.\*

<76> Kosakisches Wiegenlied [Казачья колыбельная песня], S. 135—137.

<77> Sehnsucht [Желанье], S. 138—139.

<78> Warum? \*\* [Отчего], S. 140.

<79> Das Segel [Парус], S. 141.

<80> Der Felsen [Утес], S. 142.

<81> Vermächtnis [Завещание], S. 143—144.

<82> Hervor aus Deiner dunklen Maskenhülle hörte... [Из-под таинственной, холодной полумаски...], S. 145.

<83> Dankbarkeit [Благодарность], S. 146.

<84> Dir fern, möcht' ich so viel Dir sagen... \*\* [А. О. Смирновой], S. 147.

<85> O nein, nicht fühle ich so heiss für Dich... [Нет, не тебя так пылко я люблю...], S. 148.

86. M. Lermontow. Wenn in des Windes Hauch, als wie im süßen Traume [Когда волнуется желтеющая нива...]. — In: Nordische Klänge. Russische Dichtungen in deutscher Uebertragung von A. Ascharin. Riga, 1894, S. 5.

87. Der Engel [Ангел] (Aus dem Russischen von Lermontoff). <Übers.> Martha Siehmann. — In: Baltische Dichtungen, hrsg. von Freifrau von Staël-Holstein, geb. Freiin von Nolcken. Riga, 1896, S. 421—422.

88. Lermontoff. Fürwahr, ich bin kein Byron, nein... [Нет, я не Байрон, я другой...]. — In: Aus russischen Dichtern (Puschkin und Lermontoff). Uebertragungen in den Originalversmassen von G. Edward. Reval, 1898, S. 32.

89. Valerik [Валерик]. — Ibid., S. 33—42.

90. Der Streit [Спор]. — Ibid., S. 42—46.

91. An den Kasbek [Спеша на север издалека...]. — Ibid., S. 46—47.

92. Sentenz. — Ibid., S. 48.

93. Warum? [Отчего]. — Ibid., S. 48.

---

\* Все эти переводы были перепечатаны во втором и третьем изданиях сборника: Christoph Mickwitz. Gedichte. Zweite Auflage. Reval—Leipzig. 1892. стр. те же; Christoph Mickwitz. Gedichte. Drittes Tausend. Reval, s. a., стр. те же.

\*\* Перепечатка с небольшими исправлениями перевода, опубликованного в 1885 г. в «Nordische Rundschau» (см. №№ 56—57 настоящей библиографии).

94. Tönt Deine Stimme hold... [Слышу ли голос твой...].  
— Ibid., S. 48—49.
95. So hell und blau wie Himmels Schöne... [Как небеса,  
твой взор блистает...]. — Ibid., S. 49.
96. Russisches Lied [Русская песня]. — Ibid., S. 50.
97. Was im Verborgenen mein Herz... [Я не хочу, чтоб  
свет узнал...]. — Ibid., S. 51.

## К ПРОБЛЕМЕ ЭВОЛЮЦИИ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В 1860-е ГОДЫ.

(«Санкт-Петербургские ведомости». 1863—1874. Время издания  
и редактирования газеты В. Ф. Коршем)

Статья 1.

П. С. Рейфман

«Санкт-Петербургские ведомости» 1860-х — начала 1870-х гг. принято считать типично либеральной газетой. Их резко критиковали революционные демократы. М. Е. Салтыков-Щедрин увековечил их в «Дневнике провинциала в Петербурге» под названием «Старейшей Всероссийской Пенкоснимательницы», а их издателя-редактора В. Ф. Корша — под именем Менандра Прелестнова. Прелестнов восхищается окружающим, восклицает: «как легко дышится!», «как светло живется!», хотя на самом деле понимает, что вокруг — зловоние, а в газете его печатается «слюноточивая канитель»<sup>1</sup>. Щедрин дает уничтожающую характеристику позиции «Пенкоснимательницы», подробно описывает ее содержание, сотрудников, «принципы», которыми она руководствуется.

С иронией упоминает Щедрин Менандра Прелестнова, его газету в цикле «За рубежом», где речь идет и о прекращении «Пенкоснимательницы»<sup>2</sup>. Довольно насмешливо изображает сатирик редактора «Санкт-Петербургских ведомостей» в виде журналиста Ахбедного в цикле «Мелочи жизни». Другие демократические публицисты также постоянно критиковали и высмеивали издание Корша<sup>3</sup>.

В то же время в ряде воспоминаний В. Ф. Корш рисуется как жертва произвола властей, цензурного террора. Г. К. Гра-

<sup>1</sup> М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в двадцати томах. Т. 10, М., 1970, с. 387, 418. В дальнейшем: Салтыков-Щедрин.

<sup>2</sup> Там же, т. 14, М., 1972, с. 131.

<sup>3</sup> См., например, статью «Милые бранятся — только тешатся» («Искра», 1864, № 2), «Литературные и журнальные заметки» Н. К. Михайловского (Полн. собр. соч., т. X, с. 546, 557—558, 564 и др.

довский пишет, например, об издателе «С.-Петербургских ведомостей» следующее: «В. Ф. Корша обобрали и вещественно и духовно. Его заживо схоронили, изъяли из русской журналистики, обрели на нищенство и буквально забили в гроб бесконечной цепью полицейского произвола»<sup>4</sup>. По мнению Градовского, издание Корша — одно из лучших для своего времени, хотя мемуарист и признает, что оно — «умереннее некоторых журналов, начиная с «Современника», «Русского слова» и «Дела»»<sup>5</sup>.

Оценка Градовским деятельности Корша далеко не объективна. Автор воспоминаний, будучи сам либералом, естественно склонен преувеличивать заслуги Корша. Характеристика, данная последнему Щедриным, гораздо вернее отражает сущность направления «С.-Петербургских ведомостей». Но и в картине, нарисованной великим сатириком, имелось определенное «сатирическое заострение», а в сглаженном изображении Корша Градовским далеко не все может быть объявлено ошибочным. Корша на самом деле в 1874 г. незаконно лишили права издания «С.-Петербургских ведомостей», власти преследовали его; когда он в 1877 г. стал негласным редактором «Северного вестника», газету вскоре запретили<sup>6</sup>. Направление «С.-Петербургских ведомостей» было действительно оппозиционным. Корш сумел привлечь к сотрудничеству видных и талантливых журналистов, ученых, критиков, в том числе литераторов демократического лагеря. «С.-Петербургские ведомости» решали многие вопросы так же, как и демократическая печать; они противостояли не только изданиям охранительно-реакционным, но и претендующим на звание либеральных («Отечественные записки», «Голос»).

Знаменательно, что Салтыков-Щедрин в «Мелочах жизни», когда пыл полемики несколько остыл, оценивая сравнительно давно прошедшие события, отчасти смягчает характеристику Ахбедного-Корша. Указывая на отсутствие у него общей руководящей идеи, на необходимость заниматься пустяками, Щедрин отмечает «нравственную опрятность» Ахбедного, то, что «он не лжет, не обдаёт бешеной слюной»<sup>7</sup>. Для него «ясно серьезное значение» газеты, он становится в ряды «убежденных руководителей общественного мнения»<sup>8</sup>. Ахбедный верит, что об-

---

<sup>4</sup> Г. К. Градовский. Из минувшего. — «Русская старина», 1909, № 3, с. 534.

<sup>5</sup> Там же, 1908, № 4, с. 148. Аналогичный отзыв см. в статье Б. Б. Глинского «Виктор Петрович Буренин», — «Исторический вестник», 1912, № 1, с. 241.

<sup>6</sup> См. Е. В. Корш. Злоключения старого журналиста. — «Русская мысль», 1913, кн. 10.

<sup>7</sup> Н. Щедрин. Полн. собр. соч. М.—Л., 1933—1941, т. XVI, с. 620. Далее: Н. Щедрин.

<sup>8</sup> Там же, с. 619.

щество жаждет истины, ему хочется «дерзнуть». Характер его газеты настолько определился, что сотрудники могут писать «только в известном тоне», «сообщают о растратах, воровствах, проявлениях дикого произвола и т. п.»<sup>9</sup>.

Всего этого нельзя не учитывать, выясняя направление «С.-Петербургских ведомостей». Оно и на самом деле либерально. Но нужно представлять себе, что такое либеральное издание в обстановке 1860-х — начала 1870-х гг. Следует не забывать и о различиях внутри лагеря либеральной периодики рассматриваемого периода. Только тогда можно понять своеобразие позиции «С.-Петербургских ведомостей», уточнить границу между либеральными и демократическими изданиями.

В 1862 г. Академия наук передает принадлежащее ей право выпуска «С.-Петербургских ведомостей» в руки В. Ф. Корша. До этого газету арендовал А. Н. Очкин, передавший ее по частному соглашению А. А. Краевскому. По воспоминаниям К. С. Веселовского, президент Академии, граф Д. И. Блудов, когда срок контракта с Очкиным подходил к концу, заявил, что утвердит любого издателя-редактора, кроме Краевского.<sup>10</sup> Возник проект сдачи «С.-Петербургских ведомостей» в аренду Каткову, но тот тянул с ответом. Тогда издание предложили Коршу. Переговоры с ним начались с конца 1861 г. За Корша ходатайствует К. Д. Кавелин — муж его сестры. 28 апреля 1862 г. Блудов утвердил проект соглашения, которое вскоре было и подписано<sup>11</sup>. По этому соглашению «С.-Петербургские ведомости» полностью передавались в руки Корша, с начала 1863 г. сроком на шесть лет (т. е. по 1-го января 1869 г.). Корш получал право принимать все меры, которые он найдет нужными, для улучшения и распространения газеты. За это он обязывался платить 15 тыс. рублей ежегодно в кассу Академии, вносить туда же деньги, полученные за казенные объявления. Сверх того за каждого годового подписчика, если число их превысило бы 5 тыс., Корш отчислял в фонд Академии по полтора рубля. Для обеспечения контракта издатель вносил залог в 15 тыс. руб.<sup>12</sup>

Заключенное соглашение ставило Корша в довольно тяжелые условия. Сумма аренды была велика. Материальные интеле-

<sup>9</sup> Там же, с. 621.

<sup>10</sup> Воспоминания К. С. Веселовского. — «Русская старина», 1901, № 12, с. 522. Раздражение Краевского, оставленного от редактирования «С.-Петербургских ведомостей», сказывалось позднее в систематических нападках «Голоса» на газету Корша и на Академию.

<sup>11</sup> Там же. Веселовский сообщает, что в последнюю минуту перед заключением контракта в Петербург приехал Катков, решивший взяться за издание «С.-Петербургских ведомостей», но было уже поздно. При содействии Блудова, желавшего вознаградить Каткова, тот получил в аренду «Московские ведомости», а Головин помог Краевскому добиться права издания «Голоса». О переговорах см. также ИРЛИ, 20530 СХЛ, б. 8; 20840 СХЛIII, б. 7, лл. 4, 5. Далее: 20530, 20840.

<sup>12</sup> ЦГИАЛ, ф. 1282, оп. 2, 1862, № 1938, л. 17—20.

ресы Академии ограждались со скрупулезной точностью. Зато Корш оказался полностью независим во всех вопросах, касающихся содержания газеты, ее направления, подбора сотрудников и т. п. Правда и здесь вносились некоторые ограничения. Корш брал на себя обязательство печатать статьи, сообщаемые из Министерства народного просвещения, Академии наук, а также написанные академиками. В дальнейшем это создавало возможность для придирок и обвинений издателя в том, что он нарушает контракт<sup>13</sup>. Не равны были права сторон, если бы они пожелали досрочно прервать соглашение. Академия могла отказаться от контракта в любой момент, при несоблюдении Коршем условий аренды, отнеся на его счет все убытки. Издатель же «С.-Петербургских ведомостей» не имел права прекратить выпуск газеты, не сообщив о своем желании за 6 месяцев до конца года<sup>14</sup>.

Одновременно с контрактом утверждена и программа преобразованного издания, краткая, не сопровождаемая мотивировкой задач, которые ставила перед собой редакция. В программе перечислялись лишь отделы и материалы, относящиеся к каждому из них. Всего намечалось пять отделов: 1. События в отечестве. 2. Политика. 3. Науки и искусства. 4. Критика. 5. Смесь.<sup>15</sup> Уже здесь заметна ориентировка Корша на энциклопедичность. Придавая большое значение внутренним известиям, политическим обзорам зарубежной жизни, редактор собирается уделять большое внимание проблемам литературы, критики, искусства, науки.

Ко времени начала издания «С.-Петербургских ведомостей» Корш не был новичком в журналистике. В 1850—1855 гг., по окончании петербургского университета, он помогал Каткову редактировать «Московские ведомости», а позднее (1856—1862 гг.) сам редактировал их.

Переписка Корша с Кавелиным позволяет судить о тех взглядах, с которыми он приступал к изданию «С.-Петербургских ведомостей». Корш настроен довольно либерально. Он, как и Кавелин, в какой-то степени осуждает выступления Б. Н. Чичерина в защиту русского дворянства<sup>16</sup>. В то же время

---

<sup>13</sup> К таким придиркам прибег позднее Д. А. Толстой, настаивая на разрыве контракта с Коршем.

<sup>14</sup> Весной 1868 г. контракт Корша с Академией продлен на 6 лет, а затем в декабре 1871 г. еще на три года. Воспользовавшись тем, что Академия не сообщила о последнем продлении в Министерство внутренних дел, власти отказались подтвердить право Корша быть редактором. См. ЦГИАЛ, ф. 1282, оп. 2, 1862, № 1938, л. 3,3 об., 8—9,64 об., 65.

<sup>15</sup> Там же, л. 4.

<sup>16</sup> 20840, л. 4. См. статьи Чичерина «Русское дворянство» и «Что такое среднее сословие?» («Наше время», 1862, №№ 4, 5, 8, 10, 12), брошюру Кавелина «Дворянство и освобождение крестьян», Берлин, 1862, статьи И. Аксакова о дворянстве в «Дне» (1861, №№ 8, 9, 1862, № 13 и др.).

он выступает в примирительном тоне по поводу расхождений, возникших между Кавелиным и московскими профессорами. Последние осудили студенческие волнения, и Корш солидарен с ними. Но он не одобряет правительственных репрессий, вызванных волнениями, и близок в этом Кавелину. Спор между Кавелиным и московскими профессорами Корш пытается объяснить недоразумением, когда две, отнюдь не враждебные, стороны просто не поняли друг друга.<sup>17</sup> Видно, что Корш придерживается более умеренных взглядов, чем Кавелин, что он ближе к точке зрения московских профессоров, которых Кавелин критиковал слева, протестуя против их нападок на студентов<sup>18</sup>.

26 августа 1862 г., в № 186 «С.-Петербургских ведомостей», было сообщено от имени Академии, что с начала будущего года право издания газеты передано Коршу. Здесь же опубликовано объявление новой редакции, подписанное Коршем<sup>19</sup>. Оно ориентировано на преимущественное внимание к делам России, на известия, присылаемые из губерний собственными корреспондентами. В объявлении сообщались имена ведущих сотрудников, руководителей отделов: материалы по Финляндии и Прибалтике редактировал С. И. Барановский, по русской истории — И. Е. Забелин, по государственному и международному праву — Д. И. Каченовский, по финансам и политической экономии — А. К. Корсак, по всеобщей истории — Е. Ф. Корш, по литературе «русской старины и народности» — А. А. Котляревский, по истории и литературе западных славян — П. А. Лавровский, по литературной критике — П. В. Анненков, по истории всеобщей литературы — И. М. Живаго.

Большинство из названных имен были хорошо известны образованному читателю 1860-х гг. Перечисленные в объявлении руководители отделов «С.-Петербургских ведомостей», как правило, — видные ученые, профессора, литераторы, знатоки тех вопросов, которыми они ведали. В то же время приводимый список свидетельствовал об ориентировке на солидность, академичность. В нем не назван ни один литератор, публицист, ученый крайний взглядов, принадлежащий будь то к революционному, будь то к реакционному лагерю. Добротность, основательность, но и стремление к «золотой середине» объединяли постоянных сотрудников газеты Корша.

Несколько иначе обстояло дело с сотрудниками непостоянными. Список их был обширным (56 имен). В нем значился ряд

<sup>17</sup> 20530, письмо от 22 декабря <1861>.

<sup>18</sup> Возможно, уклончивая оценка Коршем выступления московских профессоров, резко осудивших студенческие волнения конца 1861 г., определялась не только идейными соображениями, но и близостью его, как редактора «Московских ведомостей», к Московскому университету.

<sup>19</sup> Аналогичное объявление отпечатано и отдельным листком, одобренным цензурой 19 августа.

деятелей демократического лагеря: М. Е. Салтыков-Щедрин, Ю. Г. Жуковский, Н. М. Благовещенский, А. Н. Плещеев, П. Л. Лавров и др. Не все из этих литераторов стали на самом деле сотрудниками «С.-Петербургских ведомостей», но знаменательно, что Корш счел нужным пригласить их, объявить об их участии в газете.

В списке названы и видные писатели, не принадлежавшие к демократическим кругам (Тургенев, Гончаров, Писемский), литераторы, ученые либерального и славянофильского направления (В. П. Боткин, А. Д. Галахов, А. Н. Майков, Н. С. Кохановская). В целом же создавалось ощущение изобилия редакционных возможностей, но и некоторой пестроты, отсутствия четко выдержанной программы.

Такое ощущение усугублялось тем, что, сообщая о многочисленных деталях, о собственных корреспондентах в Нью-Йорке, Пекине и т. п., Корш не формулировал задач издания, его целей, места в журнальной борьбе. Конечно, и демократическая периодика обычно в объявлениях подобного рода не слишком распространялась о сути своего направления. Говорить об этом было далеко не безопасно. Но у Корша сдержанность объяснялась, видимо, не только цензурными опасениями, но и неопределенностью редакционных воззрений.

Тем не менее, нельзя начисто отрицать и «обстоятельств, от редакции не зависящих». Во всяком случае Корш намекал на них, заявляя, что он, к сожалению, должен отказаться «от попыток определить в нескольких словах свое направление. По многим причинам это представляется нам неудобным». Упомянулось, что не всегда возможно освещать внутренние дела, касаться злободневных интересов, что положение корреспондентов в провинции «сопряжено с большими неудобствами. Общество и администрация не везде привыкли относиться с уважением к свободному слову». В объявлении довольно отчетливо ощущались оппозиционные ноты. В нем совершенно отсутствовали похвалы современности, деятельности правительства и т. п. И вместе с тем новая редакция обещала избежать «исключительности, односторонности и крайности», пользуясь «наибольшей степенью свободы и независимости, возможной в данную минуту». Трудно возражать против таких заявлений по существу, особенно если учитывать вынужденную сдержанность и недомолвки<sup>20</sup>. Но все-таки уже здесь ощущались нотки, характерные для начала эволюции либерализма, запечатленной позднее в знаменитой сказке Щедрина «Либерал».

Решив издавать газету, Корш с конца 1861 г. начинает подбирать для нее сотрудников<sup>21</sup>. Постепенно очерчивается их

<sup>20</sup> Следует еще учитывать, что объявление подверглось цензурным урезкам. См. ИРЛИ, ф. 569 — М. Ф. де-Пуле, № 276, л. 26.

<sup>21</sup> ИРЛИ, 20840, л. 3, ф. 569, № 276, л. 20, ф. 274, № 208, оп. 1, л. 1.

круг. Он весьма обширен. И, как обычно бывает, состав лиц, перечисленных в объявлении, не вполне совпадает с реальным руководящим ядром преобразованных «С.-Петербургских ведомостей».

Видную роль в первые годы издания газеты Коршем играл К. К. Арсеньев. Взгляды его не выходили за рамки либерализма, но к существующему порядку он относился весьма критически. Позднее Арсеньев выступал защитником в ряде политических процессов. В одной из записок, поданных начальнику III Отделения в связи с процессом нечаевцев, утверждалось, что Арсеньева, «известного поборника социализма, печатавшего множество статей, в которых сильно порицал действия правительства», нельзя было допускать в число защитников<sup>22</sup>. Такая характеристика далеко не во всем соответствовала истине, но она отражала отношение властей к Арсеньеву, и определенные основания для подобного отношения все же имелись.

До прихода в «С.-Петербургские ведомости» Арсеньев выполнял редакторскую работу в министерстве юстиции. В 1861 г. он подписывает адрес царю с просьбой об освобождении арестованных петербургских студентов. Арсеньев печатается в «Русском вестнике» Каткова, но затем уходит в «Отечественные записки», так как ему, по его словам, «не нравился все более и более усиливавшийся консерватизм «Русского вестника»»<sup>23</sup>. В начале 1862 г. Арсеньев входит в состав постоянных сотрудников артельного демократического журнала «Век», но вскоре рвет с ним, не поладив с редактором, Г. З. Елисеевым. Он пишет ряд статей для «Энциклопедического словаря», выходящего под руководством П. Л. Лаврова. У Лаврова Арсеньев знакомится с В. Ф. Коршем и начинает работать в «С.-Петербургских ведомостях», ведая там иностранным отделом.<sup>24</sup> Из дневника Арсеньева видно, что Лавров принимал деятельное участие в подборе сотрудников для газеты Корша, что он с этой целью специально пригласил к себе в начале сентября 1862 г. Арсеньева и А. Н. Энгельгардта.<sup>25</sup> Дальнейшие записи свидетельствуют о том, что Корш призывает Арсеньева смотреть на «С.-Петербургские ведомости» как на «свою газету», просит не оценивать его «как одного из тех редакторов, которые думают только о том, как бы выжать из сотрудников побольше труда за возможно меньшую цену», приглашает бывать «по воскресеньям вечером и приходите запросто обедать»<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> Сб. «Нечаев и нечаевцы». Ред. Б. П. Козьмин. М.—Л., 1931, с. 187. Аналогичным образом в записке характеризовался В. Д. Спасович, также входивший в редакцию «С.-Петербургских ведомостей», ведавший там юридическим отделом.

<sup>23</sup> ЦГАЛИ, ф. 40 (К. К. Арсеньева), оп. 1, № 14, л. 4.

<sup>24</sup> Там же, автобиография К. Арсеньева.

<sup>25</sup> Там же, № 22, л. 52.

<sup>25а</sup> Там же, л. 52 об.

Дневниковые заметки Арсеньева освещают отношения Корша с ведущими сотрудниками его газеты, отсутствие в нем всякого «генеральства», напускной важности. Возможно, в этом сказывались и тактические соображения, но такая тактика была привлекательной. Видно, что у издателя «С.-Петербургских ведомостей» по вечерам регулярно собирались участники редакционного кружка: А. С. Суворин, В. Д. Спасович, Н. П. Колюпанов, Ю. А. Россель, В. П. Буренин, К. К. Арсеньев и др., что здесь нередко бывали и литераторы радикального направления, сотрудники «Современника»: М. Е. Салтыков-Щедрин, Ю. Г. Жуковский, И. П. Огрызко.

В 1863 г. Арсеньев пишет передовые и обзрения, касающиеся иностранной политики, редактирует зарубежные известия. В дальнейшем его обязанности несколько раз меняются, но все же они большей частью связаны с политическим отделом, европейской хроникой. В дневнике Арсеньева упоминаются многие статьи, написанные им для «С.-Петербургских ведомостей», в частности сочувственная заметка о демократическом журнале «Заграничный вестник», выходившем под негласной редакцией П. Л. Лаврова. Арсеньев защищал «Заграничный вестник» от нападок на него «Русского инвалида»<sup>26</sup>. С 1866 г. Арсеньев, начав серьезно заниматься адвокатской деятельностью, сотрудничает в газете сравнительно мало.

Ряд деталей, упоминаемых в дневнике, позволяет судить о прогрессивности взглядов Арсеньева, только что пришедшего в газету Корша. Он сочувствует участникам студенческих волнений в Петербурге, арестованным правительством, с симпатией относится к П. Л. Лаврову, к «Заграничному вестнику», на вечере у Лихачева он, вместе с другими сотрудниками «С.-Петербургских ведомостей» и самим редактором, поет гарибальдийский гимн и т. п.<sup>27</sup> Но было бы ошибкой на основании подобных деталей считать его демократом. Сам Арсеньев в автобиографии называл себя молодым человеком, склонным «к золотой середине»: он не являлся поклонником Чернышевского, но не одобрял и выпадов охранителей в его адрес; признавая общественную роль искусства, он восставал против Писарева; ощущая усиление реакции, он верил в реформы; сознавая «неудовлетворительность современного социального строя», «понимая неизбежность, при известных условиях, насильственного переворота», он «не был социалистом» и «не был революционером, хотя бы только в теории»; его «либерализм имел отчасти характер того, что тогда называли постепеновщиной»<sup>28</sup>.

Черты либеральной ограниченности проглядывают в приведенной самохарактеристике совершенно отчетливо. Но нельзя

<sup>26</sup> Там же, л. 177 об.

<sup>27</sup> Там же, л. 167 об.

<sup>28</sup> ЦГАЛИ, ф. 40, оп. 1, № 14, л. 11, 11 об.

забывать, что здесь отражена лишь начальная стадия эволюции русского либерализма. Он еще не дошел до этапов, которые Щедрин характеризует словами: «хоть что-нибудь» и «применительно к подлости». Он еще, при всем качественном отличии, ближе демократам, чем консерваторам, не утратил оппозиционности, критического отношения к существующему порядку.

Облик Арсеньева, с коррективом на индивидуальные отличия, типичен для большой группы сотрудников «С.-Петербургских ведомостей», в том числе для их редактора. Но имелись в газете и публицисты, которые пришли в нее по иному пути. Среди них следует отметить прежде всего А. С. Суворина. Имя его в 1860-е гг. связывается с демократической журналистикой, с «Современником». Суворин воспринимался многими читателями и властями как радикал, защитник идей «нигилизма». В «С.-Петербургских ведомостях» Суворин работал с первых дней их перехода в руки Корша, выполняя обязанности секретаря редакции, но как один из ведущих публицистов газеты он становится известным со середины 1860-х гг., после того, как он напечатал в ней начало очерков «Всякие» и взял с конца 1866 г. в свои руки фельетон, помещая его под названием «Недельные очерки и картинки»<sup>29</sup>.

До прихода в «С.-Петербургские ведомости» у Суворина уже имелся некоторый опыт журнально-литературной деятельности. В середине 1850-х гг. он работает учителем истории и географии в Бобровском уездном училище. Ряд писем, посланных ему туда В. Марковым, товарищем по учебе в Петербурге, дает возможность судить о взглядах и круге знакомств будущего издателя «Нового времени». Видно, что еще до отъезда в Бобровское училище Суворин довольно хорошо знал И. И. Введенского, оказавшего значительное влияние на формирование мировоззрения молодого Чернышевского. 27 ноября 1855 г. Марков сообщал Суворину, что Введенский часто вспоминает о нем, сокрушается, «что тебе назначено погибнуть в своей проклятой глуши»<sup>30</sup>. Суворин в свою очередь просил передать Введенскому привет, заверить его в глубоком уважении и благодарности: «скажи ему от меня, что я его никогда не забуду, потому что ему одному обязан я всеми умственными наслаждениями, испытанными в Петербурге»<sup>31</sup>. Из писем видно, что Суворину пришлось туго, что с отчаянья он хотел поступить на военную службу, что в провинции он «встретил общую, жесто-

---

<sup>29</sup> См. заметку: Запрещенная книга А. С. Суворина. — Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 251, Тарту, 1970.

<sup>30</sup> ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 1, № 2544.

<sup>31</sup> Там же.

ченную оппозицию», что письма его дышат «мрачным отчаяньем, ненавистью к жизни и желанием скорой смерти»<sup>32</sup>.

В 1859 г. Суворин перебирается в Воронеж, работая там по-прежнему учителем. Из Воронежа он начинает посылать статьи в «Русскую речь». Летом 1861 г. Суворин переезжает в Москву, сотрудничает в «Русской речи», которая вскоре прекратила свое существование. В газете Салиас де-Турнемир в это время участвовали В. А. Слепцов, А. И. Левитов, Н. С. Лесков. Суворин хорошо знал, в частности, последнего и резко критиковал его позднее в «С.-Петербургских ведомостях», за роман «Некуда», обвиняя, между прочим, в пасквильном изображении прежней покровительницы Лескова, Салиас де-Турнемир. Книга «Всякие» также отчасти написана как произведение, полемичное по отношению к Лескову<sup>33</sup>.

Из писем Суворина того времени видно, что он довольно близок с А. Н. Плещеевым, часто бывает у него. Через Плещеева А. М. Унковский приглашает Суворина сотрудничать в затеваемом им журнале, т. е. в «Русской правде», задуманной совместно с Щедриным<sup>34</sup>.

Суворин с одобрением отзывается о М. Л. Михайлове, о безукоризненном его поведении во время суда. Он сочувствует «Современнику», Добролюбову, Чернышевскому, защищает их от нападок, хвалит направление, которое редакция «Современника», скованная цензурой, вынуждена проводить «побочными путями»<sup>35</sup>. Суворину нравится молодое поколение, его вражда к деспотизму, к всякому насилию. Но уже в те годы, еще до встречи с Чернышевским, которая произошла незадолго до ареста последнего, до прихода Суворина в «Современник», он далеко не во всем солидарен с сотрудниками некрасовского журнала. В письме к де-Пуле от 27 декабря 1861 г., перечислив многое, за что ему нравится «Современник», Суворин добавляет: «вот тут-то и кончается моя связь с «Современником», потому что далее у него — социализм, а я думаю, что социализм в форме Прудона и Консидерана у нас невозможен. Для нас царь — дело верное, царь для нас необходим, как необходимы самые святые права»<sup>36</sup>. Далее Суворин развивает свои мысли по поводу ограниченной монархии, в которой царь — не деспот и не тиран, а слуга народа.

В 1862 г. Суворин познакомился с Чернышевским. Тот вполне мог сочувственно отнестись к нему. Этому должна была способствовать и репутация Суворина, и круг его знакомств, и посещение им в прошлом кружка Введенского, о чем Чернышев-

<sup>32</sup> Там же.

<sup>33</sup> ИРЛИ, ф. 569, № 587, л. 46 об.

<sup>34</sup> Там же, л. 32.

<sup>35</sup> Там же, л. 15 об.

<sup>36</sup> Там же, л. 33 об.

ский, возможно, знал. Во всяком случае Суворин утверждал, что Чернышевский хвалил его рассказ «Солдат да солдатка», предлагал и далее писать для «Современника»<sup>37</sup>. Сотрудничал Суворин и в демократической газете «Современное слово», печатая там письма из Москвы<sup>38</sup>. Печатался он и в других газетах, обратив на себя неблагоприятное внимание властей: в сентябре 1862 г. министр внутренних дел Валуев посылает о нем запрос московскому генерал-губернатору<sup>39</sup>. Позднее, когда велось следствие о книге «Всякие» и власти стали собирать сведения о личности Суворина, III Отделение сообщило, что, хотя он формально не был под надзором, но частным образом известно, что он придерживается крайних убеждений<sup>40</sup>.

Весной 1862 г. Суворин договаривается с Краевским о сотрудничестве в «Голосе», однако, по его словам, Плещеев и другие московские знакомые отговорили его от этого сотрудничества, ссылаясь на моральную нечистоплотность Краевского. Плещеев познакомил Суворина с Коршем, рекомендовал их друг другу, и, после некоторых колебаний, Суворин решил связать свою судьбу с «С.-Петербургскими ведомостями». Позднее, полемизируя с «Голосом», он утверждал, что порвал с ним, так как тот получал правительственные субсидии, но переписка Суворина с Краевским позволяет утверждать, что решающую роль здесь сыграли не идейные, а материальные соображения<sup>41</sup>.

Одним из ведущих сотрудников «С.-Петербургских ведомостей» 1860-х гг., имевшим, как и Суворин, репутацию «радикала» и пришедшим позднее к оголтелой реакционности, был В. П. Буренин. Его облик в то время, пожалуй, в большей степени соответствовал такой репутации, чем облик Суворина. Буренин печатался в большинстве демократических изданий, в «Современнике», «Русском слове», «Искре», «Деле», некрасовских «Отечественных записках», «Невском сборнике» и др.<sup>42</sup> Но именно «С.-Петербургские ведомости», по мнению биографа Буренина, стали «нивою», на которой «возрос его критический та-

<sup>37</sup> Дневник А. С. Суворина. М.—Птр., 1923, с. 85. Далее: Дневник А. С. Суворина. Рассказ «Солдат да солдатка» см. в «Современнике», 1862, № 2.

<sup>38</sup> Дневник А. С. Суворина, с. 207.

<sup>39</sup> ЦГИАЛ, ф. 1282, оп. 2, 1862, № 1939, л. 71—72.

<sup>40</sup> ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 2, 1866, № 2, л. 318 об.—319. Недоброжелательство к Суворину отчасти объяснялось и отношением властей к его жене, А. И. Сувориной, переводы которой вызывали многократные цензурные нарекания. Ее «Книга для чтения» названа в высочайшем повелении о мерах для прекращения изданий, вредных для молодежи и народа, рядом с «Самоучителем» ишутинца И. А. Худякова (ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 2, 1867, № 4, л. 33 об.).

<sup>41</sup> РО ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 391, А. С. Суворин, л. 5 об.

<sup>42</sup> Б. Б. Глинский. Виктор Петрович Буренин. — «Исторический вестник». 1912, № 1, с. 240. Далее: Глинский.

лант», выработались общественно-литературные взгляды раннего периода<sup>43</sup>.

С осени 1865 г. Буренин вел в газете Корша фельетон «Общественные и литературные заметки», подписывая его псевдонимом: Выборгский пустынный<sup>44</sup>. Глинский сообщает, что на фельетоны Буренина власти обратили внимание; редактору «было указано из Главного управления по делам печати на нежелательность такого рода политического оживления газеты и на неблагонамеренность нового сотрудника»; пришлось заменить Буренина Сувориным; после 1866 г. Буренин не играл существенной роли в «С.-Петербургских ведомостях»; он отодвинут на второй план, печатая за подписью Z журнальные обозрения<sup>45</sup>.

После прекращения «Современника», оттуда в 1866 г. в «С.-Петербургские ведомости» приходит Э. К. Ватсон. Он становится одним из ближайших помощников Корша по изданию газеты. Г. К. Градовский, отмечая 25-летие литературной деятельности Ватсона, видел его заслугу в том, что он не впадал в «крайности», не становился на сторону «нигилизма», «радикализма», «грубого и узкого материализма», что он принадлежал к лагерю «постепенновцев»<sup>46</sup>. Таким Ватсон был к концу 70-х гг., к тому времени, когда писалась статья, хотя в его обрисовке, видимо, сказались симпатии и антипатии самого Градовского. Но в первую половину 1860-х гг. деятельность Ватсона не совсем соответствовала созданному Градовским облику. Хотя биограф Ватсона довольно подробно говорил об его сотрудничестве в демократических изданиях «Современник» и «Современное слово», о некоторых фактах его жизни он умалчивал. В 1860 г. Ватсон окончил историко-филологический факультет Московского университета и принят, по рекомендации декана, С. М. Соловьева, учителем истории в 1-й московский кадетский корпус. Осенью 1861 г. Ватсон оказывается замешан в студенческих беспорядках, арестован и весной 1862 г. уволен от должности, с запрещением навсегда заниматься педагогической деятельностью. Вскоре после этого он приезжает в Петербург, знакомится здесь с Н. Г. Чернышевским и по его предложению пишет статью «О прусской конституции»<sup>47</sup>. № 5 «Современника», в ко-

<sup>43</sup> Там же, с. 240, 241. Глинский явно преувеличивает значение и прогрессивность молодого Буренина, но и на самом деле имелись основания в те годы оценивать Буренина как литератора демократического лагеря.

<sup>44</sup> До Буренина фельетон под названием «Невский наблюдатель» вел Л. Д. Полонский, под псевдонимом: Иван Любич. Он же автор «Европейской хроники», «Петербургских писем», ряда статей за подписью: Леон Поль, Л. П. и др. Со середины 1865 г. он уходит из газеты (см. № 168).

<sup>45</sup> Глинский, с. 241, 242. Бурениным, видимо, написаны и статьи, помещавшиеся под псевдонимами В. П., А. Ж. и др.

<sup>46</sup> Г. К. Градовский. Эрнест Карлович Ватсон. — «Русская старина», 1887, № 12, с. 831.

<sup>47</sup> ИРЛИ, ф. 402, оп. 5, № 2, л. 6 об. С. А. Венгерова. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. СПб., т. IV, 1895, с. 194—198.

тором дебютировал Ватсон, оказался последним перед приостановкой журнала и арестом Чернышевского. После возобновления «Современника», с начала 1863 г., Ватсон постоянно сотрудничает в нем, ведет отдел «Политика», до окончательного запрещения журнала в 1866 г.

Как раз в те месяцы, когда «Современник» был временно приостановлен, осенью 1862 г., Ватсон окончательно переселился в Петербург и «сделался постоянным сотрудником по политическому отделу издававшейся в то время Н. Г. Писаревским газеты «Современное слово»<sup>48</sup>. Тогда же, по предложению Писарева, он берет на себя составление 3-го выпуска «Обзора современных конституций», вышедшего при «Русском инвалиде» и «Современном слове».

В «С-Петербургских ведомостях» Ватсон руководил политическим отделом.

Если для ряда сотрудников через газету Корша проходил путь от относительного демократизма к умеренному либерализму, а иногда и к прямой реакционности, то имелись и обратные примеры. С сотрудничества в «С.-Петербургских ведомостях» началась литературно-публицистическая деятельность писателя-демократа Н. А. Демерта. Н. С. Курочкин в некрологе, помещенном в «Отечественных записках», давал Демерту следующую оценку: «энергичный боец за крестьянское право и беспощадный гонитель всяких его ограничителей»<sup>49</sup>. Демерт знал Корша еще до переезда того в Петербург, по «Московским ведомостям». Еще служа в земстве, в Казани, Демерт присылает заметки для «С.-Петербургских ведомостей». Число таких заметок довольно велико, некоторые из них — подробные, занимают несколько столбцов. Редакция публикует их под общей рубрикой «Из Казани», за подписью: Корреспондент.

Критическая направленность корреспонденций Демерта совершенно очевидна. Везде речь идет в них о недостатках, о злоупотреблениях и т. п.<sup>50</sup> Правда, критика Демерта в это время не выходит за рамки либерального обличительства, впрочем, иногда довольно резкого. Но и подобного обличительства было достаточно, чтобы вызвать недовольство местного начальства и беспокойство министра внутренних дел, который весьма ревниво следил за всяким порицанием администрации.

10 марта 1864 г. последний запрашивал из Казани сведения о Демерте в связи с заметкой об убийстве монахини, помещенной в № 22<sup>51</sup>. Отвечая на запрос Валуева, губернатор,

<sup>48</sup> ИРЛИ, ф. 402, № 2, л. 6 б. См. Уч. зап. Тартуского ун-га, вып. 121, Тарту, 1962.

<sup>49</sup> «Отечественные записки», 1876, № 12, «Современное обозрение», с. 277. Далее: Н. Курочкин.

<sup>50</sup> См., например, 1864, №№ 20, 22, 25, 45, 52, 95, 100, 137.

<sup>51</sup> ЦГИАЛ, ф. 1282, оп. 2, 1862, № 1939, л. 321.

М. К. Нарышкин, выражал негодование казанских официальных кругов по поводу корреспонденций Демерта, «в которых он язвительною клеветою чернит многих здешних должностных лиц и описывает в ложном и превратном виде положение разных общественных заведений, что заставило меня обратить на него внимание»<sup>52</sup>. Губернатор указывал, что в № 52 «С.-Петербургских ведомостей» напечатана весьма вредная статья Демерта о городской больнице, что продолжение этой статьи отправлено автором в редакцию. Он выражал недоумение, «в каких видах предшественником моим допущена на службу личность с таким направлением»<sup>53</sup>. В донесении Нарышкина сообщалось о неладах Демерта с местным дворянством, о предполагаемых связях его с «лондонскими эмигрантами», с «Колоколом»<sup>54</sup>.

Валуев передал сведения о Демерте председателю Петербургского цензурного комитета М. Н. Турунову. В делах комитета хранится «Записка для памяти». В ней повторяются, без указания источника, обвинения Нарышкина и дается предписание цензору: «корреспонденции из Казани для С. Петербургских изданий допускать к печати с крайней осмотрительностью»<sup>55</sup>. Цензура к тому времени и сама обратила внимание на сообщения из Казани. В докладах цензора Ведрова о просмотренных им газетах и журналах отмечается несколько заметок Демерта в «С.-Петербургских ведомостях»<sup>56</sup>.

Вокруг известий из Казани завязалась полемика. «Московские ведомости» Каткова обвинили их автора в искажении истины (1864, № 124). Газета Корша вступилась за своего корреспондента, резко возражала «Московским ведомостям», заявляя, что всегда дорожила и дорожит сообщениями из Казани, что им принадлежит «одно из самых почетных мест» (1864, № 128). Вскоре в спор вступил сам Демерт, отметив, что ранее обстоятельства не позволяли ему отвечать на выпады «Московских ведомостей»<sup>57</sup>. На этот раз Демерт подписал свою корреспонденцию не псевдонимом, а собственным именем, так как к тому времени (начало июля 1864 г.) обстоятельства совершенно прояснились. Стало очевидно, что дальше работать в казанском земстве нельзя. Демерт переезжает в Петербург и становится руководителем отдела провинциальных известий «С.-Петербургских ведомостей»<sup>58</sup>. Но постоянным сотрудником газеты Корша он пробыл не долго, найдя издания, более близкие ему по духу. На его заметки обратил внимание В. С. Курочкин. Демерт сближается с редакцией «Искры», печатается

<sup>52</sup> Там же.

<sup>53</sup> Там же, л. 322.

<sup>54</sup> Там же.

<sup>55</sup> ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 2, 1864, № 7, л. 36.

<sup>56</sup> ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, 1864, № 3, л. 70, 172, 400.

<sup>57</sup> «С.-Петербургские ведомости», 1864, № 152.

<sup>58</sup> Н. Курочкин, с. 279—280.

в ней. В 1867 г. он публикует свои статьи в «Гласном суде», а затем переходит в некрасовские «Отечественные записки».

В «С.-Петербургских ведомостях» печатали свои произведения и другие писатели демократического лагеря. Здесь опубликованы статьи П. Л. Лаврова «Немецкие философские журналы», «Альфред Мори и его история Парижской академии наук» (1863, №№ 105, 252, 253), М. П. Драгоманова<sup>59</sup>, С. С. Шашкова<sup>60</sup>. В газете Корша сотрудничал писатель-шестидесятник Ф. Д. Нефедов<sup>61</sup>. Н. С. Курочкин вспоминал, что Демерт, приехав в Петербург, «встретил товарищей своих по университету, работавших в «Петербургских ведомостях»<sup>62</sup>.

С первых номеров за 1863 г. Корш стал публиковать «Рассказы из народного быта» Н. В. Успенского (№ 2 — «Пропажа», № 4 — «Колдунья»). В 1867 г. в газете помещена повесть Успенского «Саша»<sup>63</sup>. Марко Вовчок печатает в «С.-Петербургских ведомостях» «Отрывки писем из Парижа» (1864, №№ 36, 44, 55, 61, 73, 126, 140, 182, 1865, №№ 42, 45, 220, 221, 333, 334 и др.), рассказ «Пустяки» (1866, №№ 47—49). Редакция знакомит читателей с очерком Н. М. Соколовского «Последний из могикан» (1866, № 91), с рассказами А. И. Левитова «Деревенский случай» (1863, № 126), Л. Каравелова «Донго» (1864, №№ 118, 120), «На чужой могиле» (1866, № 68), «Турецкий паша» (1866, №№ 181, 190, 205). Сотрудничество Каравелова не ограничивалось публикацией отдельных рассказов. Прося у Литературного фонда средств для возвращения на родину, Каравелов указывал, что он в 1862 г. печатался в «Московских ведомостях» Корша, а в 1863 г. вел в «С.-Петербургских ведомостях» славянские известия<sup>64</sup>.

Коршу вообще удалось сделать литературный отдел своей газеты содержательным и интересным. Здесь была помещена «Пучина» А. Н. Островского (1866, №№ 1, 4, 5, 6, 8), рассказ И. С. Тургенева «Собака» (1866, № 85), его статья о трехсотлети со дня рождения Шекспира (1864, № 89), «Письмо к редактору» об Артуре Бени (1868, № 52). В газете опубликованы драматические сцены из купеческого быта «Живем в свое удовольствие» И. Ф. Горбунова (1867, № 62), отрывок «Из моих записок» М. С. Щепкина (1863, № 146), «Повесть

<sup>59</sup> См. Д. Заславский, I. Романченко. Михайло Драгоманов. Київ. 1964, с. 19, 28.

<sup>60</sup> РО ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 438, № 14, л. 160 об. — 161. Статьи Шашкова см. № 289 (1864), № 137 (1865).

<sup>61</sup> А. В. Смирнов. Ф. Д. Нефедов. Его жизнь и деятельность. Владимир, 1917, с. 5.

<sup>62</sup> Н. Курочкин, с. 279.

<sup>63</sup> 1867, №№ 18, 20, 27, 33, 41, 42. В кн. Николай Успенский. Повести, рассказы и очерки. М., 1957, в примечаниях сказано: «Журнальная публикация повести не установлена» (с. 642).

<sup>64</sup> РО ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 438, № 12, л. 337.

без заглавия» П. Н. Кудрявцева (1863, №№ 20, 21, 22, 24 и др.).

В «С.-Петербургских ведомостях» регулярно помещались литературно-критические обзоры русской и зарубежной литературы, статьи, посвященные творчеству отдельных писателей, отзывы о наиболее значительных произведениях. С начала 1863 г. отделом литературной критики руководил П. В. Анненков, напечатавший статьи о Помяловском, Н. Успенском, о «Сатирах в прозе» Салтыкова-Щедрина, о сочинениях Кохановской (1863, №№ 5, 11, 85, 172). В обзоре «Новые книги» (1865, № 178) давалась оценка 5-го тома сочинений Тургенева, 2-го тома сочинений Л. Толстого. В «Общественных и литературных заметках» (1865, № 244) подробно говорилось о «Трудном времени» Слепцова. О Слепцове шла речь и в обзоре «Новые книги» (1866, № 26).

В «Общественных и литературных заметках» (1866, № 78), в «Недельных очерках и картинках» (1867, № 70) анализировался роман Достоевского «Преступление и наказание». «С.-Петербургские ведомости» вступают в полемику по поводу романа Тургенева «Дым» (1867, №№ 117, 180), оценивают роман Шеллер-Михайлова «Жизнь Шупова» (1866, № 144).

Довольно много статей посвящено истории русской литературы<sup>65</sup>. В газете публикуются регулярно обзоры иностранной литературы<sup>66</sup>, русской журналистики<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> См. отзывы А. Д. Галахова о книге П. С. Биллярского о Ломоносове (1863, №№ 136, 150), сообщение Я. К. Грота «Державин и граф Петр Панин» (1863, №№ 208, 210), рецензия на гротовское издание Державина (1864, № 39), на издание А. Н. Афанасьевым «Живописца» Н. И. Новикова (1864, № 54). В 1866 г. М. С. (М. И. Семевский) напечатал «Прогулку в Тригорское (Заметки и материалы для биографий Пушкина, Жуковского, Языкова и бар. Дельвига)» (№№ 139, 146, 157, 163, 168, 175). В № 141 (1864) сообщалось о черновых тетрадях А. В. Кольцова, найденных в Воронеже. В № 207 (1863) помещен «Ответ на статью П. М<арто>са о Шевченко» М. Лазаревского, где дается отпор пасквильным нападкам на украинского поэта-демократа. В газете напечатана большая статья А. А. Котляревского «Русская народная сказка» (1864, №№ 94, 100, 108), в которой рассматривается значение сказки для изучения русского быта, оцениваются «Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева.

<sup>66</sup> См. статьи А. В. Дружинина «Английские романы последнего сезона», «Еще романы прошлого сезона», «Новости английской литературы», «Сочинения Томаса Гуда» (1863, №№ 3, 4, 54, 86, 114, 150, 164, 204, 249). Редакция печатает статьи Е. М. Феоктистова «Новости иностранных литератур», И. К. Бабста «Новости немецкой литературы», В. И. Веселовского «Очерки современной польской литературы», П. В. Анненкова о китайском романе А. Н. Баженова «Ленау и его русский переводчик», И. Говорова «Шекспир в новой «Истории английской литературы» Тэна» (1863, №№ 190, 1864, № 88. В № 158 (1863) опубликована статья «Виктор Гюго», построенная на автобиографических материалах, в №№ 195, 196 (1865) сообщается о романе Гюго «Труженики моря». В № 183 (1864) П. Н. Полевой, под рубрикой «Литературные новости», анализирует романы Диккенса «Наш общий друг»

Значительное внимание уделяется в газете вопросам искусства. Регулярно помещается «Театральная хроника» В. Александрова (В. А. Крылова). В воспоминаниях последнего рассказывается, как Корш, только что приступивший к изданию «С.-Петербургских ведомостей», поручил ему, начинающему литератору, обзор театральных постановок<sup>68</sup>.

В газете часто шла речь о пьесах Островского, об их театральном воплощении<sup>69</sup>. Неоднократно упоминалось о пьесе А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного», вызвавшей журнальную дискуссию<sup>70</sup>. Говорилось о спектакле «Горе от ума», о «Горькой судьбине» Писемского, о возобновлении тургеневского «Нахлебника», о постановке на сцене Михайловского театра «Натана Мудрого» Лессинга<sup>71</sup>.

Из номера в номер помещались статьи по музыке<sup>72</sup>, по живописи<sup>73</sup>.

---

и Э. Троллопа «Можно ли ей простить?». В №№ 258 (1864) и 65 (1865) напечатаны статьи об итальянской литературе.

<sup>67</sup> В «С.-Петербургских ведомостях», особенно во второй половине 1860-х гг., регулярно печатались журнальные обзоры, большей частью написанные Бурениным: *Выборгским пустынноиком*, В. П., Z. («Литературные и журнальные заметки», «Наша журналистика», «Журналистика», «Русские журналы», «Русская журналистика», 1865, №№ 214, 226, 233, 262, 271, 298; 1867, №№ 107, 121, 207, 217 и др.).

<sup>68</sup> В. А. Крылов. Воспоминания. — «Исторический вестник», 1906, № 5, с. 500. «Театральную хроника» см., например, 1863, №№ 8, 19, 25, 29, 94 и др.

<sup>69</sup> «Грех да беда...» — 1863, №№ 25, 45, «Воевода» — 1865, №№ 107, 256, «На бойком месте» — 1865, № 286, «Минин» — 1866, № 330, «Тушино» — 1867, № 14, «Дмитрий Самозванец...» — 1867, № 83 и др.

<sup>70</sup> 1866, № 23; 1867, №№ 15, 40, 63.

<sup>71</sup> 1863, №№ 25, 236; 1864, № 238, 1867, № 43.

<sup>72</sup> Сперва музыкальный отдел вел П. П. Сокальский под названием «Музыкальные арабески» (1863, №№ 1, 2, 12, 31 и др.). В том же году помещены две статьи А. П. Серова о гастроях Рихарда Вагнера (№№ 40, 52.). С 1864 г. музыкальным отделом ведал Ц. А. Кюн, помещавший свои статьи под астрономом \*.\*: «Музыкальная летопись Петербурга» (1864, №№ 60, 75), «Музыкальная деятельность Мейербера» (1864, № 93), «Африканка» Мейербера (1865, № 180), «Троянцы». Новая опера Гектора Берлиоза (1864, № 171), «Оперный сезон в Петербурге» (1864, №№ 204, 218), «Вильгельм Телль» на Марининской сцене (1864, № 284). Вскоре Кюн вступил в резкую полемику с Серовым: «Ответ г-ну Серову» (1864, № 69), отзывы об операх Серова «Юдифь» и «Рогнеда» (1865, №№ 22, 292, 1866, № 14). В газете напечатаны статьи В—ъ (В. В. Стасова) «Три русских концерта» (1863, № 95), П. и Л. П. (видимо, Л. А. Полонского) об итальянской опере и «Фаусте» Гуно (1863, № 244, 1864, №№ 10, 16, 28).

<sup>73</sup> Статьи по живописи написаны большей частью В. В. Стасовым, под псевдонимами В—ъ, В. С. и др. (1863, № 23, 1865, №№ 6, 97, 290, 1866, №№ 12, 13, 1867, №№ 10, 12 и др. В № 63 (1864) помещена статья Н. Благовещенского о художнике Ф. А. Бронникове, в № 153 за тот же год — статья К. Г. «Современные французские художники. Роза Бонёр».

Подводя итоги, можно утверждать, что «С.-Петербургские ведомости», в период издания Коршем — газета поистине энциклопедическая, — затрагивали широкий круг вопросов, интересовавших в то время общество, много внимания уделяли проблемам литературы, искусства. Редакция помещала статьи видных специалистов, литераторов демократического лагеря. Во многом «С.-Петербургские ведомости» выступали как союзник «Современника», «Искры». И все же, как будет показано во второй статье, газета Корша, несмотря на общую прогрессивность, на оппозиционность властям, не переходила той грани, которая отделяла либеральную журналистику от демократической.

## ЛЕОНИД АНДРЕЕВ И ДОСТОЕВСКИЙ

В. И. Беззубов

Тема «Леонид Андреев и Достоевский» не является ни новой, ни оригинальной. Высмеивая разногласия суждений русской критики на примере того, с кем сопоставлялся Андреев, ее назвал еще К. И. Чуковский в книге «Леонид Андреев большой и маленький»<sup>1</sup>. Однако, если в дальнейшем Андреева перестали сопоставлять с очень многими писателями из списка Чуковского, то без упоминания имени Достоевского не обходится почти ни один автор крупной обобщающей работы об Андрееве до самого последнего времени.

Дореволюционная русская критика сближала Андреева с Достоевским, исходя из очень разных побуждений идеологического и эстетического порядка. (Совершенно очевидно, что говорить об объективном историческом подходе к теме в этот период не приходится). Соответственно с этими побуждениями (нередко бессознательными) критики выделяли в творчестве обоих писателей различные аспекты, по которым находили определенную близость и даже прямое влияние Достоевского на Андреева.

Реакционная критика, пытаясь во что бы то ни стало дискредитировать Андреева в глазах читателей и тем самым уменьшить его воздействие на умы, при сопоставлении с Достоевским обычно указывала на художественную слабость и беспомощность Андреева, на нежизненность его героев и — главное — на антирелигиозную направленность его творчества. Достаточно характерна в этом смысле статья Уписус'а, напечатанная в 1910 году в «Нижегородском церковно-общественном вестнике». Андреев враждебен автору статьи тем, что в его творчестве преобладает «бесовское», «дьявольское» начало: «В поэзии Леонида Андреева ее лейтмотив олицетворяется, несомненно, в образе «Анатэмы».<sup>2</sup> «Разрушить истин-

<sup>1</sup> См. К. И. Чуковский. Леонид Андреев большой и маленький. СПб., 1908, с. 68—69.

<sup>2</sup> Уписус. Л. Андреев и его литературные герои. Нижний-Новгород, 1910, с. 1.

ные принципы религии, — вот прямая тенденция многих произведений автора»,<sup>3</sup> — к такому заключению пришел Unicus. Некоторую близость Андреева к Достоевскому Unicus усматривал лишь в пристрастии к изображению психических уродов «во вкусе Достоевского». В основном же Достоевский как гуманист и реалист противопоставляется Андрееву, у которого «не чувствуется любви к человеку». «Он полная противоположность человеколюбивому Достоевскому <...>. Достоевский несравненно сильнее, проще Андреева, и если есть что-либо общее у этих далеко не равных литературных величин, то только общее обоим им пристрастие к психопатологии. Андреева это пристрастие, нездоровые вкусы, подозрительное увлечение миром больного человеческого воображения повели к искажению жизни».<sup>4</sup> Необходимо вообще отметить, что богословы и черносотенцы неизменно резко критиковали Андреева как за кощунство и богохульство, так и за пессимизм, индивидуализм и пристрастие к патологии.<sup>5</sup>

Реакционная критика нередко представляла Андреева как пигмея перед великим Достоевским. В рецензии на пьесу Андреева «Мысль» критик «Московских ведомостей» Бэн (Б. В. Назаревский) писал: «Это сокращенное, упрощенное издание романа Достоевского «Преступление и наказание» для детей самого младшего возраста».<sup>6</sup>

С реакционными критиками во многом совпадали символисты из группы Мережковского. Для Мережковского, З. Гиппиус и Философова Андреев был неприемлем так же прежде всего своей нерелигиозностью. «Религиозная бессознательность все равно, что половая девственность: потеряв, не вернешь», — писал Мережковский в статье «В обезьяньих лапах». И далее, сравнивая Андреева с Достоевским: «Мистика Достоевского по сравнению с мистикой Андреева — солнечная система Коперника по сравнению с календарем».<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Там же, с. 10.

<sup>4</sup> Там же, с. 8.

<sup>5</sup> См. М. Григорьевский. Несколько слов по поводу «Жизни человека» Л. Андреева. Киев, 1907 <отдельный оттиск из журнала «Руководство для сельских пастырей»>; Я. Богородский. Странная апология. Нечто о Леониде Андрееве и его ценителях. Казань, 1909 <отдельный оттиск из журнала «Православный собеседник»>; Епископ Георгий. Индивидуалистическое мирозерцание Леонида Андреева (Литературно-богословский очерк). — «Вера и разум», 1909, № 9—10; Г. В. Прохоров. Индивидуализм в произведениях Леонида Андреева. СПб., 1912 <Отдельный оттиск из журнала «Христианское чтение»>; Д-р Ткачев Т. Я. Патологическое творчество (Леонид Андреев). Харьков, 1913 и др.

<sup>6</sup> Бэн. «Мысль». — «Московские ведомости», 1914, 18 марта.

<sup>7</sup> Д. Мережковский. В обезьяньих лапах. О Леониде Андрееве. — «Русская мысль», 1908, № 1, отд. II, с. 81. См. также: Антон Крайний (З. Гиппиус). Литературный дневник (1899—1907). СПб., 1908, с. 275—276; Д. Философов. Мертвецы и звери. — «Русская мысль», 1909, № 4.

Совершенно по-иному, в связи с благожелательным отношением к Андрееву, сопоставляли его с Достоевским Блок, Вяч. Иванов, И. Анненский. Блок, испытавший ряд сильнейших «потрясений» от чтения андреевских произведений, сравнил в статье «Безвременье» (1906) «Мальчика у Христа на елке» Достоевского и рассказ Андреева «Ангелочек». На их основании Блок пришел к выводу о глубоких исторических изменениях, происшедших в духовной жизни России со времен Достоевского. (Кстати, многие современные исследователи, пишущие об Андрееве и Достоевском, странным образом почти не учитывают этого очевидного факта). Андреев для Блока в этот период наиболее характерный и выразительный писатель эпохи «безвременья».<sup>8</sup>

«Почти у каждой культурной эпохи есть имена, которые превращаются для нее в своеобразные знаки-символы той или иной системы взглядов. Для русской культуры конца XIX — начала XX в. одним из таких имен было имя Ф. М. Достоевского»,<sup>9</sup> — пишет современная исследовательница. И то, что Блок и некоторые другие символисты включали Андреева «в круг Достоевского», являлось свидетельством очень высокой оценки его творчества, причисления его к «своим» по духу.

Как известно, символисты объявили Достоевского своим прямым предшественником и противопоставляли его в известной мере Л. Толстому<sup>10</sup>. В этом плане большой интерес представляет рецензия Вяч. Иванова на «Жизнь Василия Фивейского». «Талант Л. Андреева, — писал Вяч. Иванов, — влечет его к раскрытию в людях характера умопостигаемого, — не эмпирического. В нашей литературе полюс проникновения в характеры умопостигаемые представлен Достоевским, в эмпирические — Толстым. Л. Андреев тяготеет этою существенною стороною к полюсу Достоевского.»<sup>11</sup> Необходимо сразу же сказать, что Вяч. Иванов отметил, на наш взгляд, очень важную особенность творчества Андреева, действительно сближающую его с Достоевским.

Критик Волжский (А. С. Глинка) в статье «О мотивах страха смерти и страха жизни» отметил в творчестве Андреева переплетение двух «направлений». Раскрывая «ужас обыденщины», Андреев, по его мнению, «соприкасается с Чеховым». Показывая в то же время «ужас ужасного, ужас края бездны, свешивающе-

---

<sup>8</sup> См. об этом в моей статье «Александр Блок и Леонид Андреев». — «Блоковский сборник», Гарту, 1964, с. 246—247.

<sup>9</sup> З. Г. Минц. Блок и Достоевский. — В сб.: Достоевский и его время. Л., 1971, с. 217.

<sup>10</sup> См. В. А. Богданов. Метод и стиль Ф. М. Достоевского в критике символистов. — В сб.: Достоевский и русские писатели. Традиции, новаторство, мастерство. Сборник статей. М., 1971, с. 375—413.

<sup>11</sup> Вячеслав Иванов. Новая повесть Леонида Андреева «Жизнь Василия Фивейского». — «Весы», 1904, № 5, с. 47.

гося над пропастью», «он примыкает к психологическим и уголовным элементам творчества Достоевского.»<sup>11а</sup> Кроме того, Волжский увидел и в андреевском сгущении красок освоение художественного опыта Достоевского. Он писал: «Это искусственное сгущение красок, как художественно-психологический эксперимент, вполне законно; здесь тот же прием художественной дедукции, постановки художественно-философского опыта в чистом виде, который хорошо знаком русскому читателю из творческой работы Достоевского».<sup>11б</sup>

И. Анненский, указывая на определенную близость Андреева к Достоевскому, в то же время подчеркивал их отличие: «По природе своего таланта Л. Андреев лишь и о б р а ж а е т то, что Достоевский рассказывал, и внутренний человек заменен у него подобным ему, но внешним».<sup>12</sup> Тем не менее, сравнивая андреевского Иуду с человеком из подполья, Фомой Опискиным, Смердяковым и многими другими героями Достоевского, Анненский считает, что «не только нельзя понять андреевского Иуды, но нельзя на минуту даже поверить, что Иуда — точно человек, а не сплошное риторство, если не толковать его себе именно в этих схемах мысли Достоевского: выверт и надрыв».<sup>13</sup> «Но Леонид Андреев и не может и не хочет быть вторым Достоевским»,<sup>14</sup> — так формулирует свой окончательный вывод И. Анненский.

Намного более решительно подчеркивал отличие Андреева от Достоевского М. Волошин: «Поскольку Леонид Андреев проявляется в своих произведениях как личность, он сам мог бы быть одним из героев Достоевского, но как художник он идет путем обратным». И это потому, что у Андреева, как считал М. Волошин, в отличие от Достоевского, «нет живых людей, а есть манекены, которых он заставляет разыгрывать драму своей собственной души».<sup>15</sup>

Е. Мечникова посчитала даже необходимым выступить против широко распространенного мнения о сходстве Андреева с Достоевским в связи с присущим им обоим тяготением к изображению психически не совсем здоровых людей. Она утверждала, что «именно в изображении этих ненормальных людей и высказывается глубокая разница между Л. Андреевым и Достоевским как писателями психологами и психопатолами».<sup>16</sup> И разницу эту Е. Мечникова, как и М. Волошин, видит

<sup>11а</sup> Волжский. Из мира литературных исканий. Сборник статей. СПб., 1906, с. 210.

<sup>11б</sup> Там же, с. 215—216.

<sup>12</sup> И. Ф. Анненский. Вторая книга отражений. СПб., 1909, с. 46.

<sup>13</sup> Там же, с. 48.

<sup>14</sup> Там же, с. 49.

<sup>15</sup> Максимилиан Волошин. Лики творчества. Леонид Андреев и Федор Сологуб. — «Русь», 1907, № 340.

<sup>16</sup> Е. Мечникова. Психопатология в произведениях Достоевского и Л. Андреева. — «Вестник воспитания», 1910, № 4, с. 190.

в том, что у Андреева «не живые люди, а призраки, созданные воображением художника». <sup>17</sup> На том же основании, хотя намного менее резко, указывает на отличие героев Андреева от героев Достоевского и Д. Аменицкий. <sup>18</sup>

Довольно часто сопоставляла Андреева с Достоевским и демократическая критика. При этом она более определенно говорила о родстве писателей. «Родной по крови таким писателям, как Достоевский», <sup>19</sup> — так характеризовал Андреева А. Измайлов. Пытаясь уяснить особенности художественной интуиции Андреева, Д. Овсяннико-Куликовский пришел к выводу, что «она очень глубока и роднится с интуицией Достоевского». <sup>20</sup> У обоих писателей Д. Овсяннико-Куликовский находил резкую односторонность в подходе к жизненным явлениям, пренебрежение к оттенкам и многообразию жизни. Он писал: «Жизнь и психика человеческая в изображении Достоевского и Андреева не отражают действительности в ее разносторонности, в ее движении и пугают наподобие призраков». <sup>21</sup>

На основании особенностей творческого метода объявляют Андреева родственником Достоевскому также Треплев и Г. Полонский. «Л. Андреев с большим, все возрастающим успехом идет по дороге гениального русского писателя» Достоевского, как представляется Треплеву, именно потому, что он, «пренебрегая банальным реализмом, расплывающимся в мелочах», <sup>22</sup> раскрывает не внешнюю, а внутреннюю правду. «Андреев поэт невидимого, — писал Г. Полонский, — Достоевский любил говорить про себя: «Меня зовут психологом. Нет, я реалист в высшем смысле». Реалист в высшем смысле и Андреев.» <sup>23</sup>

Представление об Андрееве как о «реалисте в высшем смысле» и в связи с этим родственного Достоевскому достаточно сильно укоренилось в дореволюционной демократической критике и нашло отражение в работах обобщающего характера. Т. Ганжулевич, например, рассматривая эволюцию андреевского творчества, пришла к следующему характерному выводу: «Первые рассказы Л. Андреева скорее напоминают Чехова, чем Достоевского, хотя в последующем развитии своем

<sup>17</sup> Там же, с. 192.

<sup>18</sup> См. Д. А. Аменицкий. Анализ героя «Мысли» Л. Андреева (К вопросу о параноидной психопатии). <Отдельный оттиск из журнала «Современная психиатрия», 1915, № 5.>

<sup>19</sup> А. Измайлов. Новая пьеса «Дни нашей жизни» в Новом театре (6 ноября). — «Биржевые ведомости», 1908, № 10799.

<sup>20</sup> Д. Овсяннико-Куликовский. Литературные беседы. «Савва», пьеса в 4 действиях Леонида Андреева (Сборник товарищества «Знание», 1906, № XI). — «Страна», 1906, № 176, 3 октября.

<sup>21</sup> Там же.

<sup>22</sup> Треплев. Разоренная жизнь. Рассказы Л. Андреева с точки зрения жизненной эволюции. — «Русская мысль», 1905, № 4, отд. II, с. 2.

<sup>23</sup> Г. Полонский. «Тьма» Андреева светит. — «Наш день», 1907, № 3, 24 декабря.

талант Л. Андреева все ближе подходит к Достоевскому, и не только к приемам, но и к духу его творчества, беспощадно аналитическому». <sup>24</sup> «Под знаком Ф. М. Достоевского, а не Максима Горького развивается после 1-го тома набатное творчество Леонида Андреева», <sup>25</sup> — утверждал В. Львов-Рогачевский.

Некоторые критики видели родство писателей прежде всего в близости идейной проблематики, в напряженности исканий, в устремленности к разрешению «проклятых вопросов». «Вопрос о боге, о людях, о зле, о загробной жизни, о правде, о природе человека — вот что не дает покоя и мучит автора и делает его близким и родным по страданиям Ф. М. Достоевскому», <sup>26</sup> — писал А. Д. Альтман. Характеризуя «Мои записки» Андреева как произведение углубленного психологизма, проникающего «в самые потаенные недра души, в душевный зигзаг», С. Яблоновский отметил: «Это уже пахнет Достоевским и притом не подделкой под Достоевского, а Достоевским подлинным». <sup>27</sup>

Еще можно отметить своеобразную концепцию Л. Козловского, который сблизил Андреева с Достоевским на почве романтизма. По Козловскому, Достоевский — «последний из великих романтиков», и «Андреев похож на Достоевского» как «неоромантик», который «при всем своем неоромантизме, при всем сходстве с западным романтизмом» остался, как и Достоевский, национальным русским писателем, «остался верен духу русской литературы с ее любовью к последнему, самому забитому человеку с его жаждой правды» <sup>27а</sup>.

Дореволюционная русская критика, как мы видим, уделяла достаточно много внимания сопоставлению Андреева с Достоевским. Однако, и те, кто говорили о родстве «по крови» или «по страданиям», и те, кто начисто отрицали какое бы то ни было родство, основывались главным образом на собственной интуиции и на самых общих чертах и признаках: углубленный психологизм, тяготение к психопатологии, «вопрос о боге» и т. п.

<sup>24</sup> Т. Ганжулевич. Русская жизнь и ее течения в творчестве Л. Андреева. Изд. второе, доп. СПб.-М., <б. г.>, с. 12.

<sup>25</sup> В. Львов-Рогачевский. Две правды. Книга о Леониде Андрееве. СПб., 1914, с. 50.

<sup>26</sup> А. Д. Альтман. Леонид Андреев. «Мои записки». Критический очерк. Саратов, 1908, с. 2.

<sup>27</sup> С. Яблоновский. «Мои записки». — «Русское слово», 1908, № 236, 11 октября. Сравнивая «Мои записки» с романом Достоевского «Братья Карамазовы», В. Боцяновский тоже пришел к выводу, что «повесть Андреева является дальнейшей разработкой тех же вопросов, которые затронул Достоевский» (Вл. Боцяновский. Великий инквизитор Андреева. — «Новая Русь», 1908, № 75, 29 октября).

<sup>27а</sup> Л. С. Козловский. Леонид Андреев. В кн.: Русская литература XX века (1890—1910). Под ред. проф. С. А. Венгерова. Т. II, ч. II, М., 1915, с. 256.

В том же общем плане продолжали говорить о родстве писателей и после смерти Андреева. С. Кречетов, например, считал, что «по основному тону своего творчества Л. Андреев — наследник задач Достоевского». <sup>28</sup> Наследование он видел, как и многие критики до него, в глубоком исследовании тайн человеческой души. Иванов-Разумник также причислил Андреева, наряду с символистами, к наследникам Достоевского. «В то время, — писал он, — как его предшественники восьмидесятых и девяностых годов обратились в своем творчестве к вопросам общественно-этическим (тут и Гаршин, и Короленко, и М. Горький), Л. Андреев вернулся к темам философско-этическим, а значит и вернулся к Достоевскому». <sup>29</sup>

Несколько более конкретно стал говорить и писать о влиянии Достоевского на Андреева М. Горький. В предисловии к американскому изданию романа «Сашка Жегулев» Горький писал в 1925 году: «Леонида Андреева ни по широте и глубине таланта, ни по его влиянию на русскую литературу невозможно, разумеется, поставить рядом с Достоевским, в таланте которого было что-то пророческое, ни со Львом Толстым, величайшим после Александра Пушкина мастером. Но Леонид Андреев человек этой же линии идей, его подчинение анархизму двух гениальных прозаиков России — несомненно, и также несомненно, что он подошел бы ближе к ним, если б недостаточное развитие его личной духовной культуры не мешало ему развить и углубить его оригинальный талант». <sup>30</sup> Следование Андреева Достоевскому и Толстому Горький находил в анархизме и в недоверии к разуму. <sup>31</sup> Следование Достоевскому (и только ему) — в пристрастии к изображению темного, болезненного в человеке. По воспоминаниям Вс. Рождественского, Горький говорил об Андрееве: «Все эти «бездны» и «стены» — плохо переваренный Достоевский с его склонностью блуждать по тупикам и лабиринтам». <sup>32</sup>

Отстаивая свой взгляд на русскую литературу и ее задачи, Горький считал саму принадлежность к «линии идей» Толстого и Достоевского отрицательным явлением, с которым нужно бороться. Соответственно и Андреев попадал у Горького в ряд отрицательных величин.

Мнение Горького оказало в определенный период огромное влияние на советских исследователей, особенно горьковедов. С. Касторский, например, так и писал об Андрееве: «Его вле-

<sup>28</sup> Сергей Кречетов. Леонид Андреев. Опыт характеристики литературного облика. — «Русская мысль», 1923, № I—II, с. 277.

<sup>29</sup> Иванов-Разумник. Русская литература XX века (1890—1915). Пг., 1920, с. 32.

<sup>30</sup> «Литературное наследство», т. 72. М., 1965, с. 402.

<sup>31</sup> См. об этом подробнее в моей статье «Леонид Андреев и Максим Горький». — Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 217. Тарту, 1968.

<sup>32</sup> Всев. Рождественский. Страницы жизни. М.—Л., 1967, с. 178.

чение к Достоевскому и к реакционной философии Ницше уже на раннем этапе и спортило (Разрядка моя — В. Б.) многие его повести и рассказы («Стена», «Бездна», «Мысль» и др.)». <sup>33</sup> Примерно в том же духе оценивал влияние Достоевского на Андреева Ю. Юзовский. <sup>34</sup>

Думается, что нет особой необходимости приводить переходящие из книги в книгу и из статьи в статью подобного рода рассуждения. Можно ограничиться довольно обстоятельным сопоставлением, произведенным Б. Михайловским. Б. Михайловский утверждал даже, что «Андреев до известной степени воспроизводит идеологический путь Достоевского», <sup>35</sup> ведущий от сочувствия бедному, униженному и оскорбленному «маленькому человеку» к реакции. «Но еще теснее примыкает Андреев к реакционным сторонам противоречивой идеологии Достоевского, — писал Б. Михайловский. — Обоих писателей объединяют сомнения в силе разума человека, в его способности к добру и свободе, представление о страшной власти над человеческой душой темных инстинктов, безудержного эгоизма. Развенчивая разум, Андреев, как и Достоевский, не верит и в революционную борьбу за переустройство общества на началах разума, борьбу за социализм. Учителя и ученика роднит и «отрицание истории», к которому они приходят». <sup>36</sup>

Однако, если исходить из новейших советских исследований, посвященных как творчеству Достоевского, так и Андреева, такая суммарная характеристика и «учителя» и «ученика» покажется мало убедительной и несправедливой. Можно сразу сказать, что отношение Андреева к разуму было более сложным, чем это представлялось Горькому и горьковедом. Во всяком случае, нельзя утверждать, что Андреев «развенчивал разум». Нельзя, на мой взгляд, также утверждать, что Андреев не верил в революционную борьбу и что ему присуще отрицание истории. На основе отношения к революции можно скорее говорить об очень существенном отличии Андреева от Достоевского.

Современные советские исследователи обычно также указывают, хотя и вскользь, на традиции Достоевского в андреевском творчестве. <sup>37</sup> Но специальных работ по этой теме еще

<sup>33</sup> С. Касторский. Статьи о Горьком. Л., 1953, с. 261.

<sup>34</sup> См. Ю. Юзовский. Максим Горький и его драматургия. М., 1959, с. 427.

<sup>35</sup> Б. Михайловский. Избранные статьи. М., 1969, с. 378.

<sup>36</sup> Там же, с. 379.

<sup>37</sup> См. Л. Афонин. Леонид Андреев. Орловское книжное издательство, 1959, с. 180; Ю. В. Бабичева. Богоборческая драма Леонида Андреева «Анатэма». — В сб.: Русская литература XX века (дооктябрьский период). Сборник второй. Калуга, 1970, с. 179; Ю. Чирва. О «драме идей» Леонида Андреева. — «Театр», 1971, № 9, с. 94; В. А. Келдыш. Реалистические течения предреволюционных лет. — В кн.: Русская литература конца

мало. Лишь в последние годы М. Я. Ермакова опубликовала несколько статей,<sup>38</sup> которые вошли затем в переработанном виде в ее книгу «Романы Достоевского и творческие искания в русской литературе XX века (Л. Андреев, М. Горький)». Подчеркивая неслучайность «переключки» между писателями, М. Я. Ермакова обосновывает ее весьма неуклюже, во-первых, тем общим, что «объединяет» «эпохи Достоевского и Андреева», и, во-вторых, тем, что оба писателя отражали в творчестве настроения массы «мелкобуржуазного городского люда»<sup>39</sup> и являлись выразителями идеологии мелкобуржуазной интеллигенции. При дальнейшем изложении исследовательница, правда, почти совсем «забывает» об этих положениях.

М. Я. Ермакова считает, что для Андреева и Достоевского «особенно характерны контактные и типологические связи в области содержания»,<sup>40</sup> и поэтому она в основном рассматривает обращение писателей «к однородным темам»: к «теме маленького человека», к «теме проституции», к «теме казни», к «теме преступления и наказания» и т. п. Подобный подход приводит к простому перечислению сходных тем, мотивов и ситуаций, причем их совпадения, как отмечает и сама исследовательница, «могут быть и случайными».<sup>41</sup> К аналогичным темам обращались не только Достоевский и Андреев, но и многие другие русские писатели. М. Я. Ермакова даже не ставит вопроса о том, что могло быть воспринято Андреевым прямо из Достоевского, а что из таких его интерпретаторов, как Мережковский и В. Розанов. Кстати, Ю. В. Бабичева необыкновенно интересно соотносит «Анатэму» Андреева не с «Братьями Карамазовыми», а с «критическим комментарием» В. Розанова к роману Достоевского.<sup>42</sup>

Хотя М. Я. Ермакова отметила довольно много случаев явной «переключки» писателей, методология ее работы в целом не позволяет считать их вполне обоснованными. Кроме того,

---

XIX—начала XX в. 1901—1907. М., 1971, с. 133; А. Л. Григорьев. Леонид Андреев в мировом литературном процессе. — «Русская литература», 1972, № 3, с. 196.

<sup>38</sup> См. М. Я. Ермакова. Достоевский и Андреев. — В сб.: Материалы VII зональной научной конференции литературоведческих кафедр университетов и педагогических институтов Поволжья. Волгоград, 1966; ее же, Проблема индивидуализма в творчестве Ф. М. Достоевского и Андреева. — Уч. зап. Горьковского гос. пед. института, вып. 87. Волго-Вятское книжное издательство, 1968; ее же, Л. Андреев и Ф. М. Достоевский (Керженцев и Раскольников). — Уч. зап. Горьковского гос. пед. института, вып. 87. Волго-Вятское книжное издательство, 1968.

<sup>39</sup> М. Я. Ермакова. Романы Достоевского и творческие искания в русской литературе XX века (Л. Андреев, М. Горький). Горький, 1973, с. 172.

<sup>40</sup> Там же, с. 171.

<sup>41</sup> Там же, с. 255.

<sup>42</sup> См. Ю. В. Бабичева. Богоборческая драма Леонида Андреева «Анатэма», с. 180—182.

Андреев представлен М. Я. Ермаковой вне эволюции. Вызывает крайнее удивление и то, что она не привлекла ни одной работы своих предшественников. Очень мало нашли отражение в ее работе также современные исследования творчества Андреева.

Одной из последних известных нам работ является статья Л. А. Смирновой «Ф. М. Достоевский и Л. Андреев (К проблеме гуманизма в их творчестве)», опубликованная в сборнике трудов Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской. Прежде всего автор устанавливает, что «Достоевский и Андреев — художники несовместимых масштабов»: «Если творчество Достоевского обладает чарующей мощью оркестра, то голос Андреева звучит узкокамерно» (Это голос автора «Жизни Василия Фивейского», «Красного смеха», «Саввы», «Царя Голода» звучит узкокамерно?!). Затем уже на основе довольно-таки своеобразного чтения выявляется: «Что касается творческой манеры Достоевского и Андреева, то это в корне различные явления. Читать произведения одного после творений другого (и не только от Достоевского к Андрееву, но и в обратном порядке) почти невозможно: так разнятся их язык, стиль, наконец, воссозданный каждым из них мир.

Однако связь между Достоевским и Л. Андреевым существует несомненная и значительная»<sup>42а</sup>.

К сожалению, эта декларируемая «связь» и «внутренняя перекличка» предстает в таком общем виде, что теряет всякий смысл. «Их острый взгляд, — пишет, например, Л. А. Смирнова, — проникает в противоречия философии, этики, эстетики прошлого, особенно бурно выявляющиеся в современной для художников трансформации. Страстное стремление к низложению мнимых ценностей, острое чутье на освященную государством ложь и фарисейство, гневный бунт против них, здесь протягиваются тесные связи (не только тематические) между творчеством Достоевского и Андреева»<sup>42б</sup>. На основе выделенных признаков нельзя говорить ни о какой связи, тем более тесной. Все сказанное более или менее верно и все же совершенно пусто и бессодержательно, ибо приложимо не только к Достоевскому и Андрееву, но и к Салтыкову-Щедрину, Толстому, Чехову, Горькому и вообще почти каждому серьезному писателю.

И далее почти вся работа строится на подобных сопоставлениях, причем ни одно из положений по существу не аргументируется, хотя некоторые из них могут вызвать крайнее удивление. «Достоевский и Андреев не признавали догм христианской церк-

---

<sup>42а</sup> Л. А. Смирнова. Ф. М. Достоевский и Л. Андреев (К проблеме гуманизма в их творчестве). — Сборник трудов Московского обл. пед. ин-та им. Н. К. Крупской. Традиции и новаторство русской литературы XX века. М., 1973, с. 3.

<sup>42б</sup> Там же, с. 5.

ви»<sup>42в</sup>, — заявляет, например, Л. А. Смирнова. Можно еще добавить, что автор статьи выступает в роли «первооткрывателя», как будто не существует исследовательской литературы ни по Андрееву, ни по Достоевскому. К сожалению, эта статья мало продвигает исследование рассматриваемой темы.

Много внимания вопросу о связи творчества Андреева с творчеством Достоевского уделяли зарубежные исследователи. Автор первой крупной монографии об Андрееве А. Каун видел близость Андреева к Достоевскому в интересе к большим, патологическим типам.<sup>43</sup> Каун основывался главным образом на статьях дореволюционных русских критиков, и поэтому его концепция не имеет особой новизны.

В 1927 году попытался сопоставить «Тьму» Андреева с «Записками из подполья» Достоевского американский литературовед К. А. Мэннинг. Само сопоставление не представляет особого интереса, являясь, по существу, пересказом обоих произведений, но в начале своей статьи Мэннинг выдвигает ряд любопытных положений: «Нетрудно показать огромную разницу между идеями Андреева и Достоевского. Нравственный и религиозный идеал Достоевского не находит себе места в хаотическом и опустошенном мире Андреева. Последний нагромождает ужасы, но ему редко удается убедить нас в том, что его герои — люди, а не автоматы. В силу этого Андреев не достигает потрясающего эффекта Достоевского, герои которого всегда живые люди, наши братья, даже тогда, когда они глубоко порочны.

И все же между обоими писателями имеется тесная связь, и часто легко установить, что Андреев шел по следам Достоевского, но к другой цели. Подробности, отдельные эпизоды, попутные замечания взяты у старшего и более крупного писателя, но находятся в иной системе. Иногда эти перемены так велики, что можно подумать, не случайные ли это совпадения. Но есть случаи, когда влияние не подлежит сомнению».<sup>44</sup> Такое прямое влияние автор статьи усматривает в «Тьме» Андреева, основываясь на некотором сходстве развития психологического конфликта между героями «Записок из подполья» и «Тьмы» и проститутками.

Сопоставление на основе большого круга произведений Андреева и Достоевского проводится в книге американского исследователя Х. Х. Кинга «Достоевский и Андреев». Вторая глава книги названа «Андреев по стопам Достоевского». Но конкретное сравнение отдельных произведений, героев, мотивов и ситуаций не производит убедительного впечатления, так как Кинг и

---

<sup>42в</sup> Там же, с. 6.

<sup>43</sup> См. А. Каун. Leonid Andreev. A critical study. New York, 1924, p. 190.

<sup>44</sup> Clarens Augustus Manning. «Тьма» Андреева и «Записки из подполья» Достоевского. — «Slavia», Roč. V. Sešit 4. Praha, 1927, S. 850.

не пытался уточнить, возникает ли сходство под прямым воздействием Достоевского или, может быть, Толстого, Гаршина, Чехова, Горького. Хотя в начале Кинг и приводит сочувственно слова Мэннинга о том, что детали Андреева, взятые у великого предшественника, даются в другой системе, в самой работе он это почти не учитывает. Правда, автор и не подчеркивает особенно близости Андреева и Достоевского, напротив, он утверждает, что «общего между двумя писателями меньше, чем различий». <sup>45</sup>

Судя по изложению польского исследователя Т. Пожняка, Р. Л. Джексон в книге «Подпольный человек в русской литературе» (Hague, 1968) находит влияние «Записок из подполья» Достоевского в «Рассказе о Сергее Петровиче», «Стене», «Проклятии зверя», «Моих записках» и ряде других произведений Андреева, усматривая в них проявление подпольного бунта против стены, рока, конформизма и обезличивания человека. <sup>46</sup>

Вопрос о влиянии Достоевского на Андреева поставлен и в монографии Джемса Б. Вудворда. Английский исследователь одним из первых отмечает факт значительной эволюции в отношении Андреева к Достоевскому. Автор, видимо, не располагал в достаточной степени новейшими материалами и поэтому представленная им картина несколько схематична и неполна. Думается, что осознанное увлечение Андреева Достоевским начинается ранее 1912 года и связано не только с «панпсихизмом», как считает Дж. Б. Вудворд. Представляется справедливым мнение автора монографии, что Достоевский не оказал радикального влияния на формирование философии жизни Андреева. «Андреев воспринимал в Достоевском не больше того, что согласовывалось с его взглядами и подкрепляло его собственную точку зрения на жизнь», <sup>47</sup> — заключает Дж. Б. Вудворд.

Венгерский литературовед Ласло Каранчи акцентирует внимание на различиях в подходе Андреева и Достоевского к сходным проблемам. Он отмечает расхождения в отношении к революционной борьбе и указывает на материализм и атеизм Андреева. Расхождения мировоззренческого порядка, по мнению Л. Каранчи, приводят к различиям и в области формы. <sup>48</sup>

Непомерно разросшийся обзор критической и исследовательской литературы, посвященной вопросу о творческой близости Андреева к Достоевскому (причем не включено множество статей и книг, в которых встречаются отдельные упоминания и сопоставления более частного характера), определенным образом

<sup>45</sup> Henry Hall King. *Dostoyevsky and Andreyev. Gazers Upon the Abyss.* New York, 1936, p. 40.

<sup>46</sup> См. Telesfor Poźniak. *Dostojewski w kręgu symbolistów rosyjskich* Wrocław, 1969, s. 59—61.

<sup>47</sup> James B. Woodward. *Leonid Andrejev. A study.* Oxford, 1969, p. 34.

<sup>48</sup> См. L. Karancsy. *Bedeutung und Probleme der Andrejev-Forschung.* — *Studia Slavica Hungaricae*, XV. Budapest, 1969, S. 270.

свидетельствуют о важности темы. Но несмотря на большое количество разных работ, отнюдь нельзя сказать, что тема уже исчерпана.

Вызывает недоумение, что никто, кроме Дж. Б. Вудворда, не рассмотрел, как относился к Достоевскому сам Андреев на разных этапах своей сложной творческой эволюции. Большинство писавших о влиянии Достоевского на Андреева вообще почти не учитывало эволюцию андреевских взглядов. Близость, родство писателей чаще всего декларировалось на основании отдельных, нередко несущественных признаков, даже без попытки включения их в систему творчества Андреева. Редко выделяется то специфическое, что могло быть воспринято Андреевым только от Достоевского. Почти совсем не учитывалась борьба, которая велась вокруг творческого наследия Достоевского в начале XX века.

Объем статьи не позволяет одинаково подробно рассмотреть все возможные проблемы, возникающие при сопоставлении творчества двух противоречивых писателей. Поэтому основное внимание будет уделено изучению эволюции отношения Андреева к Достоевскому. Сопоставление взглядов Андреева и Достоевского на историю и рассмотрение проблемы будущего, «золотого века», а также проблем художественного метода и приемов творчества мы надеемся осуществить в последующих статьях.

## 1.

Несомненно, что во многих произведениях Андреев находился в кругу проблематики Достоевского. Принадлежность Андреева к «линии идей» Толстого и Достоевского отрицать невозможно. Следование Толстому<sup>49</sup>, да и Достоевскому, проявляется достаточно определенно уже в раннем творчестве Андреева.

Однако нельзя и преувеличивать степени влияния Достоевского на Андреева. Думается, что в 1898—1907 гг. для Андреева были гораздо более важны и поэтому более живы традиции Гаршина<sup>50</sup>, Толстого, Чехова и даже Глеба Успенского<sup>51</sup> и демократической беллетристики 1860-х гг.<sup>52</sup>

<sup>49</sup> См. об этом в моей статье «Лев Толстой и Леонид Андреев». — Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 104, Тарту, 1961.

<sup>50</sup> См.: Л. А. Иезуитова. Леонид Андреев и Вс. Гаршин. — «Вестник Ленинградского университета», 1964, № 8, Серия истории, языка и литературы, вып. 2, с. 97—109.

<sup>51</sup> Проникиновенно, с большой теплотой и сочувствием писал Андреев о трагической судьбе Глеба Успенского в ряде «курьерских» фельетонов (см. «Курьер», 1900, № 27, 27 января и № 46, 15 февраля; 1902, № 85, 27 марта).

<sup>52</sup> На состоявшейся в сентябре 1971 г. в Орле научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Л. Н. Андреева, В. В. Шахов про-

Андреев, конечно, читал и знал Достоевского, но у него не было в этот период творчески активного отношения к нему. Когда же Андреев обращался к сходной с Достоевским проблематике, он стремился идейно отмежеваться от него. Поэтому, отвечая на вопрос, «кто из художников более других влиял на него», Андреев написал В. Львову-Рогачевскому в 1908 году: «Как на художника оказали и оказывают влияние: Библия, Гаршин, Чехов, Толстой, Э. Поз и очень мало Достоевский, еще, пожалуй, Гамсун, Метерлинка не люблю и русских декадентов совсем не люблю»<sup>53</sup>.

Еще раньше, в сентябре 1903 года, Андреев писал Горькому о своем отношении к Достоевскому следующее: «Кстати, дошел до меня слух, что ты опасаясь или допускаешь возможность, что я влезу по уши в мистицизм и пойду по стопам Достоевского. Это неверно. Достоевского я люблю, но не всегда понимаю, и он мне чужой. Я много думаю о жизни и о смерти и чувствую в них глубокую тайну, но отношение мое к этой тайне как к опущенной занавеси: хочется приподнять ее, а никак не залезать по ту сторону, в темноту, и там чревоушачествовать». И далее Андреев подчеркнул, что в писательстве он чувствует «органическую связь»<sup>54</sup> с Горьким.

Эти признания лишь в самой незначительной мере обусловлены боязнью потерять из-за Достоевского друга и сотоварища по литературе. Андреев в этот период совершенно искренне считал себя соратником Горького в литературной борьбе. Для него как для бойца наиболее радикальной — горьковской — группы демократических писателей начала XX века Достоевский, проповедующий религиозные идеи и отвергающий революцию, Достоевский, связанный с царским двором и Победоносцевым, был представителем враждебного лагеря. Следует к тому же учитывать, что Достоевского усиленно выдвигали Мережковский и Розанов, — глубоко враждебные Андрееву писатели.

Идеи смирения, идеи религиозного обновления в духе «Нового пути» и, тем более, православной теократии были Андрееву чужды и даже ненавистны. Вообще ему было глубоко чуждо религиозное сознание. Когда у демократических писателей возник конфликт с редактором «Журнала для всех» Миреюловым по поводу публикаций статей Волжского, Андреев вместе со всеми подписал коллективный протест. Андреева

---

читал доклад «Раннее творчество Л. Андреева и традиции демократической литературы XIX века», в котором привел много интересных свидетельств идейно-тематической переклички рассказов Андреева 1898—1904 гг. с произведениями Помяловского, Решетникова, Левитова и Воронова.

<sup>53</sup> В. Львов-Рогачевский. Леонид Андреев. Критический очерк с приложением хронологического канвы и библиографического указателя. М., 1923, с. 51—52.

<sup>54</sup> «Литературное наследство», т. 72. М., 1965, с. 179—180.

возмутила не столько даже статья Волжского о Горьком, сколько статья о книге С. Булгакова «От марксизма к идеализму», в которой он увидел протаскивание в демократический журнал религиозных идей. «В ней сказывается, — писал Андреев Миролюбову, — очень прямое, очень определенное тяготение к богу, причем в атеистов бросается несколько очень резких упреков, близких к брани. Это не годится. Как ни разнятся мои взгляды с взглядами Вересаева и других, у нас есть один общий пункт, отказаться от которого значит на всей нашей деятельности поставить крест. Это — царство человека должно быть на земле. Отсюда призывы к богу нам враждебны»<sup>55</sup>.

Во многих произведениях Андреев вскрывал несостоятельность христианского учения. Свою повесть «Жизнь Василия Фивейского» он прямо определяет как «противурелигиозную».

Следует сказать, что хорошо осознали эту направленность андреевского творчества церковники, в многочисленных статьях обвиняя писателя в безбожии, богохульстве и кощунстве и требуя запрещения его произведений.

«Л. Андреев не по-христиански мыслит, — указывал, например, епископ Георгий, — почему и получилось у него такое мрачное индивидуалистическое мирозерцание. Свет и радость только там, где Христос!»<sup>56</sup> Андреев, действительно, мыслил не по-христиански. Позже, когда в его творческое сознание активно вошел Достоевский, он и его пытался представить как антихристианина. Горький в своих воспоминаниях приводит очень характерный разговор с Андреевым, происшедший в 1915 году: «Но я не люблю Христа, — Достоевский прав: Христос был великий путаник...

— Достоевский не утверждал этого. Это — Ницше...

— Ну, Ницше. Хотя должен был утверждать именно Достоевский. Мне кто-то доказывал, что Достоевский тайно ненавидел Христа и христианство, оптимизм — противная, насквозь фальшивая выдумка...

— Разве христианство кажется тебе оптимистическим?

— Конечно, — царствие небесное и прочая чепуха»<sup>57</sup>.

Разрушение религиозной веры в загробную жизнь, в царствие небесное является важным пунктом андреевской идейно-философской программы. Уже в рассказе «Ложь» (1900) герой проникается сознанием абсолютной конечности земного существования человека как в телесной, так и в духовной субстанции. Мелькнувшая у героя надежда разыскать убитую им женщину в потустороннем мире, чтобы хоть там узнать правду, разби-

<sup>55</sup> «Литературный архив», 5. М.—Л., 1960, с. 110.

<sup>56</sup> Епископ Георгий. Индивидуалистическое мирозерцание Леонида Андреева (Литературно-богословско-философский очерк). — «Вера и разум», 1909, № 9—10, с. 310.

<sup>57</sup> «Литературное наследство». Т. 72. М., 1965, с. 395—396.

вается отчетливой мыслью: «Ведь это ложь. Там тьма, там пустота веков и бесконечности, и там нет ее и нет ее нигде»<sup>58</sup>.

Разоблачая веру в загробную жизнь — эту «оптимистическую ложь», — Андреев пытался найти цель и смысл человеческой жизни вне религии, вне христианских представлений о воскресении и высшей божественной справедливости. Он стремился определить критерии безрелигиозной этики, ответить на вопросы, как жить, когда там — ничего нет, когда нет ни божьего греха, ни божьей кары, ни небесной милости.

«Проблема бытия — вот чему безвозвратно отдана мысль моя, и ничто не заставит ее свернуть в сторону»<sup>59</sup>, — так высоко определил основную свою писательскую устремленность Андреев. Обращаясь к «проблемам бытия», Андреев вступал в круг философско-этических проблем Достоевского и Толстого, но подходил к ним «не с того конца», как необыкновенно удачно сказал Толстой. Эту интересную характеристику Андреева, данную Толстым после бесед с ним в апреле 1910 года, целесообразно снова вспомнить: «Он милый, приятный, думает все о серьезных, важных вещах; но как-то не с того конца подходит, — нет настоящего религиозного чувства»<sup>60</sup>. В связи с этим можно даже сказать, что основная направленность андреевского творчества полемична по отношению к Достоевскому.

Неприемлемы были для Андреева в полной мере и христианский идеал человека Достоевского, и его идеал народа. Андрееву был близок и дорог человек-бунтарь. И в народном характере он ценил более всего бунтарское начало. Весьма показательно, что даже Горького он упрекнул в недостаточном выявлении этих бунтарских начал в характере Ильи Лунева из повести «Трое». Андреев считал, что Горький «погубил его на интеллигентный манер». «Он должен был стать силой, темной силой, так как ночью, во тьме, лилии не распускаются — но не тряпкой, — писал Андреев Горькому. — Свое отчаяние о жизни он должен был вылить в отчаянные формы. Он прошел полосу буржуазного благодушия; он также должен был миновать полосу интеллигентного бессилия, а не застревать в ней. Ведь от него анархистом за версту пахнет. Силен яд, которым наша интеллигенция отравляет идущие снизу силы, но Илья должен был вынести его. <...>

Зло берет! Если бы он, как Моор, в разбойники пошел, и то

---

<sup>58</sup> Леонид Андреев. Полное собрание сочинений. Том первый. СПб., 1913, с. 59. В дальнейшем ссылки на данное издание будут даваться в тексте с указанием тома и страницы.

<sup>59</sup> Неизданные письма Леонида Андреева (К творческой истории пьес периода первой русской революции). — Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 119. Тарту, 1962, с. 386.

<sup>60</sup> А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. Т. II. М.—Пг., 1923, с. 15.

было бы лучше, чем, по образу и подобию Раскольникова, куврыкаться перед самим собой и народом»<sup>61</sup>.

И сам Андреев нередко обращался к изображению героя из народа как несгибаемого бунтаря, который до конца не раскаивается и бунт которого принимает самые «отчаянные формы». Это Савва из пьесы «Савва» (1906), это разбойник Мишка Цыганок из «Рассказа о семи повешенных» (1908), это по-своему и Яков из пьесы «Не убий!» (1913).

Бунт, неприятие «страшного мира» стремился Андреев подчеркнуть и в «Жизни Василия Фивейского» — наиболее емком и значительном произведении, написанном до революции 1905 года. В этом плане он переделал конец повести, стараясь дать «меньше слез и больше бунта»<sup>62</sup>.

Пользуясь красивым слогом, можно сказать, что Андреев сознательно начертал на своем писательском знамени слово «бунт». Интересно, что раздумывая после успеха «Жизни Василия Фивейского» о себе и своем писательстве и мучительно ища смысла жизни, Андреев ставит вопрос, поставленный еще Иваном Карамазовым Достоевского: «И правда ли, что «бунтом жить нельзя?»» Вопрос этот вставал перед Андреевым очень серьезно, ибо он с горечью осознавал в своем вечном «нет» «дурную бесконечность». «Смысл, смысл жизни, где он? — продолжал Андреев в том же письме к Вересаеву. — Бога я не приму, пока не одурею, да и скучно вертеться, чтобы снова вернуться на то же место. Человек? Конечно, и красиво, и гордо, и внушительно, — но конец где? ... А ответа нет, всякий ответ — ложь. Остается бунтовать — пока бунтуется да пить чай с абрикосовым вареньем»<sup>62а</sup>.

Из Достоевского Андреев в идейном плане как будто принял и развивал лишь тему его бунтарей, тему Ивана Карамазова. В. Львов-Рогачевский так и назвал Андреева «Иван Карамазов русской литературы»<sup>63</sup>.

Однако, прославляя «радость бунта»<sup>64</sup>, Андреев должен был неминуемо вступить в борьбу с христианскими идеями смирения и непротивления злу насилием, которые проповедовали Достоевский и Толстой. И поэтому с полным правом и основанием Андреев мог в этот период говорить о Достоевском: «Он мне чужой». Первая русская революция, которую Андреев встретил восторженно, должна была еще больше отдалить его от Достоевского. В его творческое сознание Достоевский не входил, о чем свидетельствует отсутствие сколько-нибудь значительных упоминаний.

<sup>61</sup> «Литературное наследство». Т. 72, с. 126.

<sup>62</sup> Там же, с. 184—185.

<sup>62а</sup> В. Вересаев. Собр. соч. в пяти томах. Т. 5. М., 1961, с. 404—405.

<sup>63</sup> В. Львов-Рогачевский. Новейшая русская литература. Изд. 3-е. М.—Л., 1925, с. 214.

<sup>64</sup> «Литературное наследство». Т. 72, с. 118.

Примерно до 1907 года Андреев был очень далек от Достоевского еще и потому, что он был, если можно так сказать, мало национален. Он хотел «писать о «вневременном» и «внепространственном»» и стремился представить «человека вообще». «Я хочу думать о русском, римляnine, испанце... вообще о человеке, — говорил он. — Я низко ставлю материальный наряд человека и беру человека в его духовной сущности, и ищу истинность человеческой жизни...»<sup>65</sup>. В связи с этим Андреев во многих произведениях почти совершенно пренебрегал национальными особенностями характера. В наиболее законченном виде это проявилось в рассказах «Ложь» (1900) и «Стена» (1901) и в пьесах «Жизнь Человека» (1906) и «Царь Голод» (1907).<sup>66</sup>

Достоевский, как мы знаем, отстаивал «русскую идею», проповествовал о мессианском назначении России и русского духа. Ему нужна и важна была «почва», и поэтому он резко выступал против «общечеловека». Для Андреева же, как и для многих представителей русской демократической интеллигенции того времени, был характерен демократический интернационализм. С позиций демократического интернационализма писатели «Среды» и «Знания» выступали против национального угнетения, защищали права национальных меньшинств царской России. Конечно, Андреев был русский писатель и любил Россию и свой народ. Чувства любви и сострадания к народу отчетливо были выражены еще в «курьерских» статьях, когда Андреев подписывал их как Джемс Линч. Особенно ярко они проявились, например, в статье, которая позже получила название «Убогая Русь».<sup>67</sup>

Идея служения родине, служения «всем трудившимся и не знавшим отдыха» утверждается в рассказе «Иностранец» (1901). Герой рассказа, студент Чистяков, у себя на родине «не любил всего, что его окружало, <...> не любил всей неустроенной,

---

<sup>65</sup> В. В. Бруснянин. Леонид Андреев. Жизнь и творчество. М., 1912, с. 14.

<sup>66</sup> На первый взгляд может показаться, что вообще весь андреевский «неореализм» с его предельным схематизмом, абстрактностью и сознательным антипсихологизмом не только очень далек от Достоевского, но даже прямо противоположен основным его творческим принципам. Но хотя сам Андреев при работе над этими своими произведениями не чувствовал связи с Достоевским, его «неореализм» можно рассматривать как крайнее развитие «реализма в высшем смысле» Достоевского. Достоевский отвергал голое бытоописание, правде факта противопоставлял «верность поэтической правде» («Литературное наследство». т. 83. М., 1971, с. 613). Слова Достоевского: «Безразличие же и реальное воспроизведение действительности ровно ничего не стоит, а главное — ничего и не значит» (там же, с. 610); «Чем более вы удаляетесь от «фактицизма», тем лучше» (там же, с. 624) были очень близки творческим установкам Андреева.

<sup>67</sup> См. James Lynch. Мелочи жизни. — «Курьер», 1901, № 90, 1 апреля.

хаотичной, варварски грубой и бессмысленной жизни» (4, 153) и мечтал навсегда уехать за границу. Это приводит его к отчуждению, к отъединению от товарищей. Но в конце рассказа он вдруг ощутил горячую любовь к родине.

О любви к родине пишет Андреев и в письме к Вересаеву летом 1904 года: «Последнее время я как-то особенно горячо люблю Россию — именно Россию. Всю землю не люблю, а Россию люблю, и странно — точно ответ какой-то есть в этой любви». <sup>68</sup>

Однако до 1907 года Андрееву были совершенно чужды идеи русского мессианизма, идеи преобладания русского духа над западным. В «Иностранце» ясно подчеркнута, что подлинная любовь к национальному, русскому не только не отрицает, но и предполагает уважение и сочувствие к другим томящимся под гнетом народам. Это видно по отношению к Ваньке Костюрину, к его «патриотизму». Он «уважал все русское, водку, квас, жирные щи и мужиков, и старался говорить грубым голосом и попростонародному» (4, 156). Но в нем нет чувства собственного достоинства, нет и уважения к другим народам. Он насмехается над Райко Вукичем, над борьбой сербов за свою свободу. «Ты обманщик, — резко говорил ему Райко Вукич. — Зачем ты пляшешь русского? У тебя нет родины, нет дома! Ты свинья» (4, 163). Чувства любви к родине и национальной гордости в этом рассказе очень определенно связываются с идеей интернационализма.

В связи со всем вышеизложенным представляется сомнительным утверждение Горького, что «стена» и «бездна» — необыкновенно важные для Андреева образы-символы — восходят непосредственно только к Достоевскому. Сразу же вспоминается «стена» — «каменная стена» <sup>69</sup> — в «Палате № 6» Чехова. Можно вспомнить и «поэму» Горького «Двадцать шесть и одна»: «Нам было душно и тесно жить в каменной коробке под низким и тяжелым потолком, покрытым копотью и паутиной. Нам было тяжело и тошно в толстых стенах, разрисованных пятнами грязи и плесени» <sup>70</sup>. Необыкновенно выразителен в этом смысле и конец повести Горького «Трое». «Холодная, серая каменная стена встала перед» <sup>71</sup> Ильей Луневым, и об нее он разможил свою голову, так что вывалился мозг. Можно отметить, что головой пытаются пробить стену прокаженные в «Стене» (1901) Андреева, так что «крово-серым пятном выступали на стене мозги» (1, 144).

Известно, что «стена» у Андреева многозначна. В письме к читательнице А. М. Питалевой от 31 мая 1902 года Андреев так

<sup>68</sup> А. Вересаев. Собр. соч. в пяти томах. Т. 5, М., 1961, с. 405.

<sup>69</sup> А. П. Чехов. Собр. соч. в 12 тт. Т. VII, М., 1956, с. 172.

<sup>70</sup> М. Горький. Собр. соч. в 30 тт. Т. 4, М., 1950, с. 279.

<sup>71</sup> Там же. Т. 5, с. 289.

разъяснял смысл своей «Стены»: «Стена» — это все то, что стоит на пути к новой, совершенной и счастливой жизни. Это, как у нас в России и почти везде на Западе, политический и социальный гнет; это несовершенство человеческой природы с ее болезнями, животными инстинктами, злобою, жадностью и пр.; это вопросы о цели и смысле бытия, о боге, о жизни и смерти — «проклятые вопросы». Люди перед стеной — это человечество в его исторической борьбе за правду, счастье и свободу, слившейся с борьбой за существование и узко-личное благополучие.<sup>72</sup>

В творчестве Андреева «стена» встречается и в том смысле, в каком она появляется в полемических выпадах «подпольного парадоксалиста» Достоевского. «Невозможность — значит каменная стена? — рассуждает герой «Записок из подполья.» — Какая каменная стена? — Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. <...> Господи боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило». «Человек из подполья» не желает «примириться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен».<sup>73</sup>

Нежелание примиряться, бунт против «стены» в разных ее вариантах находим во многих андреевских произведениях и прежде всего, конечно, в рассказе «Стена» (1901). «Стена» отделяет человека от человека в рассказах «Ложь» и «Город»; «стена» отделяет смерть от жизни в «Молчании»; «стена» как граница познания, «предел умопостигаемого мира» (3,258) в «Анатэме»; «стена» и в «Жили-были», и в «Большом шлеме», и в рассказе «В подвале», и во многих других.

Андреева, как и Достоевского, волновала проблема свободы воли и необходимости, и «стена» как рок, как необходимость предстает в «Жизни человека» и в «Моих записках». Андреев как будто объединяет, можно даже сказать, синтезирует в образе «стены» те значения, в каких она проявлялась и у Чехова, и у Горького, и у Достоевского, и в философской литературе.

Необходимо отметить, что синтезирование символических образов, входящих в разные системы, связанных с разными литературными традициями, с романтической и реалистической линиями развития, является вообще характерным признаком искусства XX века. Прежде всего это проявляется у символистов, с которыми Андреев в этом плане сближался, хотя не был существенно связан ни идейно, ни литературно.

<sup>72</sup> «Звезда», 1925, № 2, с. 257.

<sup>73</sup> Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в десяти томах. Т. 4, М., 1956, с. 142. В дальнейшем ссылки на данное издание в тексте с указанием тома (римской цифрой) и страницы (арабской цифрой).

Однако в бунте против «стены» Андреев как будто продолжает линию «человека из подполья» Достоевского. Бунт против «стены» является у Андреева чуть ли не назначением человека, своеобразным «законом природы» человека, проявлением истинно человеческого. Пусть «стена» стоит несокрушимо, но человек, коли он человек, не имеет права успокаиваться, примиряться с ней, а должен биться, бороться, ибо без этого она никогда не падет. Только в бунте, в борьбе есть надежда. Ситуация человека перед «стеной» у Андреева не абсолютно безнадежна. В некоторых произведениях он определенно утверждает возможность победы. В статье о «Дикой утке» Ибсена, написанной в 1901 году, он писал даже сверхоптимистически: «Остается только то, что полезно для жизни; все вредное для нее рано или поздно гибнет, гибнет фатально, неотвратимо. Пусть сегодня оно стоит несокрушимой стеной, о которую в бесплодной борьбе разбиваются лбы благороднейших людей, — завтра оно падет. Падет, ибо оно вздумало задержать самую жизнь» (6,336). «Стены падают» — так многозначительно назвал Андреев главу из «Рассказа о семи повешенных». Весьма примечательно, что в тот момент, когда строят революционные баррикады, героине «Из рассказа, который никогда не будет окончен» кажется, что «как будто падают, падают какие-то стены — и так просторно, так широко, так вольно!» (4,147).

Лишь герой «Моих записок» у Андреева не только примиряется со стенами тюрьмы, но и пытается оправдать и освятить ее, найти в ней высшую целесообразность и красоту. Писатель едко высмеивает этого своего героя и его тюремную философию. Можно сказать, что герой «Моих записок» в чем-то очень похож на воображаемых оппонентов «подпольного человека», когда они кричат, основываясь на законах природы, выводах естественных наук и математики: «Помилуйте, <...> восставить нельзя: это дважды два четыре! <...> Вы обязаны принимать ее <природу — В. Б.> так, как она есть, а следовательно, и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена» (IV, 142). Вспомним, что герой «Моих записок» — доктор математики и «хорошо знаком с естественными науками» (3, 193). И он постоянно подчеркивает, что выведенная им «формула железной решетки» основана на выводах разума и науки, что она лишь «простая, трезвая, честная математическая формула» (3, 221). А эта «формула железной решетки» есть, по существу, утверждение того, что «стена и есть стена» и, стало быть, нечего рыпаться. Определенную близость «Моих записок» можно увидеть и с «Крокодиллом» Достоевского. Вообще, в «Моих записках» Андреева очевиднее всего, как теперь принято писать, «перекличка» с Достоевским. Но «Мои записки» написаны в 1908 году, когда Андреев уже подпал под сильное влияние Достоевского. А «стена» встречается у Андреева уже в раннем творчестве, но, повторяем, в этот период она восходит не только к Достоевскому.

Думается, что примерно то же самое можно сказать о «бездне» у Андреева. Рассказ «Бездна» (1902) сам Андреев связывал с влиянием Л. Толстого. Прочитав в «Биржевых ведомостях» резкий отзыв Толстого о «Бездне», Андреев в тот же день, 31 августа 1902 года, написал А. А. Измайлову: «Читали, конечно, как обругал меня Толстой за «Бездну»? Напрасно это он, — «Бездна» — родная дочь его «Крейцеровой сонаты», хоть и побочная.»<sup>74</sup>

Однако в «Крейцеровой сонате», хотя и говорится о страшной власти полового влечения, о «падении», само слово «бездна» употреблено лишь в сочетании — «бездны несчастья».<sup>75</sup> У Достоевского же «бездна» встречается довольно часто. Дмитрий Карамазов в «Исповеди горячего сердца» признается: «Потому что я Карамазов. Потому что если уж полечу в бездну, то так-таки прямо, головой вниз и вверх пятаями, и даже доволен, что и именно в унижительном таком положении падаю и считаю это для себя красотой. И вот в этом позоре я вдруг начинаю гимн» (IX, 137). Примерно так же характеризует Дмитрия Карамазова в своей речи прокурор: «Вероятнее всего, что в первом случае он был искренно благороден, а во втором случае так же искренно низок. Почему? А вот именно потому, что мы природы широкие, карамазовские, <...> способные вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения. <...> Две бездны, две бездны, господа, в один и тот же момент» (X, 243). Поступки Дмитрия вполне соответствуют этим характеристикам.

Необходимо добавив, что широта природы и склонность «заглянуть в самую бездну» казалась Достоевскому одной из важнейших черт народного характера. В «Дневнике писателя» за 1873 год, указывая на «два народных типа, в высшей степени изображающих народ в целом», он писал: «Это, прежде всего, забвение всякой мерки во всем (и заметьте, всегда почти временное и преходящее, будто являющееся как бы каким-то навождением). Это — потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее на половину, заглянуть в самую бездну и, — в частных случаях, но весьма нередких — броситься в нее, как ошалелому, вниз головой. Это — потребность отрицания в человеке, иногда самом неотрицающем и благоговейшем, отрицания всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей ее полноте <...>. Особенно поражает та торопливость, стремительность, с которою русский человек спешит иногда заявить себя, в иные характерные минуты

<sup>74</sup> Письма Л. Н. Андреева к А. А. Измайлову (Публикация В. Гречневой). — «Русская литература», 1962, № 3, с. 198.

<sup>75</sup> Л. Н. Толстой. Собр. соч. в двадцати томах. Т. 12. М., 1964, с. 175,

своей или народной жизни, заявить себя в хорошем или поганом. Иногда тут просто нет удержу». <sup>76</sup>

О «безднах» писал А. Волынский, много рассуждал о «двух безднах» — «бездне духа» и «бездне плоти» — в своих литературно-критических и публицистических статьях и книгах Д. Мережковский. <sup>77</sup> Более того, в этих «двух безднах», по Мережковскому, находит выражение та же борьба Христа с Антихристом, на которой была основана вся его концепция мирового развития. Здесь уместно вспомнить слова Дмитрия Карамазова: «Тут дьявол с богом борется, а поле битвы — сердца людей» (IX, 139). Слова эти явились своеобразным выводом из размышлений о «сладострастии» насекомых, порождающем бури в карамазовской крови, о страшной и таинственной силе красоты, о борьбе в душе человека «идеала мадонны» с «идеалом содомским».

Две бездны можно обнаружить также в рассказе Андреева «Бездна». В начале рассказа автор заостряет внимание на юной красоте и чистоте своих героев: «И как и речь, все у них было молодое, красивое и чистое: стройные, гибкие фигуры, словно пронизанные воздухом и родные ему, легкая упругая поступь и свежие голоса, даже в простых словах звучащие задумчивой нежностью, так, как звенит ручей в тихую весеннюю ночь» (4, 179—180). И говорят они «все об одном: о силе красоты и бессмертии любви» (4, 179). Здесь все даже слишком красиво и «воздушно». Так же возвышенно-красиво описывает автор зарождение молодого целомудренного чувства любви: «— Вы могли бы умереть за того, кого любите? — спросила Зиночка, смотря на свою полудетскую руку.

— Да, мог бы, — решительно ответил Немовецкий, открыто и искренно глядя на нее. — А вы? — Да, и я, — она задумалась. — Ведь это такое счастье: умереть за любимого человека. Мне очень хотелось бы.

Их глаза встретились, ясные, спокойные, и что-то хорошее послали друг другу, и губы улыбнулись» (4, 181). На «бездну неба» определенно спроецирован их разговор о бесконечности.

Но уже через некоторое время тот же Немовецкий, ощущая под руками голое податливое тело только что изнасилованной Зиночки, испытывает «жгучее сладострастие». Он чувствует «перед собой какую-то бездну, темную, страшную, притягивающую» (4, 190). «И черная бездна поглотила его» (4, 191), — так закончил рассказ Андреев. Это уже «бездна плоти», если воспользоваться символом Мережковского.

«Бездна» Андреева как будто сделана по Достоевскому и его интерпретаторам — символистам, причем «идеал мадонны» и

---

<sup>76</sup> Ф. М. Достоевский. Полн. соб. соч., т. 10. СПб., 1906, с. 190.

<sup>77</sup> См. А. Л. Волынский. Достоевский. СПб., 1906, с. 575; Д. С. Мережковский. Л. Толстой и Достоевский. СПб., 1901, с. 368—370.

«идеал содомский», «бездна духа» и «бездна плоти» предстают в рассказе в предельно сгущенном и сближенном виде. Однако же Андреев, видимо, недаром назвал «Бездну» «родной дочерью» «Крейцеровой сонаты» Толстого. И действительно, родство «Бездны» с «Крейцеровой сонатой» и «Воскресением» очевидно. Особенно близка «Бездне» история соблазнения Катюши Нехлюдовым. Вспомним, что Нехлюдов тоже испытывает в раннее пасхальное утро светлое и чистое чувство любви к Катюше. «В любви между мужчиной и женщиной бывает всегда одна минута, когда любовь эта доходит до своего зенита, когда нет в ней ничего сознательного, рассудочного и нет ничего чувственного. Такой минутой была для Нехлюдова эта ночь светло Христова воскресения,<sup>78</sup> — писал Толстой. Но затем в Нехлюдове побеждает «животное чувство, выпроставшееся из-за прежнего чувства хорошей любви».<sup>79</sup>

Характерно, что и у Толстого и у Андреева, пробуждение «зверя», «животного чувства» в человеке раскрывается параллельно с описанием темного, ужасного в природе. У Андреева ужасное предвещает «темная туча», которая затем расплзается по всему небу, заволакивая землю «тьмой». Очнувшись во рву после избиения, Немовецкий видит над собой «куст с черными широкими листьями» и «разрезанный месяц», который «светил холодно, печально и одиноко» (4, 188). В «Воскресении» Нехлюдов, соблазнив Катюшу, вышел под утро на крыльцо. Идущее затем описание весенней природы у Толстого очень выразительно: «На дворе было светлее; внизу на реке треск и звон и сопенье льдин еще усилилось, и к прежним звукам прибавилось журчанье. Туман же стал садиться вниз, и из-за стены тумана выплыл ущербный месяц, мрачно освещая что-то черное и страшное»<sup>80</sup> <Разрядка здесь и в вышеприведенных отрывках из «Бездны» Андреева моя — В. Б.>.

Еще более «толстовским» следует признать рассказ Андреева «В тумане» (1902), о котором, как известно, и сам Толстой отзывался одобрительно. Через весь рассказ проходит зловещий образ «желтого», «гнилого», «грязного городского тумана», в котором задыхаются и гибнут люди и цветы. В этом желтом тумане проваливаются «куда-то в черную яму» (7, 132) светлые воспоминания Павла Рыбакова, искажается и загрязняется его чувство чистой любви. И в конце он страшно гибнет, зарезав кухонным ножом проститутку и затем зарезавшись сам.

Эта последняя сцена накалом обоюдной ненависти, бешенства напоминает несколько сцену убийства жены Позднышевым в «Крейцеровой сонате» Толстого. Еще в «Крейцеровой сонате» можно отметить слова Позднышева: «Так мы и жили, в постоян-

<sup>78</sup> Л. Н. Толстой. Собр. соч. в двадцати томах. Т. 13. М., 1964, с. 68.

<sup>79</sup> Там же, с. 71.

<sup>80</sup> Там же, с. 74.

ном тумане, не видя того положения в котором мы находились.»<sup>81</sup> И еще из его рассказа: «Ну, и стали жить в городе. В городе несчастным людям жить лучше. В городе человек может прожить сто лет и не хватиться того, что он давно умер и сгнил.»<sup>82</sup>

Конечно, при всем родстве и близости к Толстому и Достоевскому, и «Бездна», и «В тумане» — необыкновенно характерные андреевские произведения. И «бездна» очень органично вписывается в его творчество, ибо является выражением его концепции человека.

Известно, что посвященные так называемому «половому вопросу» «Бездна» и «В тумане» вызвали в печати скандальный шум и обвинения в порнографии и клевете на человеческую природу. Андреев в ответ напечатал в «Курьере» гневную статью, в которой, указав на ряд конкретных фактов насилия и жестокости, разоблачал ложь и лицемерие современного общества. «Можно быть идеалистом, — писал он, — верить в человека и конечное торжество добра и с полным отрицанием относиться к тому современному двуногому существу без перьев, которое овладело только внешними формами культуры, а по существу в значительной доле своих убеждений и инстинктов осталось животным.»<sup>83</sup> Андреев собирался написать и напечатать во втором издании сборника рассказов рядом с «Бездной» «Анти-бездну» «в целях всестороннего и беспристрастного освещения подлещки-благородной человеческой природы.»<sup>84</sup>

Концепция «подлещки-благородной человеческой природы» отчетливо проявляется и в вышеприведенной авторской интерпретации «Стены». Одной из «стен» является и «несовершенство человеческой природы с ее болезнями, животными инстинктами, злобою, жадностью и пр.» В том же письме к читательнице Андреев, развивая свой взгляд на человечество и человеческую природу, писал: «Прокаженный — это воплощение горя, слабости и ничтожности и жестокой несправедливости жизни. В каждом из нас есть частица прокаженного».<sup>85</sup>

В связи с этим Андреев возражал против поверхностного, «школьного» взгляда на человека. «Все эти бытовики, — говорил он, — те, что верят в человека, «утверждают» жизнь — менее всех знают и жизнь и человека. Знают школьно, литературно. Это-то знание и наделает когда-либо бед. Самое важное ведь скрыто в глубинах человеческих, неожиданно для нас самих.»<sup>86</sup>

<sup>81</sup> Там же, т. 12, с. 175.

<sup>82</sup> Там же.

<sup>83</sup> Джемс Линч. Москва, Мелочи жизни. — «Курьер» 1902, № 27, 27 января.

<sup>84</sup> «Литературное наследство». т. 72, с. 135.

<sup>85</sup> «Звезда», 1925, № 2, с. 257.

<sup>86</sup> Л. Клейнборг. Встречи. Леонид Андреев. — «Былое», 1924, № 24, с. 174.

Это, несомненно, близко тому, что писал Достоевский о себе: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души человеческой.»<sup>87</sup> К этому широко известному высказыванию Достоевского можно добавить еще одно из записной тетради 1876—1877 гг.: «Реалисты неверны, ибо человек есть целое лишь в будущем, а вовсе не исчерпывается весь настоящим. В одном только реализме нет правды.»<sup>88</sup>

Именно концепцией человека и пониманием задач познания человека в искусстве Андреев более всего приближается к Достоевскому. Для Андреева, как и для Достоевского, источники, причины зла не только в среде и в несовершенных социальных и общественных условиях жизни человека, но и в самом человеке. Не будем приводить всех достаточно хорошо известных возражений Достоевского против теории «среды», а укажем лишь на запись в тетради 1876—1877 гг.: «Зло-злом... Надобно было уничтожить причины преступлений (среду). Но не в одних причинах преступление, не в среде».<sup>89</sup>

Андрееву, видимо, было известно выступление Достоевского в «Дневнике писателя» за 1877 год по поводу «Анны Карениной» Толстого (судя по письмам и высказываниям Андреева, он довольно много и внимательно читал Достоевского). Достоевский писал о Толстом, противопоставляя его взгляд на человека взгляду западно-европейского мира: «Во взгляде же русского автора на виновность и преступность людей ясно усматривается, что никакой муравейник, никакое торжество «четвертого сословия», никакое уничтожение бедности, никакая организация труда, не спасут человечество от ненормальности, а следственно и от виновности и преступности. Выражено это в огромной психологической разработке души человеческой, с страшной глубиной и силою, с небывалым доселе у нас реализмом художественного изображения. Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходит из нее самой, и что, наконец, законы духа человеческого столь еще не известны, столь неопределенны, и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных.»<sup>90</sup>

Открытый спор с идеями утопического социализма и всей просветительской концепцией человека Достоевский повел в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) и особенно

<sup>87</sup> Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. т. 1. Спб., 1883, с. 373.

<sup>88</sup> «Литературное наследство». т. 83, с. 628.

<sup>89</sup> Там же, с. 538.

<sup>90</sup> Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1877 г. СПб., 1878, с. 188—189.

резко в «Записках из подполья» (1864). Однако новая концепция человека в совершенно осознанном виде проявляется уже в «Записках из Мертвого дома» (1860—1862). В этой «очерковой», «документальной» книге Достоевский вывел неожиданного, «нерассудочного», «неразумного» человека, которому свойственны «внезапные взрывы», «судорожное проявление личности», «желание заявить себя», вдруг появляющееся и доходящее до злобы, до бешенства, до омрачения рассудка, до припадка, до судорог» (III, 473). Проявляя «своеволие», этот человек нередко поступает вопреки рассудку, «расчету» и своей собственной пользе и выгоде. «Так, может быть, — писал Достоевский, — заживо схороненный в гробу и проснувшийся в нем, колотит в свою крышку и силится сбросить ее, хотя, разумеется, рассудок мог бы убедить его, что все его усилия останутся тщетными. Но в том-то и дело, что тут уж не до рассудка: тут судорога» (III, 473). (Опять «стена» — бунт против стены!).

И «подпольный человек» ведет спор с теорией разумного эгоизма и идеалом «хрустального дворца», основываясь прежде всего на своем представлении о человеке, которому, по его мнению, важнее и дороже расчета и выгоды «свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, — вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту» (IV, 153). Но наиболее веским опровержением идей утопического социализма является сам герой — «человек из подполья», если можно так сказать, сам факт его существования. Просветительским идеям и утопическому социализму Достоевский не противопоставляет новой, более стройной и совершенной теории. Для повести вообще характерно противопоставление «теории» — «живой жизни», рассудочному теоретизированию — живого непосредственного чувства. В этой оппозиции протекает и конфликт героя с Лизой.

Несостоятельность просветительских идей, неосуществимость мечтаний социалистов-утопистов о «хрустальном дворце» доказывается не теоретически, а посредством изображения нового в литературе человека, нового типа сознания, новой психологии. Достоевский поставил под сомнение «естественного», «природного», «разумного» человека просветителей, человека от природы доброго, человека с однозначным «разумным» сознанием. Он вывел своего «антигероя» с «подпольными мыслями», со стихией иррационального, бессознательного.

Для Достоевского «человек из подполья» не был каким-то исключительным нравственным уродом. «Я горжусь, — писал он в 1875 году, — что впервые вывел настоящего человека русского большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону».<sup>91</sup> Более того, он считал, что «подпольный

человек есть главный человек в русском мире». <sup>92</sup> Тем самым, черты «подпольного человека» оказываются не единичными и входят в более общую концепцию характера русского человека и человека вообще. Что это так, мы ясно видим в больших романах Достоевского.

И у Андреева человек обычно является не «рассудочным», не «разумным», а стихийно-неожиданным, своевольным, «широким» и трагическим. В андреевском человеке тоже сильна стихия иррационального, бессознательного, власть инстинктов. Для него тоже человек есть тайна. В понимании природы человека — в этом коренном для писателя вопросе — Андреев, несомненно, близок к Достоевскому, хотя он сам и не всегда ощущал и осознавал эту близость.

Поэтому, несмотря на всю глубину идеологических расхождений и отрешивание от Достоевского как «чужого», и в начальном периоде творчества Андреева можно выделить ряд произведений, в которых он в той или иной степени опирался на художественный опыт Достоевского.

Наибольший интерес в этом отношении представляет рассказ «Мысль» (1902), в котором Андреев обратился к теме «преступления и наказания», столь важной и характерной для Достоевского.

Герой рассказа доктор Керженцев — идейный убийца. В его преступлении совершенно отсутствует тот социальный мотив, который, хотя и не будучи главным, все же был у Раскольниковца. Керженцев совершает подлости «от ума». Он и Савелова убивает, чтобы самому себе доказать, что он может, что он способен на это. Убийство для него «опыт», эксперимент, проба собственных сил. Как мы помним, и Раскольников «только попробовать сходил» (V, 438), чтобы «поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить, или не смогу!» (V, 437).

Для Керженцева пробой являлась и кража доверенных ему товарищеских денег. Не нуждаясь, он нагло украл 15 рублей у своих голодных товарищей-студентов, чтобы «самому себе доказать», что не будет испытывать «угрызений совести» (2, 104). Этот рассказанный Керженцевым «интересный факт» о себе прямо напоминает исповедь Ставрогина, в которой он тоже рассказывает о краже денег у бедного чиновника. <sup>93</sup> В ставрогинском духе — «Я пробовал везде мою силу» (VII, 701) — пробует еще свои силы Керженцев, отправившись ночью к горничной Кате, когда рядом в зале дьячок читал над телом его умершего отца. «Пикантность» ситуации усиливается тем, что Катя

<sup>91</sup> «Литературное наследство». т. 77. М., 1965, с. 342.

<sup>92</sup> «Литературное наследство». т. 83, с. 314.

<sup>93</sup> См. Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в тридцати томах. т. 11. Л., 1974, с. 15.

до этого была одновременно и любовницей Керженцева и его отца. Керженцев так вспоминал об этом своем «подвиге»: «Это, гг. эксперты, была жестокая битва, и победа не дешево досталась мне. Ставкой была моя жизнь. Струсь я, поверни назад, окажись неспособным к любви — я убил бы себя. Это было решено, я помню. <...> Сейчас мне уже трудно воспроизвести в памяти пережитое, но чувство, помнится, у меня было такое, будто одним поступком я нарушаю все законы, божеские и человеческие. <...> Помню, гг. эксперты, что, возвращаясь от Кати, я остановился перед трупом, сложил руки на груди, как Наполеон, и с комической гордостью посмотрел на него» (2, 117).

Раскольников тоже думает о Наполеоне и пытается по своему уподобиться ему: «я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил» (V, 433). Однако, если Раскольников в своей «наполеоновской» идее трагичен, то Керженцев, принимающий позу Наполеона, мелок и трагически смешон. В своих пробах Керженцев более напоминает Ставрогина, который тоже испытывал свою колоссальную силу нередко мелко и подло.<sup>94</sup>

Керженцев и после убийства не испытывает раскаяния. Он считает себя выше, сильнее Раскольникова, «этого так жалко и так нелепо погибшего человека» (2, 103). Но здесь и прямое указание на некоторое духовное родство. В «Мысли» Андреев вслед за Достоевским указал на огромную опасность, кроющуюся в безнравственном индивидуалистическом разуме. Вслед за Достоевским он показал и крах индивидуалистического сознания, его саморазрушение. Для Андреева, как и для Достоевского, характерно подчеркивание буржуазности, расчета в героях — индивидуалистах. Идеи Раскольникова, делящего людей на обыкновенных и необыкновенных, на полезных и бесполезных, Керженцев доводит до крайности. Он холодно расчетлив, без-

<sup>94</sup> В ставрогинских «категориях» становятся более понятными и возражения Андреева в споре с Горьким по поводу рассказа «Из глубины веков» (1904). Андреев писал Горькому: «Не согласен я с тобой кое в чем по существу: превращение царя в скота и обратно это не вульгарное оправдание анииме скотства, а, точнее, его оправдание, т. е. признание за скотством некоторой весьма даже своеобразной красоты и смысла. <...> Мне царь нужен, мне нужен хоть и призрачный образ одинокого, свободного и смелого человека, который заглянул во все дыры мироздания, который отверг славу, могущество, мудрость во имя чего-то лучшего, имени чего я не знаю. Это не свобода, так как и свободу он, в сущности, отверг — по крайней мере, внешнюю. Быть может, это безграничный произвол наглости, высшее утверждение своего «я» на своих собственных развалинах» («Литературное наследство», т. 72, с. 212). Нечто в этом роде звучит в признании Ставрогина о наслаждении, испытываемом от собственной низости: «Всякое чрезвычайно позорное, без меры унижительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, невероятное наслаждение. <...> Если бы я что-нибудь крад, то я бы чувствовал при совершении кражи упоение от сознания глубины моей подлости. Не подлость я любил (тут рассудок мой бывал совершенно цел), но упоение мне нравилось от мучительного сознания низости» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в тридцати томах, т. 11, с. 14).

душно утилитарен, и даже не старается прикрыть эгоизма своей «арифметики»: «Я был единственный человек, которого я уважал, — как же мог я рискнуть отправить этого человека в каюту, где его лишат возможности вести необходимое ему разнообразное, полное и глубокое существование! <...> Я очень удачно врачую; не нуждаясь в средствах, я лечу много бедняков. Я полезен. Наверно полезнее, чем убитый Савелов» (2, 105). Следует подчеркнуть, что Андреев, уличая Керженцева в буржуазности, никоим образом не приравнивает его идеи к революционным, что обычно делал Достоевский.

Думается, что Андреев в «Мысли» сближается с Достоевским не только в идейном плане — в изображении краха индивидуалистического сознания. Он идет по пути Достоевского-художника, пытаюсь усвоить его принципы создания характера.

Доктор Керженцев — не только идейный убийца, но и «герой-идеолог», «человек идеи», как определяет героев Достоевского М. Бахтин. У Керженцева его идея доходит, как и у большинства героев Достоевского, до маниакальности. Но важнее то, что идея Керженцева — «чужая идея», с которой авторский голос не сливается и которую он не пытается вобрать в себя.

Форма записок, рассказа от «я» в «Мысли» очень близка к исповедническим произведениям Достоевского, к «Запискам из подполья» прежде всего. Если мы вспомним, как М. Бахтин рассматривает «Записки из подполья», то увидим, что это во многом приложимо к «Мысли» Андреева. «В исповеди «человека из подполья», — пишет М. Бахтин, — нас прежде всего поражает крайняя и острая внутренняя диалогизация: в ней буквально нет ни одного монологически твердого, неразложенного слова. Уже с первой фразы речь героя начинает корчиться, ломаться, под влиянием превосходящего чужого слова, с которым он с первого же шага вступает в напряженнейшую внутреннюю полемику». <sup>95</sup> Внутренняя диалогизация характерна и для письменных объяснений доктора Керженцева: он все время спорит с «гг. экспертами», превосходяет их возражения.

Керженцев не только «человек идеи», но и личность, проявляющая себя интеллектуально необыкновенно активно, личность, обладающая огромной волей. Он — «Лицо», если пользоваться терминологией Достоевского. О таких людях Достоевский говорил: «Это человек идеи. Идея обхватывает его и владеет им, но имея то свойство, что владеет в нем не столько в голове, сколько воплощаясь в него, переходя в натуру, всегда с страданием и беспокойством, и уже раз поселившись в натуре требуя и немедленного приложения к делу». <sup>96</sup>

<sup>95</sup> М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. второе, перераб. и доп. М., 1963, с. 306.

<sup>96</sup> Записные тетради Ф. М. Достоевского. Подготовка к печати Е. Н. Коншиной. М.—Л., 1935, с. 90.

Начиная с «Рассказа о Сергее Петровиче» (1900), Андреев обращается к исследованию духовного и нравственного сознания «российского интеллигента». Сергей Петрович и доктор Керженцев по-разному усваивают и превращают в действие ницшеанские идеи, оказавшие заметное влияние на русскую мысль в 1890-е гг. Керженцев определенно мнит себя ницшеанским «сверхчеловеком»: «Для меня нет судьбы, нет закона, нет недозволенного. Все можно. Вы можете представить себе мир, в котором нет законов притяжения, в котором нет верха, низа, в котором все повинуетя только прихоти и случаю? Я, доктор Керженцев, этот новый мир. Все можно» (2, 136). Идеи доктора Керженцева отчетливо соотносятся с идеями, которые проповедовали декаденты 1890-х гг. Минский, Бальмонт, Брюсов и др.<sup>97</sup>

Керженцев соотносится с Раскольниковым (даже фамилия Керженцева указывает на раскол), соотносится он также со Ставрогиним и другими «испытателями» у Достоевского, но является он порождением новой, современной Андрееву эпохи.

Продолжая исследование духовного и нравственного сознания своих современников, Андреев изображал героев-идеологов и в «Жизни Василия Фивейского», и в «Тьме», и в «Моих записках», и в «Сашке Жегулеве». Такие же герои населяют его драмы «К звездам» и «Савва». Анализируя драму Андреева «К звездам», Ю. Чирва пришел к выводу: «Герои Андреева проявляют себя не только как люди напряженных духовных исканий. Это фигуры социально психологически обрисованные. Они ближе образам Достоевского, чем Чехова. Ведущее место в художественной структуре принадлежит идейным мотивам».<sup>98</sup>

Сближаясь в понимании натуры человека, Андреев осваивал художественный опыт Достоевского и в плане мотивировки действий и поступков героев. Мы знаем, какое значение у Достоевского имело «вдруг». Частое употребление Достоевским слова «вдруг» отметил еще А. Вольтинский: «Все у него совершается вдруг, внезапно, неожиданно. Почти везде, где является в романе Дмитрий, художник употребляет это слово «вдруг», передающее темп его жизни, это бурное половодье чувств, которое быстро переносит зарождающиеся ощущения, мысли из бездеятельных сфер внутреннего созерцания в область страстных движений и поступков.»<sup>99</sup>

Как подсчитал В. Н. Топоров, на 417 страницах «Преступления и наказания» «вдруг» употребляется около 560 раз. «При

---

<sup>97</sup> На это уже указала Л. А. Иезунтова. См. Л. А. Иезунтова. «Преступление и наказание» в творчестве Л. Андреева. — В сб.: *Метод и мастерство*. Выпуск I. Русская литература. Вологда, 1970, с. 337.

<sup>98</sup> Ю. Чирва. *Вселенная, человек, история*. — «Нева», 1971, № 9, с. 180.

<sup>99</sup> А. Л. Вольтинский. *Достоевский*. СПб., 1906, с. 177. См. также: П. М. Бицилли. *К вопросу о внутренней форме романа Достоевского*. В сб.: *O Dostoevskom. Stat'i. Introduction by Donald Fanger*. Brown University Press, 1966, p. 9.

этом, — указывает В. Н. Топоров, — максимальная частота употребления приходится на сюжетные шаги, совпадающие с переходами, и на описание смены душевных состояний.»<sup>100</sup> «Вдохновение Достоевского начинало работать тогда, когда оно сосредотачивалось на изломе, на потрясении, на взрыве событий, происходящих вдруг, неизвестно откуда взявшись и обещая неизвестно какие результаты. Очень часто встречающееся у Достоевского «вдруг» — это не стилистический оборот, а историко-философское понятие, своеобразное объяснение перемен в жизни общества и в жизни человека». «Вдруг» пришли, по представлению Достоевского, 60-е годы. Словом «вдруг» мотивируются поступки почти всех героев Достоевского, все связанные с ним сюжетные повороты в «Преступлении и наказании» и в других романах»,<sup>101</sup> — пишет В. Я. Кирпотин.

Достоевский придавал большое значение неожиданно совершающемуся в человеке повороту к добру и любви: «дурной человек, делающийся вдруг прекрасным в обороте жизни при наитии нормальных, естественных чувств. Это христиански-хорошо».<sup>102</sup> Интересно отметить, что комментируя эту запись, Л. М. Розенблюм оценивает «вдруг» у Достоевского несколько по-иному, чем другие исследователи: «Впечатление неожиданности происходящей перемены («вдруг») в значительной степени внешнее. Так оно подчас воспринимается окружающими и даже самим героем, но Достоевскому — психологу удается показать, как исподволь подготовливалось это «вдруг», «наитие» новых мыслей и чувств. Не «вдруг» принес покаяние Родион Раскольников, не «вдруг» восстала против своих оскорбителей Настасья Филипповна (хотя всем показалось, что именно так), не «вдруг» решил пострадать за «дите» Митя Карамазов, не «вдруг» брат его Иван явился в суд дать показания об истинном убийце Федора Павловича. И не «вдруг» герой рассказа «Кроткая» пришел одновременно и к духовному возрождению и к полной катастрофе».<sup>103</sup> В этом рассуждении есть доля правды: Достоевский нередко действительно психологически мотивирует неожиданные преобразования своих героев. Однако происходят они все же вдруг. Именно происходят, если можно сказать, в самом деле, а не в восприятии окружающих, героя и даже автора.

У Андреева само слово «вдруг» встречается совсем не так часто, как у Достоевского, но и у него герои проявляют себя внезапно, неожиданно. Вдруг городской Баргамот повел пьянчужку

<sup>100</sup> В. Н. Топоров. О структуре романа Достоевского в связи с архаичными схемами мифологического мышления (Преступление и наказание). В сб.: Structure of Texts and Semiotics of Culture. Edited by Jan van Eng and Moimir Grygar. The Hague—Paris, 1973, p. 234.

<sup>101</sup> В. Я. Кирпотин. Достоевский-художник. М., 1972, с. 24.

<sup>102</sup> «Литературное наследство». т. 83, с. 447.

<sup>103</sup> П. М. Розенблюм. Творческие дневники Достоевского. — «Литературное наследство». т. 83, с. 86.

Гараську к себе домой разговляться, вместо того, чтобы вести его в участок. «Вдруг» увидел на елке воскового ангелочка Сашка, и все его мысли и желания сосредоточились на нем, как будто это было то, «чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые» (1, 44). Вдруг ощутил «иностранец» Чистяков горячую любовь к родине. И «она разбила оковы, в которых томилась его душа» (4, 166).

У Андреева очень часто вдруг возникшее чувство, новая мысль, как внезапное озарение, наитие именно «разбивают оковы души». Так произошло со священником Василием Фивейским. Среди людей он жил обособленно, отчужденно от всех, «окованный своею неподвижною думой» (3, 36). Но «внезапно» на исповеди оковы, разобщающие его с людьми, разрушаются, и в его сознание входит мир других людей. «Странные дни начались для о. Василия, и небывалое творилось в уме его. До сих пор было так: существовала крохотная земля, и на ней жил один огромный о. Василий со своим огромным горем и огромными сомнениями, — а других людей как будто не жило совсем. Теперь же земля выросла, стала необъятною и вся заселилась людьми, подобными о. Василию. Их было множество, и каждый из них по-своему жил, по-своему страдал, по-своему надеялся и сомневался, и среди них о. Василий чувствовал себя как одинокое дерево в поле, вокруг которого внезапно <Разрядка моя — В. Б.> вырос бы безграничный и густой лес» (3, 37).

Вдруг познав новую правду, поразившую его, совершенно изменился террорист из рассказа «Тьма». И очень характерно, как Андреев описывает ощущение героя после происшедшего внезапно переворота: «И все свободнее ему становилось и наконец ясно стало, что он такой же, как и был, и совершенно свободен, совершенно свободен и может идти, куда хочет» (2, 165). Следует сказать, что вообще весь рассказ «Тьма» построен на психологических «вдруг», на внезапных поворотах мысли и чувства героя и героини.

Чувство безграничной свободы, воли испытывает также героиня «Из рассказа, который никогда не будет окончен», решившись бросить детей и идти на баррикады. Она говорит мужу: «Не сердись! Сегодня, когда они там застучали и ты еще спал, я поняла, вдруг <Разрядка моя — В. Б.> поняла, что муж, дети, все это — так, все это — пока. Я люблю тебя, очень, — она нашла мою руку и пожалала ее тем же новым, незнакомым мне пожатием, — но ты слышишь, они стучат? Они стучат, и как будто падают, падают какие-то стены — и так просторно, так широко, так вольно!» (4, 147).

С этим внезапным поворотом в душе человека связаны у Достоевского и у Андреева известные надежды на «чудо» преобразования жизни.

В. Н. Топоров подчеркивает, что герой Достоевского «дан незавершенным, недоволопощенным, <...> способным, как и слово, к новым продолжениям (т. е. «открытым»)». «Не случайно, — продолжает он, — что герои Достоевского чаще всего находятся на полпути между добром и злом; обычно они доведены до уровня слабо детерминированной модели, поведение которой в местах перекрещения с новым сюжетным ходом с трудом поддается предсказанию (да и то — вероятностному: «Все, что хочешь, может случиться...»)<sup>104</sup>.

У Андреева тоже герои нередко «открыты», причем «открыты» как в сторону добра, так и в сторону зла. Поэтому нельзя особенно ни в Достоевском, ни в Андрееве напирать на чудо преображения. Вдруг падает в бездну Немовецкий, «неожиданно» схлестнулись в дикой смертельной схватке Павел и проститутка в рассказе «В тумане». Примеры подобного рода можно было бы продолжить, но приведем еще лишь один, в котором, как нам кажется, «вдруг» проявляется очень характерно. Это «Рассказ змеи о том, как у нее появились ядовитые зубы» (1911). Раньше у нее не было яда. Но ее все не любили, мучили и растапывали. «Как это случилось» — я не знаю. Я не питала зла к живущему. <...> И вдруг стала тяжелеть моя голова — как это странно! — стала тяжелеть моя голова. Все такая же маленькая и прекрасная, она вдруг потяжелела страшно, к земле пригнула шею, сделала мне больно. <...>

И вдруг... <...>

И вдруг <Разрядка моя — В. Б.> отяжелел мой взгляд, стал пристальным и странным ... я даже испугалась!» (2, 185).

«Вдруг» у Андреева, как и у Достоевского, меняются не только отдельные личности, но и народы, «вдруг» происходят и великие исторические события. В рассказе «Так было» (1905) Андреев так писал о восставшем народе: «И вдруг <Разрядка моя — В. Б.> стал на дыбы — огромный, взъерошенный зверь, одною минутою свободного гнева мстящий укротителю за все годы унижений и пыток. Как не уговаривались миллионы, чтобы подчиняться, так не уговаривались они для того, чтобы восстать; и сразу <Разрядка моя — В. Б.> отовсюду потекло ко двору восстание» (4, 71).

«Действие, не обусловленное ни историей, ни семейно-бытовыми обстоятельствами, не подготовленное предшествующим развитием, является актом индетерминированной свободы. Достоевский и как художник становится индетерминистом»,<sup>105</sup> — считает В. Я. Кирпотин. Думается, что мы имеем полное право и Андреева назвать в этом смысле индетерминистом.

<sup>104</sup> В. Н. Топоров. О структуре романа Достоевского в связи с архаичными схемами мифологического мышления, с. 230.

<sup>105</sup> В. Я. Кирпотин. Достоевский-художник, с. 25.

Отмечая черты, сближающие Андреева с Достоевским, мы все же ни на минуту не должны забывать, что в этот период они идеологически кардинально расходились, что Андреев вел борьбу с идеями Достоевского. И даже осваивая в решении ряда художественных задач опыт Достоевского, Андреев включал освоенное в свою систему. И. Анненский был прав, когда писал: «Но Леонид Андреев и не может и не хочет быть вторым Достоевским».

## 2.

Явный поворот к Достоевскому произошел у Андреева под влиянием обостренно переживаемой национальной идеи. Привели его к ней раздумья о причинах поражения первой русской революции, неприязнь к западной жизни, что ярко проявляется в его письмах из Германии. Андреев считал, что прогрессивные силы Запада предали русскую революцию, и это усилило неприязнь к Западу, привело к неверию в западные формы борьбы и поискам русского пути.

Интересно, как отмечает эту перемену в Андрееве Горький. Они встретились после долгого перерыва в 1914 году, и для Горького было новым и неожиданным у Андреева глубокое чувство сострадания к народу. «Но вдруг он, — вспоминает Горький, — понизив голос, прищутив глаза, как бы напряженно всматриваясь в будущее, заговорил о русском народе словами, необычными для него, — отрывисто, бессвязно и с великой, несомненно, искренней убежденностью.

Я не могу, — да если б и мог, не хотел бы воспроизвести его речь, сила его заключалась не в логике, не в красоте, а в чувстве мучительного сострадания к народу, в чувстве, на которое в такой силе, в таких формах его — я не считал Леонида Николаевича способным.

Он весь дрожал в нервном напряжении и, всхлипывая, как женщина, почти рыдая, кричал мне:

— Ты называешь русскую литературу — областной, потому что большинство крупных русских писателей — люди Московской области? Хорошо, пусть будет так, но все-таки это — мировая литература, это самое серьезное и могучее творчество Европы. Достаточно гения одного Достоевского, чтобы оправдать даже и бессмысленную, даже насквозь преступную жизнь миллионов людей. И пусть народ духовно болен, — будем лечить его и вспомним, что — как сказано кем-то: «лишь в большой раковине растет жемчужина»». <sup>106</sup>

Чувства любви и сострадания к русскому народу у Андреева не должны были бы быть столь уж неожиданными для Горького. Эти чувства, как мы уже отмечали, проявились еще в

<sup>106</sup> «Литературное наследство». Т. 72. М., 1965, с. 394.

«курьерских» статьях и в ряде произведений. Но в эти годы Андреев был охвачен общим предреволюционным подъемом и надеждами на скорое торжество демократии в России и поэтому тогда не было в этом чувстве мучительной остроты и горечи, не было надрыва. Правда, уже в «Жизни Василия Фивейского» чувствуется «мучительное сострадание» к народу, но во всечеловеческом значении. В повести проявляется сострадание ко всем людям, а не только к Мосягину и другим мужикам как представителям именно русского народа. Я склонен повторить, что в этот период при всей любви к народу Андреев был мало национален.

Интерес к национальным особенностям характера русского человека впервые достаточно отчетливо проявился в драме «Савва» (1906), которую сам Андреев определил как попытку «дать синтез российского мятежного духа в различных крайних его проявлениях». <sup>107</sup> Но по-настоящему национальная идея входит в творческое сознание Андреева начиная с «Тьмы».

В «Тьме» Андрееву важно было подчеркнуть, что террорист Алексей происходил «из старообрядцев». И хотя он жил по английскому паспорту и, чтобы выдать себя за англичанина, говорил на коверканном русском языке, на прямой вопрос Любы он ответил: «Я русский, русский» (2, 141). Отрекаясь от товарищей по борьбе, он — и это необыкновенно важно и характерно — «возвращается к какому-то первоначалу своему — к деду, к прадеду, к тем стихийным первобытным бунтарям, для которых бунт был религией и религия бунтом» (2, 171). Алексей, по мысли автора, не отрекается от борьбы, бунта, а лишь приближается к тьме как к множеству, к народу. Он отрекается от «книжной чуждой мудрости», от «господской» революционности, от терроризма и индивидуализма. Он отрекается, как можно судить по новой концепции Андреева, и от «западных приемов борьбы».

В остром споре, который разгорелся между Андреевым и Горьким в 1912 году об отношении к русскому народу и к Достоевскому <sup>108</sup>, Андреев уже с публицистической прямоотой и четкостью проявляет свою концепцию «Тьмы». «Сам того не чувствуя, в жестоком и несправедливо-огульном осуждении «великоросса» ты сближаешься с господами из «Вех», чуть ли не с Родионовым, — писал Андреев Горькому 28 марта 1912 года. — Ты проклинаешь то самое сектанство, которое в народе всегда было при самых уродливых формах только волею к творчеству и свободе, немеркнувшим бунтарством; великоросса ты считаешь

<sup>107</sup> Неизданные письма Леонида Андреева (К творческой истории пьес периода первой русской революции). — Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 119, Тарту, 1962, с. 385.

<sup>108</sup> См. об этом подробнее в моей статье «Леонид Андреев и Максим Горький». — Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 217, Тарту, 1968, с. 160—166.

способным только к «уходам из жизни», наивно забывая о том — кто же тогда создал это нелепое, но огромное и страшно сильное государство Россию <...>. Говори о варварстве, о некультурности, об исторической отсталости народа, но не говори о слабости и пассивности того, кто так действенно, хоть и грубо создает огромное государство, кого можно упрекнуть разве только в жестокости, но не в мягкости вечного слюнтяйства.

Ты и литературу нашу для удобства положения признал случайностью — как будто здесь возможна случайность, как будто ты сам за несколько строк перед тем не говорил о непреложном «законе истории»; Запад отравил твои глаза приемами своей борьбы, и ты перестал понимать, что наши приемы борьбы совсем другие и что злой гений наш Достоевский есть именно бунтарь, учитель активности и тебя научивший бунту. Лощеное мещанство Запада, как и всякое мещанство, распадается в прах перед лицом Достоевского, а это и есть самая доподлинная и самая постоянная революция.<sup>109</sup>

Андреев, как мы видим, защищая Достоевского, и его причисляет к бунтарям. Это очень характерно. Возлагая надежды на русский народ, Андреев, в отличие от Достоевского, прославляет в народе не смирение, не христианскую жертвенность, а активность, бунтарство. Несмотря на сильное увлечение Достоевским, несмотря на появление в эти годы даже некоторых черт мессианизма в духе «русской идеи» Достоевского, андреевская концепция русского национального характера заметно отличается от концепции Достоевского.

Правда, андреевская концепция народа была сложной. Революционный народ, по Андрееву: «божественно-прекрасен». О нем в «Так было» он писал: «...так это народ! И гордость, и чувство силы, и жажда великой, еще невиданной свободы. Свободный народ — какое счастье!» (4, 82). Но в том же рассказе мы видим и другой народ, вернее тот же народ, но не революционный, а «проникнутый старым рабым страхом» (4, 89). И этот народ, по Андрееву, страшен, это — «тьма».

Изображая рабелепный народ, Андреев в ряде случаев как будто прямо основывается на характеристике народа в словах великого инквизитора, обращенных к Христу: «Я не знаю, кто ты, и знать не хочу: ты ли это, или только подобие его, но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли, знаешь ты это?» (IX, 314). В «Иуде Искарите» Андреева народ требует казни Христа: «И весь народ закричал, завопил, завыл на тысячу звериных и человеческих голосов: Смерть ему! Распни его! Распни его!» (3, 149).

<sup>109</sup> «Литературное наследство». Т. 72, с. 333—334.

Темный народ, побивающий своих пророков, изображен Андреевым и в «Савве» и в «Анатэме».

С новой силой Андреев переживает увлечение Достоевским в связи с постановкой в Московском Художественном театре «Братьев Карамазовых» и «Бесов». Эти постановки сыграли немаловажную роль в становлении новой андреевской концепции театра, как «театра пан-психологического». «Ставя Достоевского, Художественный театр кричал всем драматургам: вот что мне дайте — душу! И этим требованием своим Художественный театр кладет первый камень в основу театра будущего — ибо театр будущего — не символистичен, не реалистичен, ибо театр будущего — театр души»,<sup>110</sup> — писал Андреев в 1913 году Вл. И. Немировичу-Данченко. В «Письмах о театре» он объявляет Достоевского «гением психизма», а постановку его романов в МХТ наиболее значительными достижениями: «Театр уже поднялся на новую высочайшую вершину, называемую «Достоевский»»<sup>111</sup>.

На протяжении почти всего творческого пути Андреев стремился к искусству высокой трагедии, что соответствовало его трагическому мироощущению. Возлагая в связи с начавшейся мировой войной надежды на возрождение трагедии, Андреев вновь обратился к Достоевскому. «Достоевский всегда трагичен — особенно и единственно, пронзительно трагичен, он всегда между богом и дьяволом, его страданий не измерить драматическим аршинчиком»<sup>112</sup>, — писал Андреев 23 февраля 1915 года Вл. И. Немировичу-Данченко.

В этот период Достоевский становится идеалом писателя. Но как обычно случается при возведении крупной личности в идеал, происходит отсечение живых частей, ампутация и кастрация. Хорошо это видно и на примере отношения Андреева к Достоевскому, проявляющегося в «Милых призраках» (1916). Сам Андреев так определил свою задачу: «Это нечто «из Достоевского» — кусочек его психо-биографии. Конечно, все факты, за исключением прихода Некрасова и Белинского, вымышлены, но мне важны были не факты, а его душа, как я ее себе чувствую, образы его души, из которых впоследствии сложились образы его произведений. Вся вещь романтична, и особенно романтична основная идея, которую я стремился провести: о высоком и благородном назначении писателя, как друга всех труждающихся и обремененных».<sup>113</sup>

<sup>110</sup> Письма Л. Н. Андреева к Вл. И. Немировичу-Данченко и К. С. Станиславскому. — В сб.: «Вопросы театра». М., 1966, с. 299.

<sup>111</sup> Альманах издательства «Шиповник», кн. 22. СПб., 1914 с. 262.

<sup>112</sup> Письма Л. Н. Андреева к Вл. И. Немировичу-Данченко и К. С. Станиславскому (1913—1917). Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 266. Тарту, 1971, с. 264.

<sup>113</sup> Цит. по комментариям В. П. Чувакова в кн.: Леонид Андреев. Пьесы. М., 1959, с. 584.

Примерно то же высказал он в беседе с Леонидом Гроссманом: «Не подумайте, что я взялся за драматизацию биографии Достоевского. Нисколько! Он даже носит в пьесе другую фамилию. Я избегаю всякой историчности. Я стремлюсь дать общий психологический облик молодого Достоевского на фоне тех лиц и впечатлений, которые отложились впоследствии творческими образами в его созданиях. Юный Достоевский живет среди Мармеладовых, Лебядкиных, пьяниц, шутов, проституток, загнанных и гордых девушек. Он с ними сталкивается, наблюдает их, вбирает в себя впечатления, которые отольются со временем в образы Аглаи или Сонечки и развернутся в огромные драмы Раскольниковца или «Идиота». Избыток жизненного страдания поражает молодого писателя и подготавливает в нем будущего изобразителя «Униженных и оскорбленных». Сквозь создания Достоевского к его жизни и духу — вот мой путь. Не знаю, историчен ли Достоевский моей пьесе, но думаю, что в каком-то важнейшем плане он глубоко подлинен.»<sup>114</sup>

Достоевский в пьесе — «милый призрак», и это придает образу его (как и всей пьесе) некоторую романтическую сладость и умильность. Правда, автор пытался показать в главном герое сложность души, трагичность и даже некоторую жесткость в отношении к окружающим его людям, которых он рассматривает как писатель отчужденно. Точнее, он одновременно и сопереживает их бедам и страданиям, и смотрит на них со стороны. И все же живого и значительного Достоевского создать не удалось. Андреев жаловался: «Публика не почувствовала трагизма моего Таёжника (герой, воплощающий Достоевского): возвышенность его мысли, душевное боление человеческим страданием, великое милосердие в плане творческих вдохновений — и рядом с этим какая-то суровая душевная складка, неприязнь к конкретному «ближнему», внутренний холод и даже жестокость к любящему существу».<sup>115</sup>

В других персонажах «Милых призраков» легко узнаются герои многих произведений Достоевского, но и они утрачивают свою сложность и глубину и тоже являются несколько призрачными. Однако в пьесе ясно проявляется огромная любовь и уважение к Достоевскому. Если в 1903 году Андреев писал о Достоевском: «он мне чужой», то в 1916 году он говорил: «Из ушедших писателей мне ближе всех Достоевский. Я считаю себя его прямым учеником и последователем. В душе его много темного, до сих пор неразгаданного, — но тем сильнее он влечет к себе.»<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Леонид Гроссман. Борьба за стиль. Опыты по критике и поэтике. «Никитинские субботники», 1927, с. 278.

<sup>115</sup> Там же, с. 279.

<sup>116</sup> Там же, с. 271.

Как мы видели, Андреев на разных этапах своей сложной творческой эволюции по-разному относился к Достоевскому. Но рассматривая творческие «встречи» Андреева с Достоевским, становится совершенно ясно, что Достоевский оказал на андреевское творчество огромное воздействие.

### ВЯЗЕМСКИЙ — ПЕРЕВОДЧИК «НЕГОДОВАНИЯ»

И. А. Паперно, Ю. М. Лотман

Среди бумаг П. А. Вяземского, хранящихся в Остафьевском архиве (ЦГАЛИ), находится документ под условным инвентарным названием «Манифест русского поэта свободы на французском языке». Единица хранения озаглавлена: «Прозаический перевод стихотворения неизвестного автора». Происхождение первого заголовка неизвестно (заманчиво было бы предположить, что оно восходит к самому Вяземскому), второе представляет собой плод ошибки. На самом деле интересующая нас рукопись — незаглавленный автограф П. А. Вяземского, авторский перевод первых 111 стихов «Негодования». Текст имеет признаки черновой рукописи и отражает самый процесс работы Вяземского над переводом. На середине стихотворения Вяземский бросил свой труд. Приводим текст полностью, сохраняя особенности французской орфографии Вяземского.

Французская орфография Вяземского неустойчива и несет на себе печать общего отрицательного отношения поэта к «тирании» грамматических правил. Однако ей присущи и родовые черты, роднящие ее с общими особенностями письменной французской речи русских дворян той эпохи. Так, Б. В. Томашевский, говоря об особенностях орфографии французских текстов Пушкина, отмечал «полное отсутствие акцентов», «неверную постановку акцентов» и «небрежность в расстановке акцентов» «там, где акценты дифференцируют формы». Указав на «систематические ошибки в глагольных формах, где часто встречается смещение созвучных или сходно звучащих форм», Б. В. Томашевский отмечает, что преобладание слуховых ассоциаций над зрительными «вполне объясняется бытовыми условиями употребления французского языка в эти годы». <sup>1</sup> Характеристику эту вполне можно отнести и к французскому языку Вяземского, который также систематически опускает непроницаемые грамматические элементы, в особенности в конце слов, путает единичные и удвоенные согласные и проч. Сохраняются и знаки препинания оригинала.

Loin de moi les fiction les riantes chimeres et le nectar d'une douce ivresse.

J'ai dit un adieu precoce au printems, au printems [au printems] des esperances et des erreurs.

<sup>1</sup> Б. Томашевский, Французская орфография Пушкина в письмах к Е. М. Хитрово, в кн.: «Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово.» 1927, с. 364—365; R. Galland, Французский язык писем Вяземского, Русский литературный архив, N.—Y., 1956.

Avant de l'avoir épuisé, j'ai brisé la coupe des philtres, j'ai demasqué la vie à ses premières perfidies et immolé les prestiges à la [vérité] réalité severe. Les fleur [dont l'enchant] enchanté s'est fannés dans ma main et j'ai arraché d'un front chargé des soucis la couronne inodore de la joie.

Mais ayant depouillé les idoles des fau-Dieux, j'ai consacré mon enthousiasme à la vérité, et plus d'une fois ma Lyre inflexible a retenti de ses mâles accordes.

Mon Apollon est l'indignation. A son feu mon vers hardi s'allume et ma bouche abjure un lache silence.

Indignation! Flamme vivifiante! Germe sacré du tout ce que je ren<f>-  
erme de plus intimes [agité] appelé par toi, je me reveille et brulant d'une noble ardeur j'apprécie la puissance de l'ame et le but de l'existence.

[De toi] Auteur et témoin de tous les mouvements de mon coeur, c'est toi qui m'a garanti d'une [insensibilité stupeur] insensibilité muett: c'est ta voix, qui m'éveillai dans le silence des passions, c'est toi qui est ma vie et ma vertu.

Idolateur de la vérité dans un age où les erreurs ont tous des charmes, c'est la vérité qu'implorait ma bouche et mon coeur, mais le vent dispersait ma prière inintelligible au vulgaire.

C'est la fraude, qui règne <sou> l'image <?> de la vérité. La violence du caprice a foulé les sainteté des droits. [L'imp] L'imprudence au front arrogant, resplendissante d'une gloire coupable préside au conseil des Grands.

J'ai vu les peres des peuples gouverner par la crainte; j'ai vu la flatterie conseiller de <s> Rois. J'ai vu l'honneur avili reprendre les cendres du deuil sur ses cheveux et subir la proscription. J'ai vu la sanctuaire de la justice transformé en marché accesible [a tous] au plus effrayant. La service de la vérité en triomphe de la perfidie. Les lois, instruments sacrés de la Justi-<ce> [ne sont] en bouclier [pour le] du fort et en joug du faible.

J'ai vu des [fan<at>iques] devots trafiquer des bienfaits et peculer la religion, des pieux serviteurs, qui dans l'oubli de Dieu des ames servaient aux trons de la terre n'encensant que les Dieux humains.

Depositaires des tresores du peuple! Je vous cite au tribunal de l'impartiable Justice. Repondez: où est le denier de la veuve desesperée, ou est le tribut de l'orphelin indigent?

La vice a [d'une] tout accaparé d'une main sordide. Meprisant les reproches des hommes, meprisant les menaces du Ciel, vous avez [bu] dans vos festin somptieux bu la sueur sanglante du [travail] labeur et les larme de la pauvreté.

[La patrie] Le peuple dans un zèle aveugle depose sur vos autels avides et sa vie et son bien; c'est pour les immoler <?> à vous, que la patrie esclave, volontaire de vos fantaisies, demande des sacrifices à ses enfants.

Mais que vous importe? La voix de vos passions effrenés etouffe le cri de la vengeance: des bouclier d'or des honneurs vous avez garanti votre consience endurcie des traits du repentir.

Vos jours sont degagés de soucis, vos nuit de crainte. Ainsi, qu'un fort inaccessible à la vérité, votre palais eleve son front ver les Cieux, et innocence à l'eclat criminel de votre prosperité se demande indécise: «Mais où est-il donc le Dieu de la Justice? Où est-il le Juge incorruptible? Quand viendra-t-il prononcer son arrêt, quand brillera t-il dans sa main le fer vengent et frapera le vicieux d'un coup inevitable?»

Ici au pied du autel, là sur les marches du tron je vois les sujets du Souverain, mais ou trouvera-je les Citoyen de la patrie? Votre patrie est le tron! Serviteurs, aveugles du pouvoir. Concession de la consience — vos merites, un regard de la faveur — le plus beau prix de vos merites.

Non! non! o patrie! ce n'est point a tes autel qu'ils ont preté le serment de vie et de mort. La gloire des ancêtres est pour eux sans tradition; la tombe des peres leur sont muette et le berceau de tes fils n'est point pour eux le sanctuaire de l'espérance.

J'ai cherché des sacrificeurs de la liberté, idole des âmes fortes. La vaste prison de l'univer ne m'a offert que des esclaves.

O toi, qui de mes plus jeunes années alluma en moi l'étincelle sacrée, toi [qui] pres de qui [les maux sont] l'infortune est léger, toi sans qui le bonheur n'est qu'un don stérile.

Liberté! plein d'une noble ardeur, c'est moi qui le premier a osé t'adresser des chants Russes! Mes accordes nouveaux ont plus d'une fois reveillé le silence des [lieux] rochers sauvages et frappé du terreur l'oreille [d'une auditoire] pusillanime du faible.

M'arrachant de cette vallée obscure vers un avenir radieux, Contemporain des années non encore avenues, je n'ai [que] chanté que la liberté dans l'idiome de l'esclavage, dans les fers j'ai été ton poète.

Les générations futures connaîtront mon chant! Langage des Dieux, tu me fut toujours sacré et les débris orgueilleux de ma Lyre survivront aux couronnes du flatteurs.<sup>2</sup>

Автограф этот не привлекал внимания исследователей творчества Вяземского. Краткое упоминание о нем находим в книге М. И. Гиллельсона «П. А. Вяземский. Жизнь и творчество». М. И. Гиллельсон связал появление этого автографа с попыткой Вяземского наладить сотрудничество с «Revue Encyclopédique». Разочарование в этом проекте заставило Вяземского, по мнению исследователя, бросить начатый перевод. «Если эти соображения правильны, — заключает М. И. Гиллельсон, — то перевод «Негодования» следует датировать концом 1823 или самым началом 1824 г.»<sup>2а</sup>

С предположением М. И. Гиллельсона трудно согласиться. Крайне сомнительно, чтобы Вяземский предполагал опубликовать в Париже прозаический перевод стихотворения, которое от самого способа подобной передачи теряло значительную часть своих поэтических достоинств. Воспринимаемое же французским читателем как проза, оно могло произвести лишь впечатление тяжеловесной декламации. Публицистическая проза Франции тех лет, Вяземскому прекрасно известная, требовала конкретных политических фактов, а не повторения общих истин о свободе, правах человека и деспотизме, которые, в отрыве от энергического пафоса декламационной поэзии, производили бы в эти годы в условиях относительной свободы печати, существовавшей во Франции, несколько банальное впечатление. Если при этом напомнить, что никаких непосредственных свидетельств в пользу сближения интересующего нас автографа с опытом сотрудничества в журнале Жульена не имеется, то можно будет, в сугубо гипотетической форме, высказать другое предположение.

В 1820 г. возникли трудности в связи с прохождением через цензуру «Послания к М. Т. Каченовскому» Вяземского. А. И. Тургенев писал Вяземскому 29 декабря 1820 г. о стихах из этого послания, не пропущенных цензурой: «Лучше пустим их вполне в списках. Завтра доставится полный экземпляр государыне Елизавете Алексеевне. Она говорила о твоих стихах, вообще хвалила их; но сказала, что во всех есть что-то недоделанное.»<sup>3</sup> Вяземский отвечал Тургеневу: «Я рад, что царица, le seul homme de la famille, увидит, что делается в этой России, управляемой с почтовой коляски. Рад и тому, что она в стихах моих заметила их коренной недостаток, недостаток недоделанности, ибо вижу в том доказательство ее здравого суждения и внимания к моим стихам. Но впрочем, что она моего знает? Шептанье, лепетание, но мой голос грудной задужен цензурой. Дайте ей «Негодование.»<sup>4</sup>

Авторитет Елизаветы именно в эти годы стоял в либеральных и декабристских кругах очень высоко. С ее именем связывались определенные поли-

<sup>2</sup> ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1010. Авторы выражают благодарность хранительнице Остафьевского архива (ф. Вяземских) Н. В. Снытко.

<sup>2а</sup> М. И. Гиллельсон, П. А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969, с. 271.

<sup>3</sup> Остафьевский архив, т. II, СПб., 1899, с. 130.

<sup>4</sup> Там же, с. 143.

тические планы.<sup>5</sup> Пушкин «пел на троне добродетель», а С. Трубецкой еще за два дня до восстания, по словам А. Бестужева, «приговаривал, что нельзя ли императрицу Елизавету на трон возвести.»<sup>6</sup>

Можно высказать предположение, что интересующий нас автограф связан с планами ознакомления Елизаветы Алексеевны с «Негодованием». Такое предположение влечет за собой следующий вопрос: «Что представляет французский перевод «Негодования» как вид текста и с какой целью он составлен?» Елизавета Алексеевна в определенной мере владела русским языком<sup>7</sup> и, как мы видели, могла даже высказывать суждения о русской поэзии. Однако Вяземский рассматривал «Негодование» не как обычное поэтическое произведение — он видел в нем наиболее полное выражение своего общественного credo. В данном случае цель его была, конечно, не в том, чтобы ознакомить императрицу с новинками русской поэзии, а в стремлении повлиять на нее своими идеями, довести до нее свою программу. При такой установке важно было, чтобы императрица как можно более глубоко проникла в текст. А текст «Негодования» — совершенно уникален для языковой позиции карамзиниста: он насыщен славянизмами, затруднен риторическими фигурами и, как мы постараемся показать, без параллельного французского текста места не совсем понятны даже современному исследователю.

Вполне вероятным кажется предположение, что Вяземский изготовлял французский текст для параллельного чтения его с русским.

Однако нам представляется, что более правильной будет вообще несколько другая постановка вопроса: как ни интересен текст французского автоперевода, существеннее выяснить, дает ли он что-нибудь (и, если да, то что) для понимания *русского* текста. Именно этот вопрос, а не то, когда и при каких обстоятельствах был выполнен французский перевод, следует поставить в центр внимания.

С этой точки зрения, прежде всего следует отметить, что сопоставление с французским переводом позволяет уточнить самый текст русского варианта, внося исправления в общепринятое в научных и популярных изданиях его чтение.

Так, стихи 61—62 обычно печатаются в таком виде:

Но что вам? Голосом алкающих страстей  
Мать вопиющую вы дерзко заглушили...

Хотя из публикуемого во всех изданиях текста невозможно понять, какая мать имеется в виду, подобное странное чтение повторяется из книги в книгу, не встречая никаких возражений. То, что здесь текстологическая ошибка, возникшая в результате неправильного чтения почерка Вяземского, делается ясным при сопоставлении с французским автографом: «*Mais que vous importe? La voix de vos passions effrénées étouffe le cri de la vengeance.*»

Очевидно, что «мать» — неправильное чтение слова «мечь» и весь отрывок должен читаться:

Но что вам? Голосом алкающих страстей  
Мечь вопиющую вы дерзко заглушили...

С подобной же ошибкой мы имеем дело и в стихах 110—111. Обычное чтение:

И *мира* гордые обломки  
Переживут венцы льстецов.

<sup>5</sup> См.: А. Н. Ш е б у н и н. Пушкин и «Общество Елизаветы». — Пушкин. Временник пушкинской комиссии, т. I, М.—Л., 1936; В. Б а з а н о в. Ученая республика. М.—Л., 1964, с. 95—98.

<sup>6</sup> Восстание декабристов, т. I, М.—Л., 1925, с. 136.

<sup>7</sup> См.: Ш е б у н и н, цит. соч., стр. 72, где сообщается сведение гр. Ф. Головкина: «Она образована, хорошо знает русский язык» (Comte Fédor Golovkine. Le cour et le règne de Paul I-er. Portraits, souvenirs et anecdotes, Paris, 1905, p. 285—287).

И в данном случае бессмысленность чтения не привлекла внимания специалистов. Между тем, французский текст дает совершенно ясный вариант: «...et les débris orgueilleux de ma Lyre survivront aux couronnes des flatteurs.»

Следовательно, в публикациях «Негодования» — текстологическая ошибка, и русский текст должен печататься следующим образом:

И *Лиры* гордые обломки  
Переживут венцы лыстецов.

Обращение к автографу<sup>9</sup> (сохранился автограф лишь двух отрывков «Негодования» — стихи 82—87 и 94—115) и к спискам, как авторизованным, так и не несущим следов авторской правки,<sup>10</sup> полностью подтверждает приведенные выше чтения, свидетельствуя, что помета «печатается по авторизованной копии» в последнем, наиболее авторитетном издании стихотворений Вяземского<sup>11</sup> не совсем точна.

Однако значение французского текста для понимания русского не исчерпывается только этими исправлениями. Перед нами не просто перевод, а яркий пример многоплановой перекодировки: перекодировка с русского языка на французский и с поэтического на язык прозы — лишь поверхностный и наиболее заметный пласт. Французский и русский тексты имеют различную семантическую ориентацию. Они взаимодополняют друг друга, раскрывая такие пласты смысла, которые при изолированном рассмотрении каждого из них могут ускользнуть.

Стихотворение Вяземского во многом параллельно оде «Вольность» Пушкина. Подобно пушкинскому стихотворению, оно начинается с торжественного отказа от любовной поэзии как источника вдохновения и любви — как высшего жизненного идеала. Изгоняются «Цитеры слабая царица» и «весна надежд и заблуждений». Общность творческих устремлений рождает параллелизм образов:

Приди, сорви с меня венок,  
Разбей изнеженную лиру (II, кн. 1, стр. 45)

И я сорвал с чела, наморщенного думой,  
Бездушных радостей венок.

<sup>9</sup> ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 865. Сборник автографов и рукописей стихотворений П. А. Вяземского 1816—1830 гг.

<sup>10</sup> В составе того же сборника хранятся два списка, один из них — с пометами Вяземского. Третий список, тоже авторизованный, входит в «Тетрадь П. А. Вяземского со стихотворениями и письмами, 1821—1822 гг.». ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 869.

<sup>11</sup> См.: П. А. Вяземский, Стихотворения, Л., 1958, с. 442. Впервые «Негодование», было напечатано в 3 томе Полного собрания сочинений П. А. Вяземского (1860) с пропуском 22 стихов (по требованию сына поэта, П. П. Вяземского, который счел их цензурно неудобными). Строки 110—111 как раз оказались среди опущенных и впервые появились в публикации С. Любимова в альманахе «Литературная мысль» (кн. 2, Пг, 1923). Источник текста не указан; текст содержит три ошибки (помимо двух указанных выше, в строке 56 — «кровавый нож труда» вм. «кровавый пот труда»). В издании В. С. Нечаевой (П. А. Вяземский. Избр. стихотворения, М.—Л., Academia, 1935) последняя ошибка выправлена, видимо, по тексту ПСС, те же, которые в этом издании или уже имелись («мать» вм. «месь») или относились к стихам, впервые опубликованным Любимовым, — остались. Издания 1936 г. (Малая серия библиотеки поэта); 1958 г. (Большая серия библиотеки поэта), 1962 г. (Малая серия библиотеки поэта) фактически воспроизводят текст издания В. С. Нечаевой, сохраняя его погрешности, хотя и содержат указания на обращение к рукописям.

Отказ от легкой, эротической, любовной поэзии сопровождается обращением к поэзии гражданской:

Хочу воспеть Свободу миру...

Мой Аполлон — негодованье!<sup>12</sup>

В поисках положительных средств для воплощения идеала гражданской поэзии Вяземский не пошел, однако, по пушкинскому пути — не обратился к классическим формам оды XVIII века. Его решение, видимо, было близким к тому, которое позже пропагандировал Кюхельбекер в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». Литературные оппоненты приписали Кюхельбекеру стремление реставрировать устаревшие нормы классицистической оды. Однако это не более, чем полемический прием: Кюхельбекер имел в виду романтически трактуемую «пиндарическую» оду, которую считал непосредственным излиянием восторга поэтической души, свободной в своих выражениях. Его формула: «В оде поэт <...> мечет перуны в сопостатов, блажит праведника, клянет изверга»,<sup>13</sup> весьма напоминает поэтический идеал «Негодования». Его ода близка к героической элегии.

Жанровую структуру «Негодования» Вяземский построил как сочетание метрической схемы элегии с торжественной архаизированной лексикой. Это позволяло создать инвективу — патетический и «высокий» монолог поэта-гражданина. Такая задача выдвигала перед Вяземским проблему церковнославянизмов, исключительно острую для карамзиниста и арзамасца. Особенностью позиции автора «Негодования» было еще и то, что, поскольку стихотворение мыслилось не только как «высокое», но и как насыщенное терминами из политико-публицистического словаря, а этот последний, в сознании Вяземского, бесспорно, был ориентирован на французскую терминологическую систему, в самой основе семантико-стилистической структуры стихотворения оказывалась проблема соотношения французской и церковнославянской лексических систем. Это делает автоперевод Вяземского исполненным совершенно исключительного интереса.

Сравнительное рассмотрение обоих текстов убеждает нас, что языком политического мышления Вяземского был французский и что, следовательно, перед нами как бы тройной перевод: сначала мысль поэта обле-

---

<sup>12</sup> Бросающийся в глаза параллелизм текстов Пушкина и Вяземского возбуждает вопрос о возможности прямого влияния одного произведения на другое. Проблема эта затрудняется, однако, неясностью вопроса о датировке этих стихотворений. Спор о датировке пушкинской «Вольности» общеизвестен [см.: Б. Томашевский, Пушкин, кн. первая (1813—1824), М.—Л., изд. АН СССР, 1956, с. 142—152]. Однако и вопрос о датировке «Негодования» не может считаться решенным окончательно. Под первой публикацией была поставлена дата 1818. В. С. Нечаева на основании переписки Вяземского с А. И. Тургеневым исправила ее на 1820 г. Однако переписка фиксирует лишь дату окончательного завершения работы над текстом, видимо, весьма длительной. Вполне можно допустить, что первая часть стихотворения Вяземского была написана раньше этого срока и могла им читаться близким друзьям. В этом случае то, что французский текст охватывает лишь первую половину стихотворения, может получить новое объяснение. Вопрос о сопоставлении датировок «Вольности» и «Негодования», кажется, до сих пор поднимался только Ю. Г. Оксманом, но решения так и не получил.

<sup>13</sup> В. Кюхельбекер, О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие, цит. по: Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика. Составил Вл. Орлов, М.—Л., 1951, с. 550.

калась во французские термины, затем она трансформировалась в русский поэтический текст, а в дальнейшем подверглась переводу на язык французской прозы. При этом, если в русском тексте Вяземский стремится к известной стилистической затрудненности, напряженному метафоризму, эмпазе, то французский ориентирован на ясность и смысловую прозрачность. Таким образом, французский текст — не перевод, а своеобразная глосса, метатекст по отношению к русскому тексту. Вяземский не просто переводит, а истолковывает текст, систематически «снимая» с него одическую орнаментальность.

То, что в основе политических размышлений Вяземского лежат привычные французские формулы, подтверждается тем, что отдельные места стихотворения проясняются до конца лишь при обратном переводе на французский язык. Приведем несколько примеров.

105 стих «Негодования» представляет собой несколько туманную авторскую характеристику Вяземского:

Свидетель нерожденных лет.

Сопоставление с французским текстом:

Contemporain des années non encore avenues —

проясняет смысл этого неясного высказывания: «Современник будущих времен (лет, еще не наступивших)». Однако обратный перевод проясняет не только мысль, но и источник ее. Делается явной перекличка с репликой маркиза Позы из «Дона Карлоса» Шиллера: «Я гражданин грядущих поколений.» Показательно, что реминисценция Вяземского ближе к немецкому подлиннику:

... Das Jahrhundert  
Ist meinem Ideal nicht reif. Ich lebe  
Ein Bürger derer, welche kommen werden<sup>14</sup>

а не к тому французскому его переводу, который мог быть в руках у автора «Негодования»:

Je suis un citoyen de l'avenir<sup>15</sup>

Понимание источника реминисценции проясняет и стих:

В век лучший вознесись от мрачной сей юдоли...  
... Das Jahrhundert  
Ist meinem Ideal nicht reif...

Одновременно, сопоставление с радищевской цитатой: «Везде видел гражданина будущих времен»<sup>16</sup> и грибоевским «инога века гражданин»<sup>17</sup> позволяет расширить представления о круге русских читателей «Дона Карлоса».

Приведем пример неудобопонятного русского текста, который оказывается калькой совершенно естественного французского выражения:

<sup>14</sup> Schillers Werke, Hrsg. L. Bellermann, Ausgabe DBI, Bd. 2, S. 303. Вяземский владел немецким языком. Когда М. Дмитриев в полемической статье поставил под сомнение его знание немецкого языка, Вяземский с обидой отвел это подозрение в статье, опубликованной в «Дамском журнале» (1824, № 8): «На литературную часть «Второго разговора» я не отвечал литературно, потому, что почел ее, по немецкому выражению, *unter aller Kritik*, хотя по всенародному объявлению *Второго классика* я по-немецки не знаю» (цит. по: В. Зелинский, Русская литература о произведениях А. С. Пушкина, ч. 1, М., 1887, с. 154).

<sup>15</sup> Don Carlos, Infant d'Espagne, par Frédéric Schiller, traduite de l'allemand par Andrieu Lezay, A Paris <1799—1800> p. 209.

<sup>16</sup> А. Н. Радищев, Полн. собр. соч., т. I, М.—Л., изд. АН СССР, 1936, с. 322.

<sup>17</sup> А. С. Грибоедов, Соч., М., 1956, с. 337.

Свободы, сильных душ кумира

переводится как: *sacrificateurs de la liberté, idole des âmes fortes.*

Печальную главу посыпав скорбным прахом,  
Я зрел: изгнанницей поруганную честь...

по-французски переводятся так: «*J'ai vu l'honneur avilie reprendre des cendres du deuil sur ses cheveux et subir la proscription*». Таким образом, смысл стихов таков: «Я зрел, <как>, посыпав печальную главу скорбным прахом <погребальным пеплом>, поруганная честь <сделалась> изгнанницей. Вне сопоставления с французской глоссой, текст остается невнятным.

Характерен и такой пример. В русском тексте встречаем выражение: «Для вас <...> уступки совести — заслуги!» Однако во французском тексте ему соответствует сложная игра слов: «*Concession de la conscience — vos mérites*».

Здесь, во-первых, наличествует звуковой повтор, сближающий эти полярные понятия. Во-вторых, «*concession*» означает одновременно и «уступку» и «место погребения». Возможно прочтение: «кладбище совести». Все эти смысловые сплетения и смысловая игра в русском тексте отсутствуют, что естественно наводит на мысль о том, что первичное обдумывание поэтических формул совершалось по-французски.<sup>18</sup>

Рассматривая русский и французский тексты «Негодования» как своеобразную билингву поэтического языка той поры, мы можем сделать некоторые наблюдения:

1. В ряде случаев французские адекваты обладают большей семантической определенностью, обличающей их первичность в сознании Вяземского. Без французских параллелей перевод этих выражений бывает затруднителен или неизбежно неточен:

фиал волшебств — *la coupe des philtres* (кубок любовного напитка:

<sup>18</sup> Обращение к французскому тексту приоткрывает еще одну сторону русского стиля Вяземского. Ориентация на неожиданный метафоризм в русском тексте приводит к поэтическим сочетаниям, создающим для читателя смысловые трудности. Однако на поверку эти новации порой оказываются галлицизмами, кальками обычных во французской поэзии выражений, что особенно интересно, учитывая «славянскую» ориентацию лексики. Показательно, что, когда А. И. Тургенев не понял одного места в «Негодовании», Вяземский, безотносительно к анализируемому нами переводу, пояснил темное выражение французским его адекватом. Причем в переводе на французский оно оказывается обычным поэтическим выражением. Выражение «Бездушных радостей венок» Тургенев не понял, Вяземский пояснил: «Бездушный значит *inodore*. Радости — тут розы, цветы» (Остафьевский архив, т. II, СПб., 1899, с. 149).

Любопытен еще один пример параллельного существования в сознании Вяземского русских и французских поэтических формул. Стихи:

Нет слез в них для твоих печалей  
Нет песен для твоих побед...

в публикуемом автографе почему-то остались непереверденными. Однако в письме к жене от 18 марта 1828 г. Вяземский процитировал, слегка перефразировав, их французский перевод. Трудно себе представить, что он все эти годы держал в памяти текст своего автоперевода, скорее, формула эта жила в его голове независимо, возможно, даже предшествуя русскому тексту «Негодования». Ср.: «У нас ничего общего с правительством быть не может. *Je n'ai plus ni chants pour toutes ses gloires, ni larmes pour tous ses malheurs*» (цит. по: Ю. Тынянов, О «Путешествии в Арзрум». Пушкин, Временник пушкинской комиссии, т. 2, М.—Л., 1936, с. 58).

имеется в виду вполне конкретное содержание метафоры — отказ от *любвонной поэзии*).

первые встречи — *les premières perfidies* (в русском переводе пропадает мотив измены, один из наиболее значимых элегических мотивов).

принес в дань — *j'ai immolé* (в русском переводе пропадает оттенок разрыва, разрушения иллюзий, составляющий семантическую основу этих строк).

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| мой глас            | — <i>ma prière</i>          |
| все лучше           | — <i>le plus intime</i>     |
| зародыш             | — <i>le germe sacré</i>     |
| бесчеловечная слава | — <i>la gloire coupable</i> |

2. Для передачи некоторых политико-философских терминов Вяземскому приходится создавать русские адекваты. При этом он идет по тому же пути, как и передавая «libéral» через «законно-свободный»: не находя в русском слове нужного оттенка смысла, он создает фразеологизмы.

*la réalité sévère* — истина угрюмая (в зн. «действительность»; пока-зателен отказ от «vérité»).

*l'enthousiasme* — — пламенный восторг.

3. Противоположный случай: для раскрытия того смысла, который то или иное слово приобретает в политической конструкции Вяземского, необходим французский фразеологизм.

*la sainteté des droits* — уставы.

4. Крайне существенно для стилистики «Негодования» настойчивое стремление передавать французские обороты речи и мысли, заимствованные с французского политические термины, — церковнославянизмами.

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <i>l'ivresse</i>              | — упоение              |
| <i>dépouiller</i>             | — разоблачить          |
| <i>démasquer</i>              | — обличить             |
| <i>la bouche</i>              | — уста                 |
| <i>l'existence</i>            | — бытие                |
| <i>implorer</i>               | — взывать              |
| <i>la prière</i>              | — глас                 |
| <i>régner</i>                 | — владычествовать      |
| <i>présider</i>               | — председательствовать |
| <i>voir</i>                   | — зреть                |
| <i>le roi</i>                 | — владыка              |
| <i>les cendres du deuil</i>   | — скорбный прах        |
| <i>répondre</i>               | — ответствовать        |
| <i>accaparer</i>              | — заграбить            |
| <i>l'enfant</i>               | — чадо                 |
| <i>les passions effrénées</i> | — алкающие страсти     |
| <i>cri de la vengeance</i>    | — месть воиющая        |
| <i>d'or</i>                   | — златой               |
| <i>prononcer</i>              | — изрекать             |
| <i>offrir</i>                 | — являть               |
| <i>stérile</i>                | — тщетный              |
| <i>les chants</i>             | — песнопения           |
| <i>la vallée obscure</i>      | — мрачная юдоль        |

Бросается в глаза, что в целом ряде случаев, когда церковнославянизмы со сдвинутым значением вошли в лексикон карамзинистов, Вяземский употребляет их в первичном, архаическом значении:

«прохлада» в значении «праздник» — *le festin*

«лесь» в значении «обман» — лстынные лжебоги — *les faux-Dieux*

мечты — в зн. «заблуждения» — *les erreurs*

Всех помыслов моих Виновник — *Auteur* <...> *de tous les mouvements de mon coeur.*

Вина — «в церковных книгах не значит преступления закона, но причину какому ни есть произволению, наприм.: *Бог есть вина всяческих*, то есть

*Создатель всему*<sup>19</sup>. Одновременно «причина» в разговорном и бюрократическом языках XVIII в. может означать «преступление» («причинный казус» — криминальный случай, ср. «Сон советника Попова» А. К. Толстого). След., «вина» и «причина» могут восприниматься как пара «церковносл. — русск.»

Французский автоперевод «Негодования» Вяземского — уникальный документ, изучение которого может дать исключительно много как для понимания семантико-стилистической системы Вяземского, так и для анализа соответствующих проблем в истории русской культуры тех лет.

---

<sup>19</sup> Церковный словарь <...> сочиненный <...> Петром Алексеевым. изд. 3, ч. 1, СПб., 1817, с. 134. Можно предположить, что, если отдельно взятые «вина» и «причина» воспринимались как нейтральные, то «вина» в значении «причина» осознавалась как церковнославянизм, а «причина» в значении «вина» — как руссизм.

Ср. у Грибоедова: «Ученье — вот чума, ученость — вот *причина*». Из письма Пушкина Вяземскому: «*Вина, culpa, faute. Symbole téméraire, faute déplorable de l'ignorance. У нас слово вина имеет два значения*» (XIII, 82)

## ИЗ ИСТОРИИ ЖУРНАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНОЙ БОРЬБЫ ВОКРУГ КРЕСТЬЯНСКОГО ВОПРОСА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1850-х ГОДОВ

П. С. Рейфман

Писатель Василий Васильевич Селиванов (1813—1875) не принадлежит к числу тех, имя которых прочно вошло в историю русской литературы. Ныне он мало кому известен. И забвение его вполне оправдано. Жандармский офицер в отставке, полицеймейстер Воспитательного дома в Москве, литератор бесталанный, весьма консервативных взглядов, искажающий в своих произведениях русскую действительность, рисующий в сусально-умиленных тонах добрых помещиков и благоденствующих «поселян», Селиванов правомерно не пользовался популярностью.

И тем не менее, изучая литературно-журнальные отклики, вызванные обсуждением крестьянского вопроса во второй половине 1850-х гг., небесполезно обратиться к наследию Селиванова. Такое обращение, кроме прочего, помогает уяснить некоторые детали, относящиеся к творчеству писателей, неизмеримо более крупных, чем Селиванов: Н. А. Некрасова и Л. Н. Толстого.

Помещик-практик, в период подготовки и проведения крестьянской реформы Селиванов пользовался в определенных кругах репутацией знатока русского народного быта. Его книга «Год русского земледельца», опубликованная в славянофильской «Русской беседе»<sup>1</sup>, претендовала на роль своеобразной энциклопедии помещичье-крестьянской жизни. Отрывки из нее печатались в хрестоматиях для народного чтения. Произведение Селиванова, состоящее из 4-х частей («Весна», «Лето», «Осень», «Зима»), создавало в целом образ религиозного, покорного, трудолюбивого, тяжело работающего, но счастливого и довольного своей участью русского крестьянина. Причем речь шла не о каких-то конкретных случаях, эпизодах, зарисовках народной жизни, а о типизированном крестьянском быте, об обобщенном облике крестьянина и помещика. Наблюдения автора принимают в книге форму разговора о деревне вообще.

Нельзя сказать, что Селиванов, хорошо знакомый с сельским хозяйством, много лет проживший в деревне, служивший в земстве по крестьянскому делу, совсем не ориентируется в народном быте. Его книга дает довольно ясное представление о крестьянских работах, об орудиях труда. Словесное описание последних сопровождается рисунками таких орудий, крестьянских изб и т. п. Селиванов хорошо знает обычаи, поверья, обряды и широко знакомит с ними читателей. Он дает описания колядок, гаданий,

<sup>1</sup> 1856, кн. II, IV, 1857; кн. VII, VIII. О Селиванове см. заметку «От издателя» в кн. Сочинения Василия Васильевича Селиванова. В 2-х тт. Владимир, 1901—1902, т. I. Далее: Селиванов. См. также «Список сочинений В. В. Селиванова» — «Российская библиография», 1881, № 95 (19), с. 410—411; Русский биографический словарь, т. Сабанеев—Смыслов, СПб., 1904, с. 280—281; «Русская старина», 1877, т. XX, с. 205—220.

тексты «Авсеныя», похоронных причитаний. «Год русского земледельца» небезынтересен в этнографическом плане. И все же общая картина народной жизни у Селиванова совершенно искажена и фальсифицирована.

В каждом эпизоде, от первой страницы до последней, в книге ощущается любованье автора происходящим, стремление примирить читателя с крепостнической действительностью. «Год русского земледельца» открывается слащавым описанием возвращения мужичка в деревню с заработков, подготовки его к весенним работам, и заканчивается столь же сусальным изображением смерти мужичка: «И спит земледелец на Божией ниве, как пшеничное зернышко на вспаханной бороздке; и много раз перепашутся его кости <...> пока, по гласу последней трубы, не возродится он к новой, купленной земными лишениями и трудами, лучшей жизни»<sup>2</sup>.

Неправомерно большое место занимает в книге описание всяких праздников, изображенных со знанием быта, но столь детально и многократно, что вся жизнь русского мужика превращается в подобном описании почти в сплошную цепь праздников, которые, по Селиванову, — убедительное свидетельство религиозности народа. Религиозность, по мнению автора, — одно из важнейших свойств народной сути. При всяком удобном случае Селиванов касается этой темы. Так, например, рассказывая о заготовке грибов, он не упускает повода добавить, что грибы необходимы, так как «Православные Русские люди, крестьяне и, слава Богу, многие помещики, не станут не только мяса, но и рыбы есть в посты»<sup>3</sup>.

Труд крестьянина, его быт нарисованы в «Годе русского земледельца» в радостно-светлых красках. Об эксплуатации народа нет и речи, хотя мимоходом, без всякого осуждения, как о нормальном, упоминается, что мужик работает три дня на помещика, а три на себя, что на барщине бабам необходимо давать «урок», так как иначе они не торопятся. В целом же отношения между помещиками и крестьянами изображены в идиллических тонах. И тех, и других Селиванов объединяет общим названием «земледельцев», как бы не замечая коренной разницы между «земледельцами» и «землевладельцами». Знаменательно, что и редакция «Русской беседы» поддержала такое сближение, отмечая во вступительной заметке к книге Селиванова, что тот, воссоздавая быт крестьян, касается жизни помещиков лишь в тех случаях, «где помещик, как земледелец и Православный, сливаясь с жизнью простого народа, составляет с ним одно неразрывное целое»<sup>4</sup>.

Доказательствам этой неразрывной целостности в «Годе русского земледельца» отведено немало страниц. Умиленно повествует Селиванов о полном добрососедстве, якобы существующем между мужиками и помещиками. Рассказывая, как последние приглашают «на подмогу» жителей оброчных или казенных деревень, Селиванов описывает радостную дружную работу, обед, которым хозяин угощает крестьян, веселье, песни, пляски<sup>5</sup>. Он уверяет, что «помощь дается соседними крестьянами всегда с большою готовностью и даже удовольствием. Кроме угощения и веселого гулянья, привлекательных для молодежи, готовность помочь происходит от признательности за полезные и советом, и делом услуги помещика-соседа»<sup>6</sup>.

Портрет такого помещика нарисован Селивановым в духе самого открытого приукрашивания: «Он весело озабочен. По виду, ему под сорок.

<sup>2</sup> Кн. VIII, с. 134.

<sup>3</sup> Кн. II, с. 28.

<sup>4</sup> Там же, с. 2. Не исключено, что во вступительной заметке содержится и полемический подтекст. Редакция могла считать, что Селиванов слишком уж объединяет помещиков и крестьян. В этом случае ее заметка оговаривала возможные, с редакционной точки зрения, рамки такого объединения, ограничивая их. Подобное предположение делает вероятным и общая позиция славянофилов по крестьянскому вопросу и замечания редакции «Русской беседы» по поводу рассказа «День помещика» (см. с. 185).

<sup>5</sup> Кн. IV, с. 77—78.

Лет пятнадцать прослужил он в военной службе, а теперь, как следует мирному гражданину, занимается хозяйством. Он не чужд высоких стремлений; мировые события волнуют его душу, он сочувствует успехам наук и художеств, он горячо любит свое отечество. В обязанности помещика он сознает великое призвание заботы и попечения о вверенных ему Богом и законами ближних. Он смотрит на хозяйство, как на основу государственного богатства, как на залог благоденствия народного...»<sup>7</sup>.

В книге приводится задушевный разговор, который якобы ведет помещик со старым крестьянином (без старого патриархального крестьянина в подобных идиллиях не обойтись!): Помещик уважительно именуется своего крепостного на «Вы», со вниманием выслушивает его мнения. Старик вспоминает о прежних барах, о прадедушке нынешнего владельца имения, имевшем 2 тысячи крепостных, строгом, но справедливом хозяине, не терпевшем обмана, умиленно заботившемся о дворовых ребятишках. Для последних каждый раз к барскому обеду варили окорок «для подачок»: «Как только господа сядут за стол, так в залу и набегут все дворовые ребятишки, босиком, в рубашонках, под час в грязи, и станут около стенки, всякий с чашечкой. Когда покушают, примером, горячее, прадедушка ваш и закричит дворецкому: дай им, братец, подачки! Вот дворецкий нарежет ломтиками хлеба, положит на них по ломтику ветчины, да так и наделит всех»<sup>8</sup>.

Селиванов явно сожалеет, что подобные бары ныне перевелись, что исчезает простота отношений между помещиками и их рабами, не замечая даже, сколь отвратительна идиллия, сочиненная им, в какой степени унижает она человеческое достоинство. С умилением повествует он о том, как господа заботятся о больном мужичке, лечат его, о том, как перед Великим постом помещики и крестьяне просят друг у друга прощения.<sup>9</sup>

Естественно, что фальсификация Селивановым народной жизни вызвала резкий отпор на страницах некрасовского «Современника». М. Е. Салтыков-Щедрин в февральской хронике «Нашей общественной жизни» за 1864 г., высмеывая славянофильские утопии, указывал на «Год русского земледельца», называя его «рассыченною на патоке идиллией», насквозь пропитанной сентиментальным враньем «идиллией прошлого»<sup>10</sup>. Салтыков цитирует отрывок из «Года русского земледельца», относя сочинение Селиванова к ряду «отводящих глаза произведений», саркастически замечая, что автор книги постоянно рисует господ, «которые охотно молятся богу вместе с своими земледельцами, однако ж в работах общения с ними почему-то иметь не желают»<sup>11</sup>. Имея в виду, видимо, приводимый выше эпизод, в котором изображается веселье крестьян, позванных помещиком «на подмогу», их пение, пляски, Салтыков упоминает «фантастические дивертисменты с пением и танцами», сближая в какой-то степени сторонников «идиллии прошлого» и «идиллии будущего», в которой, «как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет»<sup>12</sup>.

«Патриархальному фальшфейеру», создаваемому писателями типа Селиванова, Салтыков противопоставляет реальную картину крестьянской жизни, начиная описание ее словами: «Жизнь русского мужика тяжела, но не вызывает ни чувства бесплодной и всегда оскорбительной жалостливости, ни тем более идиллических приседаний»<sup>13</sup>.

Создавая трогательную легенду о патриархальных отношениях между барами и крепостными, о нравственном влиянии первых на вторых, Сели-

<sup>6</sup> Там же, с. 69.

<sup>7</sup> Там же, с. 73—74.

<sup>8</sup> Там же, с. 76—77.

<sup>9</sup> Там же, кн. VIII, с. 125.

<sup>10</sup> М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в 20 тт., т. 6, М., 1968, с. 263.

<sup>11</sup> Там же, с. 264.

<sup>12</sup> Там же, с. 263, 232.

<sup>13</sup> Там же, с. 265.

ванов сообщал об обычае, следуя которому крестьяне по праздникам приходили в усадьбу поздравлять своих господ, молились вместе с ними. «Это сближение господ с народом, — писал Селиванов, — имеет высокий нравственный смысл. Конечно, на другой день неизбежно понадобится хорошо вымыть пол, и потому в тех домах, где существуют лакированные паркеты и чистота полов стала выше чистоты нравственной, там этот обычай уже не выполняется»<sup>14</sup>.

Приведенные строки вызывают в памяти слова Оболта-Оболдуева, помещика из первой части поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Как и Селиванов, рисуя крепостническую «идиллию прошлого», Оболт-Оболдуев с умлением вспоминает о молебнах, которые он устраивал в былые времена в своей усадьбе для крестьян:

«Пред каждым почитаемым  
Двунадесятым праздником  
В моих парадных горницах  
Поп всюнощну служил,  
И к той домашней всюнощной  
Крестьяне допускалися:  
Молись — хоть лоб разбей!  
Страдало обоняние,  
Сбивали после с вотины  
Баб отмывать полы, —  
Да чистота духовная  
Тем самым сберегалася,  
Духовное родство!  
Не так ли, благодетели?»  
— Так! — отвечали странники,  
А про себя подумали:  
«Колом сбивал их, что ли, ты  
Молиться в барский дом?..»<sup>15</sup>

Видимо, здесь идет речь о полемической реминисценции из «Года русского земледельца». Напомним, что первая часть поэмы Некрасова создавалась как раз в то время, когда редакция «Современника» обратила свое внимание на книгу Селиванова, упомянула о ней в «Нашей общественной жизни» Салтыкова-Щедрина. Напомним и о том, что Салтыков, высмеивая «Год русского земледельца», указывает на те же особенности, на которые обращает внимание и Некрасов: помещики охотно молятся богу вместе со своими земледельцами, но этим близость их ограничивается.

Все сказанное делает весьма правдоподобным предположение, что процитированные слова Оболта-Оболдуева — иронический отклик Некрасова на аналогичный эпизод из книги Селиванова, что вообще нарисованная помещиком в поэме «идиллия прошлого» в какой-то степени ориентирована на картины «Года русского земледельца». Не следует, конечно, преувеличивать подобной близости. Некрасов, как всегда, отталкиваясь от отдельных фактов, создает художественное обобщение большой жизненной емкости<sup>16</sup>. Но среди фактов, послуживших основой для такого обобщения, нужно, вероятно, учитывать и книгу Селиванова. Как бы то ни было, глава «Помещик» в поэме «Кому на Руси жить хорошо», думал об этом поэт или не думал, служила разоблачением той фальши, которая столь отчетливо выразилась в «Годе русского земледельца».

Имя В. В. Селиванова всплывает в памяти и при чтении рассказа Л. Н. Толстого «Утро помещика». Известно, что этот рассказ связан с раз-

<sup>14</sup> «Русская беседа», кн. II, с. 6.

<sup>15</sup> Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем. Т. 3, М., 1949, с. 229—230.

<sup>16</sup> См. М. Гин. От факта к образу и сюжету. М., 1971.

думьями писателя о необходимости уничтожения крепостного права, об отношениях помещиков и крепостных, с попытками Толстого предпринять конкретные меры, которые должны были изменить положение яснополянских крестьян, с его проектами и записками по крестьянскому вопросу<sup>17</sup>. Именно во время этих дел и размышлений, под влиянием их, возвращается писатель летом 1856 г. к давнему замыслу «Романа русского помещика», создан на его основе рассказ «Утро помещика». Рассказ окончен в ноябре того же года, напечатан в № 12 «Отечественных записок» и отражает тот круг проблем, который был особенно важен для Толстого в 1856—1857 годах. Обращение к таким проблемам — не только важный шаг в эволюции самого Толстого, но и результат того, что решение их практически поставлено на повестку дня, что как раз с весны 1856 г. начинается широкое обсуждение крестьянского вопроса, что он становится в центре внимания общества, журналистики. «Утро помещика» — один из существенных и ранних литературных откликов, который следует рассматривать в общем русле выступлений о положении крестьян. И знаменательно, что Толстой, при всей симпатии к Нехлюдову, уже в «Утре помещика» приходит к выводу о несостоятельности исканий героя, о несовместимости помещичьей и крестьянской точек зрения, несовместимости, объективно выражавшей непримиримость их социальных позиций. Именно на эту особенность рассказа Толстого обращал внимание в «Заметках о журналах» Чернышевский, отмечая с похвалой, что уже «в первом своем очерке сельских отношений» писатель «с замечательным мастерством воспроизводит не только внешнюю обстановку быта поселян, но, что гораздо важнее, их взгляд на вещи»<sup>18</sup>.

В кн. IX «Русской беседы» (кн. 1 за 1858 г.) В. Селиванов напечатал свой рассказ «День помещика», который, вероятно, является ответом на «Утро помещика» Толстого. Публикуя рассказ, издатель «Русской беседы» сообщал, что помещает его с запозданием, что «День помещика» написан и доставлен в редакцию летом 1857 г. Таким образом, Селиванов работает над рассказом где-то в первой половине года, сразу же после того, как появилось «Утро помещика», и мало вероятно, что он не видел нового произведения Толстого, затрагивавшего вопрос о положении крестьян, волновавший и Селиванова. Но даже если последний не имел в виду «Утро помещика», нарисованная им идиллия должна была восприниматься как полемика, направленная против толстовской постановки проблемы.

В «Дне помещика» Селиванов, как и Толстой, изображает ряд встреч владельца имения с крестьянами, встреч, как правило, конфликтных, когда сталкиваются различные точки зрения, и каждая сторона по своему односторонне права. Он повествует о мужиках, которые не платят подушное, объясняя это весьма основательными причинами, рассказывает об Акулине, у которой больна последняя корова, о Карпе, плохо вспахавшем десятину, так как у него цыгане коней увели. Помещик понимает резонность большинства подобных доводов, но знает и то, что все крестьянские беды ему придется оплачивать из своего кармана, что он коренным образом ничего исправить не сможет, что все будет идти по-прежнему, что в поведении мужиков, в поступках, противоречащих выгодам помещика и самим крестьян, есть какая-то правота. Как и у Толстого, у Селиванова в какой-то степени вырисовываются два лагеря, с различной психологией, с интересами, которые трудно примирить. Барин желает крестьянам добра, искренне хочет помогать им. Мужики же недоверчиво относятся к помещику, при

<sup>17</sup> См. письма и «Записные книжки» за 1856—1857 гг.: Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. (Юбилейное). М., 1928—1958, тт. 47, 60. См. также т. 5: [Писания, относящиеся к проекту освобождения яснополянских крестьян]. Лето в деревне, [Записка о дворянстве]. Далее: Толстой.

<sup>18</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. Т. IV, М., 1948, с. 682.

всяком случае готовы его надуть, урвать что-либо для себя из барского добра, «допечь» барина. Изленившиеся лакеи плохо служат, ругаются между собой, веселятся и пляшут, вместо того, чтобы исправно подавать обед; бабы не приносят холста или приносят дурной; мужики не платят недоимок; помещик уверен, что ему не вернут корову и лошадь, которых он дал на время Акулине и Карпу, как не раз бывало и прежде. Народ не верит в добрые намерения барина, в то, что его поступки продиктованы любовью к крестьянам, что он страдает за них. Мужики не испытывают благодарности, «потому что всякое добро принимается народом как обязанность или прихоть со стороны владельца» (с. 76).

Помещик не осуждает крестьян за такое отношение. Он готов понять и даже оправдать их, зная, что они не могут иначе поступать, что они бедны и невежественны, что им необходимо давать потачку. Но речь идет именно о «потачке», барин изображается Селивановым каким-то мучеником, взявшимся за тяжелое и неблагодарное дело, которое трудно вести, но невозможно и бросить. Ему приходится страдать «и душой, и карманом». Да и мужики далеко не всегда безвинны. Их бедность нередко определена дурным поведением их самих, их родителей. Рассказывается история глупого мужика и злой бабы, которые разорили хозяйство; отданные в учение их дети развратились, начали пьянствовать, попали в тюрьму. Старый дворовый, просящий милостыню на большой дороге, — пьяница, буян, недоучившийся портной. И за все это приходится расплачиваться горемыке-помещику!

Рассказ начинается с описания столкновения барина с крепостным столяром. Тот просился на оброк. Ему «кратко объяснили», что он нужен дома. Он же, вместо того, чтобы «спокойно покориться своей участи», смеет выражать недовольство. На его лице «выражение самой грубой непокорности» (с. 41). Он уходит от помещика, бормоча ругательства и хлопнув дверьми. Барин оскорблен, но делает вид, что ничего не произошло. Он надеется, что столяр исправится. Но когда тот намеренно портит работу, грубит, «мера терпения переполнилась», и следует распоряжение отдать столяра в солдаты. При этом помещик страдает не меньше, чем мужик. Он охотно простил бы виновного, но боится, что отмена наказания послужит дурным примером. Он и вообще не прочь избавиться от обузы помещицкой жизни, но не видит приемлемого выхода: продать имене он не может, так как ощущает свой долг перед крепостными; не может он и отпустить крестьян на оброк, так как у них дети, семьи; отпустить крестьян на волю, сделав нищими себя и свою семью, он не в состоянии. Остается терпеть и страдать, содержать многочисленных дворовых, хотя они плохо служат, а многие из них лишь хлеб едят, оплачивать недоимки мужиков, помогать им хлебом и скотиной, мириться с убытками, опекать больных и слабых.

Барин ощущает на своей совести и бедность, и лень, и невежество своих крепостных. Он недоволен собой. Но правомерность владения крепостными, деления мира на бедных и богатых сомнений у него не вызывает: «Равенство состояний историей человечества признано делом невозможным. Пока существуют деньги, государство, образование, — будут существовать и бедные и богатые. Богатые будут наслаждаться материальным благосостоянием, платя за это благосостояние бедным, которые за деньги всегда служили и будут служить богатым» (с. 74). В подобной «философии» герой черпает оправдание своему положению, обоснование помещицких прав. По его мнению, он будет виноват лишь в том случае, «если права эти употреблю во зло и не воспользуюсь ими на всевозможное благо моим меньшим братьям» (с. 75).

Причину конфликтов между помещиками и крестьянами герой, за которым стоит сам автор, видит в разрушении тех идиллически-патриархальных отношений, которые прежде якобы существовали. Помещик с осуждением упоминает о вторжении в жизнь русской деревни духа европейского эгоизма, о воздействии фабричного производства, денежных отношений и т. п. Он

противопоставляет себя хозяину-немцу, выжимающему из работников все силы, принимающему их за рабочий скот.

Селиванов в какой-то степени перекликается с Толстым во враждебности к буржуазным отношениям, проникающим в деревню, к деньгам. Но, в отличие от Толстого, неприятие капитализма определяется у автора «Дня помещика» слащавой идеализацией старой крепостнической деревни. Герой с грустью рассуждает об ослаблении былой преданности дворовых людей к господам, об уменьшении любви, бескорыстного усердия. Он уверяет, что прежде, несмотря на встречавшиеся жестокости и произвол (отрицать их не может даже Селиванов!), «народ по большей части искренно был предан своим помещикам, потому что в жизни их господствовал тот же православыный склад и не существовало различия между помещиками и народом в их духовных стремлениях, — одним словом, они были несравненно ближе друг к другу, нежели теперь» (с. 47).

Конец рассказа «День помещика» окрашен в примирительные тона. Непокорный столар просит у барина прощения. Тот с радостью дарует его. Описывается прекрасный деревенский вечер, пение соловья. Герой забывает грустные раздумья, заботы, недовольство собой и мужиками. Он будет и далее выполнять долг. Он уповает на бога и доволен своей судьбой: «Грустные и мрачные мысли мало по малу разлагались в созерцании спокойной, тихой летней ночи; и когда до слуха его начал долетать знакомый шум катившегося вдаль и приближавшегося экипажа возвращавшейся из гостей жены, он встал с своего места, весело взглянул на небо и, войдя в дом, велел подавать ужин» (с. 82).

Итак, повторяя ситуацию, изображенную Толстым, Селиванов приходит к диаметрально противоположным выводам. У него в конечном итоге получается апофеоз помещичьей деятельности, нелегкой, с сомнениями и разочарованиями, но полезной, благотворной и для барина и для народа, приносящей, несмотря на все трудности и неприятности, чувство удовлетворения и выполненного долга. Пропать между интересами помещика и крестьян оказывается не столь уж непреодолимой. К тому же она существовала не вечно, появилась оттого, что начал разрушаться мир старого патриархального православыного склада. Но все же он не разрушен до конца, и благотворная связь барина с его крепостными не совсем уничтожена. Таков был ответ Селиванова на вопросы, затронутые Толстым в «Утре помещика».

Выступления Селиванова по крестьянскому вопросу перекликаются еще с одним произведением Толстого, с «Поликушкой». В данном случае вряд ли есть основание говорить о возможности прямой полемики. Скорее речь идет о сходстве, определяемом временем, избранной темой, о совершенно различных выводах, к которым приходят авторы, рисуя те же самые явления.

«Поликушка», как известно, написан на основе рассказа Дундуковой-Корсаковой, услышанного Толстым во время заграничной поездки, в марте 1861 г. В октябре 1862 г. «Поликушка» закончен и напечатан в февральской книжке «Русского вестника» за 1863 г.<sup>19</sup> Но в то же время в «Поликушке» отражено многое из того, что волновало писателя в 1856—1857 гг., что сказалоь в проблематике «Утра помещика». Во второй половине 1850-х гг., размышляя о положении крепостной деревни, пытаюсь изменить судьбу яснополянских крестьян, построить отношения с ними по-иному, Толстой наблюдает расхождение крестьянской общины, проникновение в русскую деревню буржуазных хищнических тенденций. Во многих письмах конца мая — начала июня 1856 г., в «Записных книжках», в «Дневнике помещика» он подробно рассказывает о крестьянских сходках, собранных для обсуждения вопроса о новом статусе взаимных обязанностей.<sup>20</sup> Ни о чем договориться

<sup>19</sup> См. Толстой, т. 7, с. 345—347.

<sup>20</sup> Там же, т. 5, с. 249—258; т. 47, с. 77—80; т. 60, с. 64—67, 68—69, 88—89 и др.

с участниками сходов оказалось невозможно. Недоверие крестьян к барину все время росло. До крепостных дошли смутные слухи, что «в коронацию всем будет свобода», «с землей, может быть, даже и со всей — помещицей»<sup>21</sup>, поэтому в любом предложении помещика они выдвинули подвох и решительно отказались подписывать контракт.

Толстой далек в это время от революционно-демократических решений крестьянского вопроса. Он отнюдь не разделяет веры мужиков, что земля им принадлежит, что «освобождение будет со всею землей».<sup>22</sup> Более того, Толстой призывает, чтобы власти скорее рассеяли подобное заблуждение народа. Он пишет, что, пока не поздно, «нужно спасти все здание от пожара»<sup>23</sup>. Но вместе с тем Толстой ясно представляет точку зрения крестьян, хотя и не разделяет ее, понимает коренную разницу в подходе землевладельцев и земледельцев к проблеме уничтожения крепостного права, правдиво рисует сложившееся положение вещей.

Наблюдения Толстого отразились в «Утре помещика». В какой-то степени они определили и содержание «Поликушки». Необходимо учитывать, что «Поликушку» отделяет от «Утра помещика» реформа 1861 г., но нужно видеть и то, что сближает оба произведения. Уже в 1856 г., ведя переговоры с яснополянскими крестьянами, Толстой приходит к выводу о несостоятельности славянофильских теорий, идеализировавших сельский мир, общину. Он признает серьезность поисков славянофилов, но отмечает узость их взглядов, нетерпимость, ограниченность<sup>24</sup>. В «Дневнике помещика», подробно описав сходку, Толстой высказывает мнение, что мир неспособен решать серьезных задач: «задачу о выходе из помещицкой власти он не только не решает, но сам уничтожается, и остаются невежественные бессмысленные единицы. Контракт с ними невозможен»<sup>25</sup>. К этому времени относится возникновение замысла изображения сходки в каком-либо из художественных произведений как замысла антиславянофильского. В письме к Н. А. Некрасову и И. Ф. Горбунову от 12 июня 1856 г., сообщая о неудаче сходов, о том, что крестьяне «не приняли моих самых выгодных предложений», Толстой добавляет: «Уж поговорю я с Славянофилами о величии и святости сходки *мира*. Ерунда самая нелепая»<sup>26</sup>. Свое намерение писатель выполняет в «Поликушке». С самого начала повести действие ее разворачивается на фоне повторяющихся, как лейтмотив, упоминаний о шумящей крестьянской сходке, собранной у конторы, чтобы решить вопрос, кого отдавать в рекруты. О ней дважды говорится в первой главе. Словами о сходке начинается вторая глава, в которой описывается семья Поликушки. Наконец в 5 и 6 главах Толстой дает подробное изображение сходки, кричащей, бурной, полной противоречий, вражды, основанной на имущественном неравенстве, нескладницы в мыслях, ведущей к невозможности принять какое-то разумное решение. Обрисовка такой нескладницы объективно отчасти перекликается с рассказом Н. В. Успенского «Обоз», с истолкованием его в статье Н. Г. Чернышевского «Не начало ли перемены?» Знаменательно, что звуки сходки, чужой, непонятной и грозной стихии, доносясь до господского дома, вызывают беспокойство барыни, чувство страха. Здесь, как и в «Утре помещика», противопоставлены два мира, и не только чужие, но и враждебные.

К теме крестьянской сходки обращается и Селиванов. В № 17 «Журнала землевладельцев» за 1858 г. он печатает очерк «Мирской сход». Сходка изображается автором далеко не в идиллических тонах. Речь идет о той

<sup>21</sup> Там же, т. 5, с. 252, 255.

<sup>22</sup> Там же, т. 60, с. 89.

<sup>23</sup> Там же, т. 5, с. 256.

<sup>24</sup> Там же, т. 47, с. 70, 74; т. 60, с. 153, 156.

<sup>25</sup> Там же, т. 5, с. 258.

<sup>26</sup> Там же, т. 60, с. 69.

же нескладнице, народной темноте, пьянстве, о ругани богатых мужиков с бедными, о появляющихся деревенских мироедах, кулаках, ловко устраивающих свои дела за счет деревенской общины. Окончательным доводом, определяющим решения мирского схода, оказывается водка. Благодаря ей луг отдают на покос богатому мужику Федосею. Водка решает дело и об обмене земельных участков. В какой-то степени говорит об антиславянофильской тональности очерка Селиванова. Но направленность эта совсем иная, чем в «Поликушке». Все происходящее, по мысли Селиванова, объясняется разложением былых патриархальных отношений старой крепостнической деревни, об утрате которых скорбит автор. Подобная позиция, нередко связанная с резкой критикой существующего, современных «язв», была характерна в более позднее, послереформенное, время для ультраконсервативной газеты «Весть» и, конечно, не имела ничего общего со взглядами Толстого.<sup>27</sup>

В заключение следует остановиться на вопросе о славянофильстве Селиванова. Его основные произведения, «Год русского земледельца» и «День помещика», были опубликованы в славянофильской «Русской беседе». Печатаемая первое из них, редакция благодарил автора за то, что он прислал в журнал начало своего «прекрасного труда», просила Селиванова сообщить и остальные части «Года русского земледельца», выражала надежду, что сможет предложить читателям продолжение этого сочинения, «замечательного не по мелочам <...> но по истинному русскому духу, которым все оно проникнуто»<sup>28</sup>. Редакция, имея в виду начало обсуждения вопроса об уничтожении крепостного права, указывала на особое значение подобных произведений в настоящий момент, когда изучение народного быта стало общей важной задачей. Редакционная заметка свидетельствовала, что Селиванов воспринимался как автор, вызывающий к себе горячее сочувствие, как единомышленник, но не близкий, приславший свое произведение со стороны, не как постоянный сотрудник, входящий в редакционный круг. Она же поясняла, чем дорог Селиванов славянофилам: описаниями народной жизни, ориентировкой на русский быт, православно-религиозными мотивами.

Однако славянофилы вряд ли одобряли идеализацию Селивановым отношений между помещиками и крестьянами, обрисовку в розовых красках крепостного права. По поводу «Года русского земледельца» о такой идеализации прямо не упоминается, но, публикуя «День помещика», редакция открыто высказывает свои сомнения. Издатель «Русской беседы», А. И. Кошелев, считает нужным заявить, что он не разделяет «сожалений автора об утрате патриархальности, будто когда-то существовавшей вообще между помещиками и их крестьянами»<sup>29</sup>. По мнению Кошелева, подобной патриархальности, взаимной любви «в виде общего правила или обычая никогда <...> не было»; если же они где-либо и появлялись, то объяснялись лишь личной добротой того или иного помещика и недостатком «правомерных, вполне каждого человека ограждающих учреждений»<sup>30</sup>. На такого рода случайных и редких исключениях, по словам Кошелева, невозможно основывать судьбы миллионов людей, будущее которых станет настолько совершеннее прошлого, насколько взрослый, гармонически развитый человек, совершеннее ребенка. Несомненно, что рассуждения Кошелева направлены против крепостного права, в то время как Селиванова — в защиту его.

Необходимо отметить, что и сам Селиванов далеко не во всем разделял отношение славянофилов к народу, общине, крестьянскому миру. Особенно

<sup>27</sup> Не следует, однако, отождествлять, направления «Вести» и точки зрения Селиванова. Идеализация патриархальной деревни, народа, столь характерная для последнего и сближавшая его с славянофилами, для «Вести» не была типична.

<sup>28</sup> «Русская беседа», 1856, II, с. 2.

<sup>29</sup> «Русская беседа», 1858, кн. 9, с. 38.

<sup>30</sup> Там же.

отчетливо это сказалось в очерке «Мирской сход», но и в «Дне помещика», там, где речь идет о недостатках народа, многое не созвучно славянофильским концепциям. Селиванов значительно консервативнее славянофилов, и в то же время он трезвее их смотрит на ряд аспектов современной жизни. Не случайно и сын Селиванова, издавая сочинения отца, пишет, что тот, примыкая к славянофилам, «был чужд некоторым крайностям последних»<sup>31</sup>, мало интересовался их политической программой.

---

<sup>31</sup> Селиванов, с. 3.

## НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ АП. ГРИГОРЬЕВЕ

Б. Ф. Егоров

Архив Ап. Григорьева до сих пор не найден. Несколько лет тому назад к костромскому краеведу В. Н. Бочкову явился какой-то странный человек, предложивший именно архив Григорьева, но затем бесследно исчез.

Недавняя находка Л. А. Розановой ценных рукописей Григорьева (и лиц из его семейного окружения), хранившихся в архиве дяди (брата его отца) Николая Ивановича Григорьева<sup>1</sup>, заставляет надеяться, что где-то в Поволжье или Подмоскovie еще существуют неизвестные бумаги знаменитого критика и поэта: архив Н. И. Григорьева из его имения Иринки (Аринки), Владимирской губ., находится ныне в Ивановском областном архиве (ф. 913, оп. 1 — в дальнейших ссылках на этот фонд приводятся лишь номера дел), но все ли материалы попали сюда? Интересно, что в фонде Н. И. Григорьева имеются листки, которые можно датировать 1920-ми годами (написаны по новой орфографии, но речь идет еще о губернии), неизвестного исследователя, в том числе и текст такого объявления: «Доклад в научном обществе. Аполлон Александрович Григорьев. Страничка из истории русской литературы 50 и 60-х годов (По новым, найденным в Костромской губернии материалам)» (№ 24, л. 7). Возможно, речь идет об обзоре данного фонда. Но, значит, он найден в Костромской области? Где? Не там ли хранятся и другие бумаги Ап. Григорьева, о которых некто говорил В. Н. Бочкову? Все это пока остается загадкой.

С любезного разрешения Л. А. Розановой я подготовил к публикации еще одну группу документов из Ивановского областного архива. В квадратные скобки заключается зачеркнутое автором, в угловые — конъектура публикатора. Все даты приводятся по старому стилю.

### Неизвестная статья Ап. Григорьева

До сих пор не было известно ни одного произведения, созданного Григорьевым для «Русского вестника» М. Н. Каткова. Публикуемая статья — единственный текст такого рода, хотя бы частично раскрывающий тематику творчества Григорьева той поры и совершенно по-новому показывающий его в качестве злободневного журнального публициста, вторгающегося в полемику: такой жанр уникален в наследии критика. Он явно был неорганичен для натуры Григорьева, чувствуется скованность, затрудненность в поисках приемов и аргументов; возможно, что статья писалась по прямому заданию редакции «Русского вестника», что еще больше усиливало чуждость жанра

<sup>1</sup> Л. А. Розанова. К биографии Аполлона Григорьева (из материалов Государственного архива Ивановской области). — «Ученые записки Ивановского гос. пед. института им. Д. А. Фурманова», т. 115, 1973, с. 132—150.

и темы. Однако хотя Григорьев и несколько вымученно «зашаманивал» себя и читателя относительно безукоризненности правоты «Русского вестника» (на самом-то деле редакция была весьма деспотична и даже высокомерна к сотрудникам), но пафос идейности, целеустремленности, строгого отбора материала, т. е. пафос четкого и определенного «направления» журнала был Григорьеву очень близок, и тут он без всяких натяжек выражал заветные мысли.

История кратковременного союза критика с редакцией «Русского вестника» такова. Когда Григорьев порвал в 1859 г. с журналом «Русское слово», он в течение нескольких месяцев «разово» участвовал в различных периодических изданиях: «Русский мир», «Сын отечества», «Отечественные записки», пока его летом 1860 г. не пригласил М. Н. Катков постоянно сотрудничать в «Русском вестнике». Вот как пишет об этом сам Григорьев в «Кратком послужном списке на память моим старым и новым друзьям»: «В 1860 году — я получил приглашение и вызов. Я поехал на свидание и привез ответ на дикий вздор Дружинина<sup>1</sup> «Пушкин — народный поэт». Читал Каткову — очень нравилось. Отправился в Москву через месяц в качестве критика. Статей моих не печатали, — а заставляли меня делать какие-то недоступные для меня выписки о воскресных школах и читать рукописи, не печатая впрочем ни одной из мною одобренных (...) Зачем меня приняли? Бог единый ведает... За тем должно быть, чтобы после заявить, что я стащил у них со стола гривенник»<sup>2</sup>.

Дело в том, что осенью 1860 г. Григорьев, получив значительную сумму денег для авансов, отправился по поручению редакции в Петербург вербовать новых сотрудников «Русского вестника», но растратил деньги; Катков рассердился и порвал отношения с Григорьевым (октябрь—ноябрь 1860 г.)

Прежде Катков проявил долю легковерия, представив Григорьеву авансовые деньги, зато потом уже изображал своего бывшего сотрудника чуть ли не аферистом. В апрельском номере «Драматического сборника» за 1861 г., редактируемого Григорьевым, на обложке появилось следующее объявление: «Редакция Драматического сборника обещала своим подписчикам, между другими драматическими произведениями, «Ромео и Юлию» Шекспира в переводе М. Н. Каткова. Но так как он в настоящее время не признает законным выданного им на мое имя документа, на перепечатание его перевода и сомневается в подлинности этого документа, то, до решения спора судебным порядком по этому делу, помещение «Ромео и Юлии» в этом переводе приостановлено. Редактор Ап. Григорьев».

Публикуемая статья создавалась Григорьевым в самом начале общения с Катковым и редакцией «Русского вестника», т. е. очевидно, в конце июля — начале августа 1860 г., как видно из колебаний подписи в конце статьи.

Повод был следующий. Редакция жестко проводила свою идеологическую политику, подчеркивая все случаи несогласия с публикуемыми текстами и вообще свободно обращаясь со статьями сотрудников, что стало вызывать их недовольство. После значительного сокращения статьи Н. М. Благовещенского «Ювенал» («Русский вестник», 1859, № 19<sup>3</sup>, с. 379—421) автор напечатал ее в полном виде в «Сборнике, издаваемом студентами имп. Санктпетербургского университета» (вып. 2, Спб., 1860); статья Б. И. Утина «Очерк исторического образования суда присяжных в Англии» («Русский вестник», 1860, № 5, с. 5—48; № 6, с. 207—256) была обставлена обильными редакционными примечаниями, оспаривающими ряд положений автора, в результате чего Утин выступил в другом журнале с уточняющей статьей «По поводу английской юстиции мира» («Современник», 1860, № 4, отд. III, с. 418—430); наконец, в конце статьи Евгении Тур «Госпожа Све-

<sup>1</sup> Описка. Речь идет о статье С. С. Дудышкина («Отечественные записки», 1860, № 4, отд. III, с. 57—74). Ответ Григорьева неизвестен.

<sup>2</sup> А. Григорьев. Воспоминания. М.—Л., Academia, 1930, с. 380.

<sup>3</sup> Следует учесть, что «Русский вестник» выходил два раза в месяц, поэтому № 19 соответствует первому тому за октябрь.

чина» («Русский вестник», 1860, № 7, с. 362—392) редакция опубликовала заметку, где многим существенным идеям автора противопоставлялись мнения группы Каткова.

Евгения Тур прислала рассерженное «Письмо к редактору», которое было опубликовано в «Русском вестнике» (1860, № 8, с. 406—411) с обширным ответом «По поводу письма г-жи Евгении Тур» (с. 468—488) <sup>4</sup>.

<sup>4</sup> В фонде К. Н. Бестужева—Рюмина в рукописном отделе Института русской литературы АН СССР в Ленинграде хранится (в копиях) переписка Евгении Тур (графини Е. В. Салиас де Турнемир) с Катковым, проясняющая подоплеку спора (шифр дела: 25164. CLXXXI б. 26). Редактор «Русского вестника», все более и более отдалявшийся от либералов и все более склонявшийся к консерватизму (и явно симпатизирующий умным, волевым реакционерам вроде г-жи Свечиной), довольно высокомерно стал поучать Евгению Тур и обвинять ее в нетерпимости; в заметке, которой завершалась публикация статьи Евгении Тур, содержался даже не очень этичный в условиях монархического и православного государства намек на атеизм автора статьи.

Евгения Тур написала Каткову рассерженное письмо, по поводу этой заметки, где сомневалась, что редактор — инициатор ее («Вы не могли читать сочинений Свечиной; умный человек не может одолеть их. Кто же тот господин, который указал вам на этот chef-d'oeuvre? Это любопытно») и возмущалась намеками: «Заходить в чужую душу и косвенно намекать, что критик равнодушен к религии, значит, подвергать его общественному нареканию; это едва ли позволительно, тем более, что на такие обвинения печатно отвечать не приходится».

Катков оправдывался в ответном письме, подчеркивал, что никакого намека не было: «Скорее можно было бы упрекнуть Вас за религиозную нетерпимость, нежели за индифферентизм, которого нет и следа в Вашей статье...» — и далее Катков объяснял, что защищал г-жу Свечину как всеми гонимую и безответную, что она не похожа на русских барынь, по моде меняющих вероисповедание.

На это Евгения Тур ответила интересным письмом, которое привожу полностью:

«Почтеннейший Михаил Никифорович.

Посылаю вам письмо для напечатания в Рус<ском> Вестнике и желала бы знать, можете ли вы поместить его в следующей книжке. Ваше письмо я получила, возвратясь из театра. Очень сожалею, что вышло это несогласие, но я даю вам слово, что отстраняю все личное и гляжу на него с другой стороны. Я не увлеклась *православием*, вы довольно хорошо меня знаете, чтобы понять, что мне дела нет, кто католик, кто православный; эти ничтожные различия, придуманные попами, не трогают меня. Я напала на Свечину как умела и могла, потому что она сделалась проводником теорий, мне ненавистных, потому, что сочинения ее, читаемые всеми наперерыв, и особенно женщинами, я считаю вредными, *развращающими* ум. Наше русское общество, не блещит развитием, и я, пока пишу, вечно буду восставать (насколько умею) против таких книг, как книга Свечиной. Удивляюсь, что вы не взглянули на нее с той же точки зрения; я объясняю это тем, что вы не видали книги. Она вреднее миллион раз какого-нибудь «Накануне», о котором бьют в набат, а тут еще защищают — да кто же? — Вы. Мне нужды нет до русских барынь, меняют они или нет религию, я всегда ненавидела католических попов, мрак этого учения, и везде буду его преследовать, насмехаться над ним (по мере сил), и вот почему я не могу простить вам, что вы испортили статью мою своей заметкой. Это не личный вопрос, повторяю вам, это вопрос мнений и убеждений. Меняй веру, живи, где хочешь, но не проповедуй мрачного учения, не сбивай слабых голов с прямого пути. Этого простить нельзя, и жива или умерла Свечина, мне все равно. Ведь и Н<иколай> П<авлович> умер, так я поэтому должна хвалить его? Я была и буду враг узких и темных теорий, враг узкой и услов-

Кто-то из лиц, близких к Евгении Тур (вероятнее всего она сама), выступил с критикой идеологического «деспотизма» катковского журнала (И. Май. Краткое сказание о последних деяниях Русского вестника. — «Московские ведомости», 1860, 19 мая, № 109, с. 858—862). Последовало «Объяснение» катковского кружка («Русский вестник», 1860, № 10, с. 145—167), что вызвало целую серию ответных статей «Московских ведомостей»: Б. Утин. Свидетельское показание (По поводу «Объяснения» редакции «Русского вестника») (№ 136, 21 июня, с. 1077—1078); И. Май. Объяснение «Объяснения» «Русского вестника» (№ 137, 22 июня, с. 1082—1085); Н. Благовещенский. Ответ на «Объяснение», помещенное в № 10 «Русского вестника» (№ 138, 23 июня, с. 1093—1094; еще раньше статья была напечатана в «Санкт-петербургских ведомостях», № 135, 19 июня). Отсутствие особого ответа Евгении Тур заставляет подозревать, что именно под псевдонимом «И. Май» скрывалась она или близкое к ней лицо).

Редакция «Русского вестника» в свою очередь полемизировала статьями «Невладеющие классы и мировая юстиция» (по поводу ответов Б. И. Утина) и «Дополнительное объяснение по поводу статьи г. Благовещенского» (№ 12, «Современная летопись», с. 429—462, 462—463). Последняя заметка вывела из полемики Н. М. Благовещенского, т. к. еще раньше в «Московских ведомостях» было напечатано письмо «От редакции Русского вестника» (№ 141, 26 июня, с. 1118) с угрозой обнародовать предварительное письменное разрешение Благовещенского на редакторскую правку его статьи об Ювенале, на что автор статьи ответил примирительным письмом, которое с удовольствием опубликовала редакция «Русского вестника» (в упомянутом «Дополнительном объяснении...»), а через несколько дней напечатали и «Московские ведомости» (Н. Благовещенский. Редакции Русского вестника. — № 151, 10 июля, с. 1197).

Тут-то и включился в полемику Ап. Григорьев. Критический его пыл подогревался не только заданием редакции и идеологическими точками соприкосновения с нею (не очень многочисленными!), но и — тоже мировоззренческой — ненавистью к западническому кружку Коршей, усиливаемой еще и семейными распрями (Григорьев очень раздраженно относился к братьям его жены Евгению и Валентину Коршам, занимавшим в семейных ссорах Григорьевых сторону своей сестры). А Валентин Корш был в то время редактором «Московских ведомостей».

Статья не была опубликована. Григорьев, очевидно, передал затем черновик своей кузине Варваре Николаевне Григорьевой через ее брата Платона, приписавшего в конце рукописи: «Зная, что тебе приятно будет разбирать эти варакули в часы досуга, я решаюсь послать тебе их, даже не зная их содержания — надеюсь уже узнать его от тебя при свидании, — а то самому не берет охота, да и некогда трудиться над этими гиероглифами» (№ 9, л. 21 об.).

Черновик статьи воспроизводится полностью по автографу Ап. Григорьева (№ 9, лл. 9—21 об.).

А полемика продолжалась и без участия нашего критика: в конце 1860 г. разгорелся спор «Русского вестника» с Евгенией Тур, намеревавшейся изда-

ной морали и надеюсь умереть с моими убеждениями, что бы обо мне ни кричали. От крику не уйдешь. А в мои лета меняться не приходится, да и я крепко держусь за свои убеждения. Вот что одно побуждает меня просить поместить письмо мое к вам, как к редактору, в ближайшей книжке «Вестника».

Все эти материалы Евгения Тур прислала К. Н. Бестужеву-Рюмину как члену редакции «Отечественных записок» для ознакомления и добавила еще: «попрошу вас, если возможно только, вклеить куда-нибудь, что Свечина написала отчаянное письмо по поводу смерти Н<иколая> П<авловича> в России. Расскажите это, быть может, этим можно воспользоваться для того, чтобы сказать, что уехав из России, она не переставала принимать участия в ее судьбах».

вать газету «Русская речь», спор о сотрудниках и подписчиках (см. редакционное «Объяснение» и «Заметку» — «Русский вестник» 1860, «Современная летопись», № 20, с. 431—434; № 21, с. 100—104; Евгения Тур. Объяснение. — «Московские ведомости», № 252, 19 ноября, с. 2000—2001) и одновременно продолжался спор с Б. И. Утиным (см. Б. И. Утин. К вопросу о мировой юстиции и самоуправлении в Англии. — «Современник», 1860, № 11, отд. III, с. 1—24; Ред. Еще несколько слов о мировой юстиции. — «Русский вестник», № 23—24, «Современная летопись», с. 312—318).

**Дело о Русском Вестнике и его антагонистах.  
Письмо к редактору Московских Ведомостей.**

Вы, М. Г., — как и все порядочные люди в наше время — поборник гласности и газета Ваша во имя уважения к интересам свободы мнения, вероятно, не откажет совершенно постороннему наблюдателю в местечке для выражения его взгляда на дело, произведшее не мало шума в Московских *учено-литературных* кругах и перешедшее теперь уже и в круги Петербургские...

*Прежде всего* я должен сказать, что привык с давних пор уважать глубоко Русский Вестник, его цели, дух, направление, и Вы вероятно сами согласитесь, что немало найдется людей, разделяющих со мною это глубокое уважение.

Не мне одному также по всей вероятности мог показаться весьма неприличным тон двух статей г. Мая в отношении к редакции журнала, оказавшего множество бесспорных заслуг нашей общественной жизни, [хотя конечно никто из читателей вашей газеты не мог сетовать на Вас как на ее редактора за помещение этих статей.] Газета, столь распространенная, как Ваша, должна в интересе гласности давать место *различным* толкам и различным спорам о *различных* возникающих в каком бы ни было мире вопросах.

Поместили Вы раз полемические статьи одного постороннего в отношении к делу — *conditio sine qua pop\** — что бы Вы поместили и отзыв другого постороннего человека. От чего еще не третьего и не четвертого — скаже<те> Вы, может быть? И третьего и четвертого, отвечу я — пока дело еще кипит, пока оно не сдано в архив.

А дело еще видимо кипит — и неизвестно, скоро ли будет сдано в архив. Вероятно редакция Русского Вестника не скоро положит оружие — да вероятно и г. Май продолжит свою полемику.

А пока позвольте к Июлю положить свою лепту...

Прежде всего надобно, мне кажется, *констатировать* факты — и из такого констатирования вывести прямые и определенные заключения о положении вопроса.

На прямой взгляд постороннего и беспристрастного наблюдателя — факты, с которых началась история, вовсе не представляли того вопиющего и ужасного, что предполагал и видел в них г. Май. Все в сущности разъяснялось гораздо проще — и не надобно было ни предполагать деспотизма в редакции Вестника, ни доказывать этот деспотизм.

Всякий журнал есть *дело*, по крайней мере должен быть *делом* — т. е. результатом глубокого убеждения — иначе он не журнал, а сборник, имеющие <так!> цели разве только коммерческие.

Редакция, допускающая<я> вещи, противные своему убеждению или допускающая их без оговорок, — в строгом смысле слова не может названа и редакциею. Только литературный цинизм и некоторая распущенность нашего времени могут стоять за правило равнодушия редакции к убеждениям сотрудников.

---

\* Если газета *точно* действует в интересах гласности.

С другой стороны, правильно организованная редакция не может быть равнодушной и к самим лицам сотрудников. Проще было бы конечно редакции Русского Вестника не помещать статьи г-жи Евгении Тур и статьи г. Утина: — но едва ли было бы это правильно. Ведь не все то непременно хорошо, что просто. Просто и лес медведь ломал — да не умел дуги сделать.

Поместивши статьи г-жи Тур и г. Утина, журнал выказал далеко не равнодушное отношение и к своим сотрудникам и к их статьям — оговорившись в частных несогласиях своих с статьями, редакция выполнила свою обязанность относительно чистоты и неприкосновенности своих убеждений.

Обидного в заметках редакции не было ничего: по крайней мере ни для кого, не посвященного в закулисные тайны, ничего не было видно.

Вот, по моему мнению, точка зрения, с которой с самого начала должно было взглянуть на дело и как бы посмотрела на него публика без разъяснения г. Маем закулисных тайн того, чисто закулисного элемента, который внесен в дело г. Маем.

Не посвященная в закулисные тайны публика поняла дело именно так, как я имел честь изложить. Ничего странного и деспотического не видала она в заявлении редакции журнала, которого убеждения давно уже были основательно заявлены — своего несогласия с некоторыми частными убеждениями, высказывавшимися в статьях ее, впрочем весьма почтенных сотрудников.

*Откровенно говоря*, публика, если что находила странным, так не это заявление, а то, что редакция еще прежде по поводу статей г-жи Е. Тур о М-те Рекамье и проч. — не заявляла своего несогласия с некоторыми сторонами этих статей, очень интересных, но отличающих <ся> по местам духом крайней нетерпимости, как не высказалась она в подстрочном примечании по поводу полупрезрительных отзывов о личности Шатобрена, — по поводу воинственных — и притом донкихотски воинственных возгласов против Наполеона I-го и т. д.<sup>1</sup> Весь этот воинственный азарт положительно противоречил общему тону журнала, тону, постоянную выдержку которого журнал стоит так высоко в общественном мнении.

Вот в чем разве можно было упрекнуть редакцию Р<усского> Вестника — а вовсе не в том, что по вопросу, столь существенному, как религиозные интересы и интересы духа, поколику проявились они в жизни и сочинениях Свечиной — подали редакции повод к явному отделению своего воззрения от воззрения, высказавшегося с такою жестокою нетерпимостью в статье<sup>2</sup> энергической, даровитой и плодотворной сотрудницы (для большего спокойствия совести лучше приписать г-же Тур *совокупно* все эпитеты, полученные ею и от противников и защитников<sup>3</sup> в краткий период великой [борьбы] войны ее за независимость).\*

\* А главное-то дело еще в том, что 1) Заметка редакции по поводу статьи о г-же Свечиной не заключала в себе ничего обидного — тем менее еще заключала какие-либо обидные намеки. 2) Последующие объяснения между г-жей Евгенией Тур и редакцией так же для непосвященных в закулисные тайны людей, т. е. для публики, обнаружили только яснейшим образом разногласие между взглядами редакции и взглядами г-жи Евгении Тур. Один только г. Май мог увидеть в простом предположении редакции — предположении, извлеченном из самого официального документа, из напечатанных статей и из напечатанного же письма г-жи Тур, — предположении, что г-жа Е. Тур поклялась вести войну с ультрамонтанством — намек на какие-то частные письма и разговоры. Самым явным образом, что редакция не имела в виду ничего частного и секретного, предполагая то, что всякому читающему статью о Свечиной и письмо г-жи Тур, [равно как и другие статьи этой писательницы] — предположить возможно, *ни как* Евгения Тур тоже не имела в виду частных писем и разговоров, предполо-

Разногласие редакции с г. Благовещенским вследствие объяснения сего последнего, напечатанного в вашей же газете, оказалось чистым пуфом, происхождение которого публика и объяснить уже теперь не может — разве г. Май откроет еще какие-нибудь закулисные тайны, породившие этот пуф — хотя конечно ожидать таких откровений очень трудно, даже почти невозможно. Для подобных откровений надобно будет *решиться* на пожертвования уже не в пользу того дела, которого г. Май явился героическим ратоборцем.\*\*

Наконец, причина разногласия редакции Р<усского> Вестника с некоторыми пунктами статьи г. Утина и стало быть причина заявления разногласия была совершенно очевидна для всех понимающих дух журнала, Она заключалась не в англо-манни редакци, не в желании выстоять *quand même* недостатки того или другого английского института — а в достойной

живши, что редакция взялась защищать память г-жи Свечиной, а просто ошиблась. Таким являлось дело для публики. Не таким, как вы знаете, представилось оно г. Маю. Он сочинил из предположения редакции целую и притом вовсе не литературную историю, забывши, что такую же точно да пожалуй еще худшую историю мог бы подобный ему витязь сочинить из предположения г-жи Е. Тур.

\*\* Для публики, помимо закулисных предположений г. Мая, очевидны из дела между редакциею и г. Благовещенским следующие обстоятельства.

1) Г<-н> Благовещенский дал редакци свою статью с правом, если не исправить ее — то, как говорится, *обделать* сообразно с общими журнальными требованиями.

2) Г<-н> Благовещенский протестовал.

3) Редакция в свою очередь протестовала против протеста и желая естественным образом быть столь же правою перед публикой, как была она права перед г. Благовещенским, сослалась на имеющиеся у нее в руках документы, т. е. на письма г. Благовещенского, уполномочивавшие ее на обделку его статьи, сообразно общим журнальным требованиям. Боже великий! Какую же историю, опять-таки не литературную, пахнущую подслушиванием у дверей, сочинил по этому поводу г. Май — любопытную, назидательную для потомства историю. В документах, прямо относящихся к делу о статье г. Благовещенского — он видит намеки на какие-то особенные документы, не к этому собственно делу, а к чему-то иному, к чему-то должно быть скандальному относящиеся. Как это назвать прикажете? Идет дело между истцом и ответчиком. Ответчик на обвинение истца — что он поступил не так, как истцу хотелось, говорит — что он поступил так, как поступить сам истец его уполномочил и в доказательство правоты своей ссылает<ся> на документы его, к такому образу действий уполномочившие. Дело ясное и простое — никаких угроз тут конечно не было видно и не могло быть видно, кроме г. Мая, питающего страсть к закулисным объяснениям самых простых фактов [и к обращению простейшего гражданского процесса в процесс уголовный].

4) Так как г. Благовещенский от своего протеста сам отказался в № <151> Вашей газеты — то дело это ныне и сдано в архив для публики, [— но едва ли для г. Мая] для редакци и для г. Благовещенского, т. е. для всех *компетентных* сторон — хотя едва ли сдано оно в архив для г. Мая. Блистательный предшественник его на поприще криминальных разысканий — памятный Москве следственный пристав Гаврила (более известный под именем Гаврюшки) Гаврилов поднимал часто дела, за десять или даже более лет решенные.

Одно предположение во вкусе предположений г. Мая — позволю себе я, как публике по делу редакци и г. Благовещенского! Кем, как и чем был подвигнут г. Благовещенский к протесту, от которого сам же потом и отказался? Вот предмет, достойный розыска г. Мая, за давним недостатком или, как говорит[т]ся лось в полицейских сведениях, за умертвием его славного предшественника.

всякого уважения верности принципу. Вот что говорит сама редакция по поводу этого в своем объяснении с г. Утиным и что все читатели, не знающие, как г. Май, с тайнами закулисного мира, нашли совершенно удовлетворительны<м>.

#### Выписка. 4

Вообще же по делу между редакцией Р<усского> Вестника и г. Утина <так!> публика, к закулисным тайнам не причастная, могла только вынести 1) из протеста г. Утина убеждение, что г. Утин в сущности сердится не за примечания редакции к его статье, а на то, что редакция поступила по его требованию, т. е. напечатала статью целиком и по необходимости должна была оговориться. 2) Из ответа же редакции г. Утину — в том, что редакция и формально права перед г. Утиным, обязавшим ее к формальности, и существенно права перед публикой, не допуская в отличной статье — пунктов, противоречащих ее убеждениям, без оговорки перед публикой. Предположение, что г. Утин сердится именно за то, что редакция выполнила его формальное требование, выводит публика просто из того, что ему нет повода сердиться ни за что иное. Формальное требование его исполнено: статья напечатана целиком. Но ведь он знал же убеждения редакции и знал пункты, в которых статья его с этими убеждениями расходится — иначе бы он и не заявил формального требования. Он знал также, что редакция Вестника никогда не печатает вещей противных ее убеждениям без оговорок. Чего же он хотел? Неужели же того, чтобы редакция изменила своим убеждениям? Не думаем. Г<-н> Утин сам хорошо понимает, что убеждения не меняются, как костюмы. Он знал, что в некоторых пунктах редакция с ним разойдется и должен был знать, что редакция не то, что заявить, но не может не заявить своего разномыслия с ним, и между тем прислал статью с формальным требованием напечатать ее целиком. Ergo...

Когда имеешь дело с редакцией, которая проводит повсюду свое дорожное убеждение, то необходимо уже должно знать, à quoi s'en tenir!..

Я счел долгом рассказать вкратце, как было все дело между редакцией и ее сотрудниками и что создал из этого дела г. Май.

В «Сказании и т. д.» читающая публика — хотя и не вся, ибо надобно исключить журнальную братию — увидела без особенных усилий <стремление?> проникнуть в закулисные тайны, а вследствие простых логических соображений личность, когда-то состоявшую в сношениях с редакцией Р<усского> Вестника, чем-то справедливо или несправедливо ею недовольную и ухватившуюся за первый случай обнаружить свое недовольство редакцией и отомстить ей. Публика увидела господина, спешившего откуда-то на поле битвы и желающего во что бы то ни стало обвинить редакцию Русского Вестника в различного рода покушениях на самостоятельность и личность сотрудников — представить редакцию в виде Ландлорда, а сотрудников в виде угнетенных фермеров — другими словами, обвинить редакцию в деспотизме в отношении к сотрудникам: — господин, посвящающий целый столбец Ведомостей на доказательство, что *заметкою, сделанной* в конце, а не в начале или середине статьи г-жи Тур <редакция> хотела уничтожить эту статью — всюду отваливающего как-то guet-apens — [Кроме того] и потом во втором письме своем, в «Объяснении объяснения», то отторгающегося от прежних объяснений, то отшучивающегося в прежнем тоне, то не отвечающего прямо.

[Затем] Итак из различных актов в деле и различных его фазисов открылось очевидно, что редакция ни формально, ни сущ<ественно> не была виновата ни перед публикою, ни даже перед своими сотрудниками.

1) Заметка в конце статьи г-жи Тур о Свечиной была по тону своему такова — что только с сведениями о закулисных тайнах можно было найти в ней что-либо оскорбительное. Более радикальное выражение редакции ее разногласий с воззрениями г-жи Тур вообще были вызваны

уже потом письмом сей последней. *Вопияние* же на помещение же <так!> заметки не в начало, а в статью <конец> статьи — опять только по закулисным законам мышления могло быть сочтено за *quiet-areps*, за лоушку или попросту за подвох.

Формально же оказалась и перед г. Утиним права редакция, ибо, как видно из ее объяснения, г. Утин сам поставил ее в чисто формальные отношения.

### Выписка

О г. Благовещенском я уже и не упоминаю, а указываю только на № Московских Ведомостей, в котором помещено его объяснение, которое г. Май должен был необходимо читать с сокрушенным сердцем, он, принимающий так к сердцу интересы оскорбленных редакциею сотрудников и так вопиющий на ее деспотизм, самодовольство, всезнание и т. п.

Впрочем виноват! Едва ли справедливо будет принимать к сердцу, т. е. почитать за настоящие интересы самого г. Мая, даже с позволения сказать — самые его убеждения в истине того, что он говорит.

Явным образом существует замечательное и для читателей совершенно непонятное противоречие между двумя письмами г. Мая, т. е. между «Сказанием и проч.» и между «Объяснением объяснения». Два этих памятника литературной деятельности г. Мая представляют собою нечто в роде знаменитой лубочной картинки «Наполеон сам себя пожирающий». Не то, чтобы тон во втором письме изменился против первого: нет! тон остается столь же... как бы это сказать поучтивее, но право, кроме эпитета «наха-лен», — другого я не придумаю — но от множества положений первого письма отрицается с самым бестрепетным цинизмом второе...

Знаменитый Адам Вейсгаупт,<sup>5</sup> основатель иллюминатской секты, не без основания вероятно полагал, что печатно можно отрицаться от всего с верою, что найдется всегда тысяча господ, готовых поверить печатному, каково бы оно ни было. Неужели на основании этого правила действует г. Май?

В первом письме, т. е. в «Кратком сказании и т. д.» — с самого начала, во всем тоне обнаруживалось положительнейшее отношение к редакции Русского Вестника, как к возгордившемуся деспоту. Ну, это было по крайней мере понятно. Могут быть и деспоты, и люди, состоявшие под их деспотизмом, и внешние к этому деспотизму. Другой вопрос — было ли справедливо обвинение в деспотизме, но во всяком случае — оно было психологически понятно.

Но как же согласить с этими положительно выразившимися отношениями начало второго письма, где г. Май говорит, что *они* «старались в *их* статье говорить с *нею* (с редакциею) самым мягким тоном в самых почтительных выражениях». <sup>6</sup> Уж не относит ли г. Май к области мягкого тона и к числу почтительных выражений — выражения вроде таких, что редакция «набросится, рвется и мечется, прибегает к зубам и ногтям, кусает и царапает» <sup>7</sup> — каковыми изобилует его первое, весьма игривое письмо.

Если это извинение, то оно пахнет уверткой, достойной тех, которые обыкновенно противуполагаются деспотам. Если же это ирония — то и самая ирония есть здесь не иное что, как увертка, только не перед деспотами, а перед публикой, перед другого рода деспотом.

Объяснение Русского Вестника, столь точное и положительное — подкрепленное уже в некоторых пунктах посторонними, много говорящими фактами, как, например, объяснение г. Благовещенского, требовало со стороны антагониста добросовестного — не увертки, положительной или иронической — а отрицания столь же ясного и отчетливого — как оно.

Вместо отрицания г. Май пустился в уверения, что он говорил с редакциею в положительном тоне, — что он не желал даже *испугать* ее.

Конечно, упомянутое мною правило Адама Вейсгаупта имеет большое практическое применение к действительности, особенно же к нашей действительности, в закоулках которой

Печатный всякий лис <т> быть кажется святым,<sup>8</sup> но ведь найдутся же люди которые читали и первое письмо г. Мая, — найдутся и такие, которые если не читали первого, то прочтут его, прочтя второе. Все может случиться, г. Май, в нашу интересующуюся всякою полемикою эпоху...

Вспомните, что в Сказании вы обвиняли редакцию так ясно и положительно 1) в цензурстве, касающемся объема и самого духа статей несчастных сотрудников последнего, т. е. духа, но посредством прибавки собственного, самой редакции принадлежащего, 2) в критике над печатаемыми статьями, 3) в заметках, исполненных правоучений автора <м?> и злобных намеков на их нравственные убеждения, 4) во всезнании и даже в азании, т. е. просто на просто говорили, что редакция *зналась*, 5) в догматизме, лишенном всякого научного содержания — догматизме, объясненном Вами из философских занятий одного из редакторов Вестника,<sup>9</sup> 6) в софистических дарованиях, 7) в самодовольстве и наконец 8) в выражениях, достойных грязных памфлетов.

Вспомните, что на все это редакция отвечала вам весьма подробно. Не опровергала она только одного — вашей специальной ненависти к философии и к философским занятиям — но вероятно только потому, что такая ненависть есть ваша специальность, собственно вам принадлежащая — стало быть, вещь, до которой никому, кроме вас и знающих вас, дела нет — а так как редакция беседовала собственно не с вами, а с публикой, по поводу объяснений, вами в нее брошенных — то могла и не спорить с мнением, собственно вам принадлежащим. Я даже — беседующий с редактором Московских Ведомостей о вас специально — не стану восставать против вашего личного вкуса. На все же остальное в ваших обвинениях редакция отвечала.

Вместо прямого опровержения ответа редакции г. Май, как я упомянул уже выше, прежде всего прибег к двусмысленной увертке. Затем начал распространяться о впечатлительности редакции и мрачном настроении ее духа, о каком-то испуге ее, наконец, о каких-то новых ее странных выражениях...

Одним словом, «объяснение объяснения» — не хотело и знать того, что взялось оно объяснять.\* Оно голословно повторило или развило прежние обвинения и осталось верным себе в прежнем своем закулисном характере. Постоянно вещь конечно хорошая, но ведь, право, не во всем же, наконец! И в прежнем подвиге г. Мая закулисный элемент выдвигался необыкновенно рельефно, как, например, в повествовании о споре Редакции с <sup>10</sup> споре, о котором публика ничего не знала, который печатно нигде не высказался и стало быть мог быть подслушан разве только за дверьми того кабинета или той гостиной, где он происходил; — если только происходил.

Но во втором послании г. Май вышел даже из пределов благопристойности. Ему, например, достоверно известно, что «сотрудники Русского Вестника <не остаются?> в Русском Вестнике».<sup>11</sup> Конечно, это сведение, и сведение новое, — ибо до сих пор мы знали только о нежелании г-жи Тур и г. Утина быть сотрудниками Р<усского> Вестника — конечно, это сведение приобретено путем закулисным, — да благопристойно ли сообщать такое, и вдобавок еще лживое сведение?.. Закулисный способ приобретения своей «утки» г. Май старается прикрыть официальной ложью — да изви-нит он меня, что я называю вещи их собственными именами.

\* Оно отрелось самым странным образом от обвинения редакции в деспотизме, как будто не все равно сказать, что редакция Ландлорд или что она деспот: — оно забыло, что целый столбец был посвящен в «Сказании» раскрытию всей ужасной преступности заметки в *конце* статьи г-жи Тур, и затем оно забыло, что называло редакцию Русского Вестника исправительным заведением и сотрудников представляло какими-то неграми.

«Нетрудно заметить, — говорит он, — что от Русского Вестника отходят по очереди разные сотрудники. Через этот журнал прошли почти все русские литераторы, но многие прошли и не возвращаются более». <sup>12</sup>

О, Адам Вейсгаупт! О золотое правило!

Кто же эти многие-то? [Г. Май?] Укажите их! [Г-жа Тур, г. Утин, а дальше-то кто?] Из известнейших наших литераторов, прошедших в Русском Вестнике в течение его пятилетнего существования, одни прошли в Вестнике и не возвращаются, потому что *перешли* в жизнь лучшую, как С. Г. Аксаков, — другие, как Тургенев, Островский, г-жа Кохановская, пишущие весьма мало, *прошли* в Вестнике вероятно не безвозвратно; третьи, наконец... но ведь и в Вестнике, хоть он журнал высокоуважаемый публикою, прошли вещи литературно довольно слабые — так зачем же творцам этих вещей без особенной нужды и возвращаться в Вестник?

Что касается до развития и пополнения прежних своих обвинений — то в одном из них он проговорился умирительно. Развивая циническое мнение о том, что редакция журнала не должна давать тона и направления журналу, т. е. не должна иметь ясного, точного и определенно сознаваемого убеждения — он упрекает редакцию Р<усского> В<естника> — в чем бы вы думали — в постоянном присутствии в журнале!! *Credite posteris* — потому что вы, *posteris*, авось либо излечитесь временем, от нашего цинизма и от нашей распушенности!.. Хорош журнал, в котором где-либо, на какой-либо странице, когда-либо и в чем-либо отсутствует редакция!

В конце концов — «Объяснением объяснения» не решено вообще ничего и тем менее дело о Русском Вестнике и его antagonистов <так!>.

На этом основании я надеюсь, что и мне, смиренному Июлю, такому же сыну своего времени, уделите Вы местечко в вашей газете — как уделите его моему предшественнику по времени г. Маю, как уделите его вероятно и Августу, если таковой явится. Авось он-то, т. е. Август или по крайней мере Сентябрь и порешит все дело!

А. [Июль] Август.

## Примечания

1. В статье Евгении Тур «Г-жа Рекамье» («Русский вестник», 1860, № 3, с. 397—462; № 4, с. 651—688), действительно содержались полупрезрительные отзывы о Шатобриане: «Общество боготворит г-жу Рекамье, а она боготворит Шатобриана, поклоняется ему и получает взамен одну гордую, над всеми тяготеющую скуку, которую вносит Шатобриан, в продолжении всей своей жизни, во все свои отношения (...) Она поглощена, уничтожена, подавлена Шатобрианом, этим воплощением сухого эгоизма» (с. 658), и еще более резкие отзывы о Наполеоне (в связи с мемуарами Наполеона, диктованными им на о. Св. Елены): «почти каждое слово Наполеона — ложь и ложь, самая явная, самая дерзкая. Это такое глубокое нравственное падение (...) Штыками думает он взять все и все сравнить, все привести к общему знаменателю (...) Это самообожание выходит из всякой благоразумной меры, и чем более растет оно, тем больше человек мельчает» (с. 426).

Романтик Григорьев, очень возвышенно относившийся к Шатобриану (см., например, «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина», статья вторая, 1859) и ценивший романтический дух наполеоновской Франции, не мог согласиться с такими суждениями.

2. С позиций либерального западничества Евгения Тур резко отрицательно относилась к католическому фанатизму г-жи Свечиной; вот как она резюмировала свою точку зрения в «Письме к редактору»: «свобода, отечество, наука, прогресс для нее (Свечиной — Б. Е.) не существовали; интересы папской власти и той части французского духовенства, которая стоит во главе так называемой ультрамонтанской партии, были ее исключительными интересами» («Русский вестник», 1860, № 8, «Современная летопись», с. 410—411).

3. И. Май в первой полемической статье высказывал недовольство по поводу эпитетов, применявшихся редакцией «Русского вестника» по отношению к Евгению Тур, на что редакция ответила: «Этот господин, приступивший к нам в Московских ведомостях (...), укоряет нас еще за то, что будто бы мы постоянно в нашей статейке называем г-жу Евгению Тур *энергической* писательницей. Только раз в целой статье употреблен этот эпитет, а постоянный, который мы употребляли, говоря о ней, есть *даровитая* писательница. Этот эпитет кажется нам решительно лучше, чем *плодовитая*, употребленная ее защитником» («Русский вестник, 1860, № 10. «Современная летопись», с. 165)

4. Здесь и далее «Выписка» означает, очевидно, то, что Григорьев намеревался в данном месте приложить цитату из статьи «Русского вестника».

5. Вейсгаупт Адам (1748—1830) — немецкий юрист, основатель ордена иллюминатов (1776), просветительского общества масонского типа; Григорьев, связанный в 1840-х гг. с тайными масонскими организациями, очевидно, изучал труды Вейсгаупта.

6. Неточная цитата. У Мая: «Редакции показалось, что мы ... *приступили к ней с ножом к горлу*, мы, которые старались в нашей статье говорить с нею самым мягким тоном и в самых почтительных выражениях» («Московские ведомости», 1860, № 137, 22 июня, с. 1082). Разумеется, это чистая ирония Мая

7. Неточная цитата. У Мая: «Она (редакция «Русского вестника» — Б. Е.) представляет собою вид человека, который не имея других средств в борьбе с противником, прибегает к зубам и ногтям. Он кусает и царапает г-жу Евгению Тур и бросает в нее всем, что находит под рукою» («Московские ведомости», 1860, № 109, 19 мая, с. 861.)

8. Строка из сатиры И. И. Дмитриева «Чужой толк» (1794).

9. Намек на философское образование и преподавательскую деятельность М. Н. Каткова.

10. Григорьев оставил здесь свободное место. Очевидно, речь идет о разрыве Каткова с группой либералов (Кавелин, Корши), о чем печатно не объявлялось в России, но о чем все знали. Вот как об этом писал И. Май в первой статье: «Всему миру известно, каким образом сложились идеи и убеждения Русского Вестника насчет самоуправления, децентрализации и т. д. (...) Редакция Русского вестника уяснила себе все эти вопросы вследствие спора с г. Чичериным и другими своими сотрудниками. До половины 1857 года не заметно было в журнале никакого предпочтения к английским учреждениям (...). Разрыв с частью сотрудников утвердил мнения и убеждения редакции» (с. 860).

11. Такого текста нет во второй статье И. Мая. Очевидно Григорьев пересказывает следующее место: «Редакция невольно ведет нас в сферу действительности. Допустим, говорит она, прибегая к смелой фигуре, что мы в самом деле одержимы бесом властолюбия: отчего же тогда сотрудники остаются нашими сотрудниками? Да в том-то и дело, что не остаются» (с. 1083).

12. Точная цитата из второй статьи И. Мая (с. 1083).

### Письмо Н. И. Григорьева к В. Н. Григорьевой

В фонде Н. И. Григорьева находятся разрозненные письма членов его семьи, в том числе и публикуемая ниже сохранившаяся часть большого письма Николая Ивановича к дочери Варваре (№ 16, лл. 1—2 об.; № 4, лл. 25—26). Два небольших отрывка из этого письма напечатала Л. А. Розанова (ук. соч., с. 141). Письмо датируется началом сентября (при двух постскриптумах написано «2 сентября» и «3 сентября») 1860 г., т. к. речь идет о свидании с Ап. Григорьевым, живущим в Москве и вернувшимся из заграничной поездки, и о недавней покупке Фетом хутора в Орловской губ.

(все эти данные делают 1860 единственно возможным годом: Фет купил имение летом 1860 г., а в сентябре 1861 г. Григорьев был в Оренбурге, а не в Москве).

Сохраняем орфографию подлинника.

### Текст письма.

<...> Знакомство посторонних лиц, то есть людей с иными убеждениями, они совершенно отстранились от семейств своих; и в Гостинный кружок их взойти чрезвычайно трудно.

Скоро ожидается Наполеон, и ожидается с нетерпением, совершенного сближения с этой гордой, крошечной аристократической партией. Вот чрез что: — Признаваемый ими за французского Короля последний Бурбон стар и бездетен<sup>1</sup>. Со смертью его аристократы решили<sup>2</sup>: не признавая фамилии Орлеанской наследниками французского престола, — как замешанных в убийстве короля — (отец Луи Филип<п>а<sup>3</sup>) — явит<ь>ся к Императору Наполеону III — и присягнуть ему на верное подданство, как человеку, избранному народом, и прославившему с его Великим дядею их отечество. Какова сила нравственного превосходства, что присяги такого маленького общества ожидает с нетерпением великий мир сего, и наверное примет ее от них с восторгом!

P. S. Ты, я уверен, ругаешь меня, что я так расписался, — вот вздумал старый солдат надождать мне рассказами, — надоел! — Так ли мой глупый, милая Варя? А? — Извольте, кончал, разве об Италии рассказать что-либо из слышанного? — После.

P. S. Пишешь ли ты свои Записки, хотя не ежедневные, но дней памятных тебе чем-либо особенных? — А? — Нет, русская девушка с рождения ленива, а деревенская барышня в особенности! Жалею, жалею душевно, естли не приняла моего полезного совета, и даже приятного; — попробуй, заставь себя писать, — и тогда поверуешь словам моим, что имянно найдешь не малую приятность в этом занятии, да и пользу — головки, мой друг.

P. S. Долго еще у нас польза общественная будет так себе, ничто. Недавно Господин Филарет<sup>4</sup> остановил работу Владимирской железной дороги около Андроньева монастыря, где далеко от ограды полотно дороги захватило крошечку земли, ни к чему не нужный отшельникам, — а из людцкого самолюбия, — как ди смела, — МЕНЯ не спросясь! И пошла теперь переписка — а работа дороги стала в этом месте; — а делается-то мостик, — его в мороз класть будет нельзя.

P. S. Как незавиден рассказ о Парижской жизни Аполлона: жизни совершенно уличной, бессемейной, шумной без меры; веселый натянуто, безнравственный до последнего омерзения! Так что человеку с сердцем — по осмотре всех диковинок мировой столицы — хочется скорее бежать из нее! — Он удивляется, как живут там подолгу наши г<оспо>да путешественники, — а их в его время было числом 40 т<ысяч> душ, — проживающих зиму! — Людей всех сословий, — разумеется, более дворян и купцов. — Я сочувствую, что русскому, особенно москвичу, — парижская улично-бессемейная жизнь невыносима! — Лишь любопытство ведет вас в первое время приезда туда; не допускают сначала замечать пустоту жизни парижанина; — а потом, — по натуре российского человека — долги заставляют оставаться там многих, — поневоле.

Но и там есть прекрасная семьянам жизнь, это жизнь за р. Сеною, в Сент-Жерменском предместье, у старой французской аристократии, известный под названием легитимистов; из фамилий этих осталось немного, но они по честности своей, по высоко рыцарской нравственности, — известны всему образованному миру; — любимы всем пародом, уважаемы не только им, но их деспотом Наполеоном III-м. Он, переламывая кривые улицы Парижа на прямые, для избежания на случай бунта баррикад, — не посмел

коснуться кривизны улиц Сент-Жерменского предместья, оставя их в первобытном их положении. Да и для чего ему? — Фамилии эти не вступали ни в какой тайный заговор, — ни против кого! Они открыто не присягали не одному Наполеону, и не несли ни одной коронной службы, и естия занимают должности, то это депутатов, от провинций, избавляясь присяги императору; и исполняют обязанности, возлагаемые на них общественным выбором, безукоризненно честно. Да, Наполеон III уважает и льстит даже при случае лигитимистам! Сожалительно, что нет между этими честными людьми в настоящее время замечательных голов, а все только добрые люди, — и не более.

Р. S. Тетя<sup>5</sup> спрашивала меня о каком-то магике, живущем в Петербурге и делающем чудеса, — вызывая духов, как рассказывала ей сестра Лизавета Ивановна, называя его *Дюма*. Но это вот как на деле: англо-американец родом, г-н Юм<sup>6</sup> женатый на родной сестре жены графа Кушелева-Безбородко<sup>7</sup>, урожденный Кроль, жительница Петербурга, — одарен точно какой-то непонятной силою предреканий и волею вызывать духов; но совершенно не магиею и никакими особенностями не занимается, никому по заказу ничего не предсказывает и не показывает; а по наитию, в кругу знакомых творит иногда непостижимое. — Сам он человек очень обыкновенный, тихий, добрый, — учености не набрался, словом дюжинный. Аполлон коротко его знает, потому что он жил при нем у своего свояка г-фа Кушелева в доме, — с Аполлоном, или то есть Аполлоном Юм раз проходил вечером из комнаты в другую, пожал подойдя к нему ни с того ни с сего его руку, сказав ему: «Вы сегодня будете видеть вашу мать» и ушел. Аполлон посмеялся мистификации, забыл предсказание, кончил свои журнальные занятия и уехал домой; но в эту ночь видел ясно свою мать — разумеется, не спавши — в саване, с закрытым лицом идущую к нему из другой комнаты, — когда он разбирал у стола литературные произведения чьи-то. — Он позвал бывших в другой комнате людей, и приведение исчезло. Вот что было с Аполлоном, и что он видел быв совершенно в ясной памяти, — что за достоверное рассказал и мне.

Во дворце Юм тоже делал что-то непостижимое, — но сам об этом не говорит, а потому и другие обязаны молчать. — Теперь он с женою за границей.

Р. S. 2-е сентября. За сочинение Платона<sup>8</sup> расхвалили директор и учитель — заставили его прочесть перед всем классом — как лутчее сочинение из всех поданных учениками, и разумеется поставили в списке 5+.

Я сегодня был у брата и видел, как Толя пишет тебе ноты, — как кончит, то и отнесу в лавку Горелина посылку.

Р. S. Что за хорошенькой формы у Аполлона рояль (работы германской). — Места в ширину занимает не более сложенного лонберного стола, в длину полтора стола, а в вышину — 2 аршина с небольшим; и с основания своего устроен, (т. е. с самого пола) прехорошеньким шкапом. Игрушечка совершенная; он по случаю заплатил за нее 350 р. сереб<ром>. — Да и тон рояля очень хорош. Я был вчера у Аполлона по желанию его отца, да и из своего участия: жаль было смотреть на его полуболезненное состояние, следствии накануне бывшей оргии; — но он был совершенно трезв. Желаю душевно, чтобы сдержал данное мне слово: кинуть все их кутежи литературные, и нелитературные, и не пить ни капли винного, как бывало прежде; слово дано им энергически, от совершенного сознания гадости и вреда от их попок.

Р. S. Давно не писал Тети и Дяди — да ровно нечего, все жду о Косте из Петербурга. — Думаю вот, вот, сегодня получу, и сейчас за письмо, конверт уже надписан, и даже оплата прилеплена; может еще не успею отнести этот разговор мой с тобою (да, я имянно как бы разговариваю и это меня развлекает очень), как получу бумагу и сейчас пишу, — разумеется, письмо по почте доставится много прежде этого.

Валя, Валя меня занимает! — Не знаю, как и устрою его? Даже рад, что он не приехал еще сюда, авось мать устроится и распорядится по

последнему письму моему к ней. — Бог говорят милостив! — Вот и учишь хорошо мальчик, при таких распорядках глупых. А — далеко очень отстанет в пройденном от товарищей — жалы!

Р. S. Скажу тебе о Дюбюке<sup>9</sup> (ноты, им подаренные, что послал через лавку Горелина, чай ты получила уже?) — Я с Апол<л>оном приехали к нему в 12 часов, застали его в гостинной уже разодетого, и чинно сидящего с каким-то знакомым, который скоро и уехал, — нас же хозяин уприси-л остаться, — угостил водкой, 80 ко<печным> вином под названием Хереса, 2-мя бутылками Данельсоновского Еля, Голанскими селедками, отличным розбифом и домашними сливками, — и все его было подаваемо чинно, прилично, — хоть и не официантами, — а красавицей Матреной Кузнецовой и подобного же ей лица другой девушкой, — но с щепительностью и с какою-то здержанностью, или вернее скупостью, — шедшею из внутренних комнат жены его, которая к нам не выходила, собираясь ехать за город, как сказывал Дюбюк. — Дом занимает он славный, — зала и гостинная хорошо расположены и меблированы; — словом все, как должно — (*Ком иль фо*); рояль хорошая; — да как-то пустынно, — все не то, как бывало приезаешь не к барину Московскому, в чепорно убранный дом, аходишь к артисту, — заставая его в халате за роялью, на которой стояли бутылки лутшего Шампанского и Коньяку, — и на которым он восхищал своею неподражаемою игрою, — не обращая головы к приезающим! — А теперь и не открывал рояли. Да и разговора об музыке было мало; а так пустошь, официальность, несколько пошлых анекдотцев и только; что и приятно [только] было, то это воспоминание былого и разговоро о тебе.

Словом, Дюбюк не тот, что был когда-то, третья жена его перетворила, переиначила жизнь артиста в жизнь фешеонабля! Так, что не интересно и быть у него. Вот тебе очерк жизни твоего учителя. —

Р. S. 3-е сентября. В Москву приехал Фет, чтобы распорядиться перевозкой вещей из дома в купленный им фольварк или хутор в Орловской губернии. Покупка его: 250 десятин земли с домом, разным заведением, небольшим числом, но без крестьян и дворовых, — денег заплатил 20 т<ысяч> р. серебр<ом>. — С тем, чтобы обрабатывать землю вольнонаемными самому жить [там] с женою 10-ть месяцев в году там безвыездно, — а остальные два в Москве. — Фет страстно любит жизнь в деревне, — и как поэт не соскучится; но жене его, — как много она его не любит — не жившей окроме Москвы и заграницей нигде, — не имеющей понятия в хозяйстве деревенских барынь — жутко будет!.. Да он-то на это не смотрит. — Щастлив человек, — как он — на свете Божьем!.

#### Примечания

1. Речь идет о графе Шамборе (1820—1883), действительно последнем представителе старшей ветви Бурбонов; приверженцы именовали его Генрихом V.

2. Н. И. Григорьев здесь что-то спутал: граф Шамбор и не собирался умирать в 1860 г.

3. Речь идет о герцоге Орлеанском, Филиппе-Эгалитэ (1747—1793), отце будущего короля Луи (Людовика)-Филиппа (1773—1850); принявший революцию, член Конвента, Филипп-Эгалитэ голосовал за смертную казнь короля Людовика XVIII (что не освободило его год спустя от гильотины).

4. Филарет в мире Василий Михайлович Дроздов, 1783—1867) — митрополит московский с 1826 г., один из самых реакционных деятелей XIX в.

5. Речь идет о тете адресата, Варвары Николаевны, и о сестре Н. И. Григорьева: Екатерине (род. 1789) или Александре (род. 1800). Названная ниже Лизавета Ивановна не была известна в литературе о Григорьевых (были известны лишь две тетки), хотя Фет в своих воспомина-

ниях упоминал неопределенно «двух, если не трех, сестер, старых девиц», говоря об отце критика (цит. по кн.: А. п. Григорьев. Воспоминания. М.—Л., 1930, с. 390).

6. Юм Даниель (Дуглас) — американский магнетизер, приехавший в Европу в 1855 г., а в Россию в 1858 г. Ср. запись в дневнике Е. А. Штакеншнейдер от 17 апреля 1858 г.: «Сестра графини, т. е. м-ль Кроль, выходит замуж за знаменитого фокусника, духовидца, магнетизера и прочее, одним словом, — за Юма; спирит, вот как его зовут» (Е. А. Штакеншнейдер. Дневник и записки (1854—1886). М.—Л., Academia, 1934, с. 202.) Путаница с Дюма возможна не только из-за сходства фамилий, но и благодаря шумной славе обонх иностранцев, оказавшихся одновременно в Петербурге; ср. запись в том же дневнике от 23 июня 1858 г.: «Дюма и Юм живут у графа Кушелева на его даче» (с. 220).

7. Кушелев-Безбородко Григорий Александрович, граф (1832—1870) — меценат, издатель журнала «Русское слово», в котором в 1859 г., участвовал А. п. Григорьев, живший в то время в доме графа.

8. Платон — сын Н. И. Григорьева, учившийся тогда в одной из московских гимназий. У Николая Ивановича Григорьева (1804 — после 1875) было семеро детей: Варвара (род. 1837), Александр (род. 1839), Платон (род. 1841), Валентин (род. 1843), Евгений (род. 1848), Константин (род. 1849), Василий (род. 1852). Ниже упоминаются Константин и Валентин.

9. Дюбюк Александр Иванович (1812—1897) — московский композитор, пианист, близкий к кружку А. п. Григорьева; автор известных песен: «Не брани меня родная...» и «Что ты жадно глядишь на дорогу...»; учитель В. Н. Григорьевой.

## НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ПИСЬМО Я. В. СТЕФАНОВИЧА Л. Г. ДЕЙЧУ

Л. Я. Лурье, А. Б. Рогинский

1 марта и его итоги показали практическую несостоятельность методов, которыми правительство боролось с революционерами, а революционеры с правительством.

Власти, потрясенные царубийством, находились в растерянности. Ожидались новые покушения, поэтому откладывалась коронация Александра III. В правительственных кругах столкнулось несколько группировок, и было очевидно, что окончательный перевес будет за той, которая предложит наиболее эффективные способы борьбы с революционерами.

Теперь власти окончательно поняли, что «Народная воля» — не кучка террористов, охотившаяся за царем, а реальная политическая сила, которую невозможно уничтожить одними репрессиями.

Это новое отношение к революционерам заставило изменить традиционные приемы сыска. Так возникла «дегаевщина» — провокация невиданных до тех пор в России размеров.<sup>1</sup> С другой стороны, у некоторых представителей высокопоставленных кругов, составивших «Священную Дружину», появляется идея вступить с революционерами в переговоры, найти временный компромисс, способный дать передышку от террора.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> См.: Дегаевщина. (Материалы и документы). — «Былое», 1906, № 4, с. 18—38; Н. Маклецова-Дегаева. Судейкин и Дегаев. — «Былое», 1906, № 8, с. 265—272.

<sup>2</sup> См.: Д. Заславский. Взволнованные лоботрясы. М., 1931; М. К. Лемке. «Святая Дружина». Рукопись. — ОР ИРЛИ, ф. 661, оп. 1, № 16. Есть свидетельство, что кроме «Священной Дружины» какие-то контакты с революционерами искали тогда и оппозиционно настроенные генералы Скобелев и Драгомиров (С. Иванов. К характеристике общественных настроений в России в начале 80-х годов. — «Былое», 1907, № 9, с. 198—200).

В наиболее выгодном положении оказались деятели департамента полиции, которые могли сочетать оба эти метода (провокацию и переговоры). В их руках сосредотачивалась вся информация о «Народной воле». Их работа была, по существу, бесконтрольной. Им не нужно было, как «Священной Дружине», посылать посредников за границу для того, чтобы найти контакты с революционной партией. Для этой цели они могли пытаться использовать кого-нибудь из арестованных. Значение, которое приобрели в этот период отдельные чиновники политической полиции, было гораздо выше соответствовавшего их должностям. Между тем, призванная разрушить «Народную волю», система провокаций развращала, в первую очередь, самих ее создателей. Только в таких условиях могла родиться известная авантюристическая затея жандармского подполковника Судейкина.

Сложная политическая игра, которую вели в разной степени все, вступающие в отношения с революционерами, непременно влекла за собой нарушение традиционно сложившихся иерархических норм бюрократической верхушки. Подчиненный мог действовать за спиной начальника (Судейкин и, возможно, Плева), «верноподданные» создали, по сути дела, самостоятельную тайную политическую организацию, «Священную Дружину», конкурировавшую с правительственными учреждениями и т. д.

В то же время «Народная воля» сама была обескровлена многочисленными арестами. Силы ее явно преувеличивались противником. В партии крепло убеждение в необходимости поисков новых методов борьбы.

Именно в этот период к «Народной воле» присоединился Яков Васильевич Стефанович (1853—1915), одна из самых крупных и, одновременно, спорных фигур в русском революционном движении 1870—1880-х гг.

Участник «хождения в народ», один из лидеров Киевской коммуны, он приобрел всероссийскую известность благодаря «Чигиринскому делу», когда в 1876 г., изготовив подложные царские грамоты, сумел создать единственную за все время народнического движения крупную крестьянскую боевую организацию. «Чигиринское дело», создавшее Стефановичу в революционном мире репутацию выдающегося организатора, в то же время дало толчок спорам, много лет не утихавшим вокруг его имени, — об этичности употребленного Стефановичем приема «обмана народа, хотя бы для его блага, и поддержания гнусной царской легенды, хотя бы с революционными целями».<sup>3</sup>

Известность Стефановича особенно возросла после его смелого побегавместе с Л. Г. Дейчем и И. В. Бохановским из Киевского тюремного замка. Побег был устроен землевольцами. В 1878 г. Стефанович эмигрирует, а летом 1879 г. возвращается в Петербург, куда в это время съезжаются участники Липецкого и Воронежского съездов. Показательно для репутации Стефановича, что в наметившемся размежевании «Земли и Воли» (в эту организацию Стефанович был принят заочно на Воронежском съезде) на него рассчитывали и будущие народовольцы, и будущие чернопеределцы.<sup>4</sup> Сам он, по-видимому, вначале колебался, но затем сделал выбор, став

---

<sup>3</sup> С. Степняк-Кравчинский. Сочинения, Т. I, М., 1958, с. 396. Отметим, впрочем, что в 1870-х гг. методы Стефановича вызывали меньше нареканий, чем в начале XX в., когда дискуссия о них развернулась на страницах Вольной русской прессы. См. об этом свидетельство Г. В. Плеханова в кн.: А. Тун. История революционного движения в России. СПб., [1906], с. 71.

<sup>4</sup> Н. Морозов, например, подсчитывая на Воронежском съезде силы террористов, включил в список и Стефановича (Архив «Земли и Воли» и «Народной воли». М., 1932, с. 152). См. также: О. Любатович. Далекое и недавнее. М., 1930, с. 54—55; «Группа «Освобождение труда», сб. № 3. М.—Л., 1925, с. 206.

основателем и, наряду с Плехановым, общепризнанным руководителем «Черного передела».<sup>5</sup>

Когда планы нового «Чигиринского дела» (но без подложных царских грамот) сорвались, он, в самом конце 1879 г., вместе с Г. В. Плехановым, Л. Г. Дейчем и В. И. Засулич вновь эмигрировал в Женеву.

Чернопередельцы рассчитывали вскоре вернуться в Россию, но это оказалось непросто. Мешали и материальные затруднения, и то, что на родине «Черный передел» практически распался. Большинство его участников примкнуло к «Народной воле», которая, по сути, монополизировала революционное движение. Уже в 1881 г. для эмигрантов, желавших вернуться в Россию, возвращение на работу в подполье означало на деле необходимость вступления в «Народную волю».

Народовольцы в период расцвета партии не стремились привлекать в свои ряды эмигрантов. Только после 1 марта, по мере того, как в России арестовывали одного за другим опытных революционеров, «заграничники» стали постепенно приобретать все большую ценность в качестве ближайшего резерва «Народной воли».

Однако простое механическое присоединение к «Народной воле» для многих революционеров, оказавшихся за границей, было невозможно, так как их разделяли с народовольцами принципиальные политические разногласия. Меньше других это препятствие касалось Я. В. Стефановича, практика по преимуществу. Видимо, уже к началу 1881 г. он пришел к мысли, что «другой, новой организации никакие силы теперь в России создать не могут»<sup>6</sup> и считал необходимым объединение всех революционных сил под знаменем «Народной воли».

К тому же он дважды получал приглашение от народовольцев, вначале от С. Л. Перовской, а затем, после 1 марта, от Л. А. Тихомирова. Он вернулся в Россию первым из эмигрантов-ненародовольцев — осенью 1881 г. По замыслу Стефановича и его единомышленников за границей, после того, как он достигнет «формулы соединения», в Россию приедут Засулич, Дейч, Кравчинский и ряд других эмигрантов.

Стефанович был принят в члены Исполнительного комитета, присоединил к «Народной воле» часть находившихся в России чернопередельцев, предложил тогдашнему лидеру партии, Тихомирову, план союза с польскими революционерами,<sup>7</sup> занимался пропагандой среди рабочих,<sup>8</sup> пытался создать тайную организацию среди сектантов.<sup>9</sup>

Но, несмотря на эту активную деятельность, Стефанович, по-видимому, внутренне был связан с эмиграцией больше, чем с «Народной волей». За границей оставались друзья: Дейч, Плеханов, Кравчинский, Засулич, Бохановский, Аксельрод, Игнатов, Дебогорий-Мокриевич, Хотинский; на родине он был мало с кем лично близок. Хотя Стефанович и принял основной тезис

<sup>5</sup> Колоритные воспоминания о Стефановиче как об «идоле» чернопередельцев оставил О. Аптекман. См.: О. Аптекман. «Черный Передел». В кн.: Черный передел. Орган социалистов-федералистов. 1880—1881 гг. М.—П., 1922, с. 92—94.

<sup>6</sup> «Группа «Освобождение труда»», сб. № 4. М.—Л., 1926, с. 222—223.

<sup>7</sup> Как свидетельствует Тихомиров в неопубликованном очерке «Я. Стефанович», тот хотел «основать новый Комитет из трех лиц: себя, меня и Людвиг Варынского. Стефанович предложил, что он будет действовать среди народников-землеольцев, я — среди народовольцев, Варынский — в «Пролетариате» и, составивши тайный высший центральный комитет, будем направлять к одной цели эти три организации». (ЦГАОР, ф. 634, оп. 1, № 33, лл. 13—13 об.). Тихомиров здесь путает «Пролетариат» и группу «Рувность».

<sup>8</sup> В. С. Панкратов. Воспоминания. 1880—1884. М., 1923, с. 41—43.

<sup>9</sup> В пропаганде среди сектантов были употреблены методы, сходные с «чигиринскими». См.: ЦГАОР, ф. 634, оп. 1, № 33, л. 14.

народовольческой программы этого периода — тактику захвата власти, но ряд существенных вопросов народовольческой деятельности рассматривался им с точки зрения «заграничников», а не Исполнительного комитета. Так, например, ему не нравился народовольческий «централизм», он возражал против публикации прокламации Романенко, приветствовавшей еврейские погромы на Юге, считал, что партия уделяет слишком мало внимания пропагандистской работе и т. д. В Исполнительном комитете Стефанович занимал особое место: не будучи представителем какой-либо конкретной революционной организации за границей, он и сам себя ощущал, и другими членами комитета воспринимался как посредник в отношениях между народовольческим центром и эмиграцией.

В свете этого особенное значение приобретала его связь с заграничной, которую он поддерживал путем регулярной переписки со своим интимным другом Дейчем.<sup>10</sup> Для народовольцев письма Стефановича Дейчу были каналом связи, по которому передавались поручения и просьбы, связанные с различными партийными предприятиями, в первую очередь, созданием журнала «Вестник «Народной воли» и с учреждением за границей филиала народовольческого «Красного креста» (идея обоих этих предприятий принадлежала Стефановичу). Для оторванных от России революционеров его письма имели огромное значение не только из-за обилия сообщаемых в них сведений, но и потому, что Стефанович оценивал происходившие в партии процессы несколько отстраненно, глазами недавнего чернопеределца и эмигранта.

Последнее обстоятельство вызвало в среде Исполнительного комитета некоторую настороженность по отношению к Стефановичу и его переписке с Дейчем.<sup>11</sup>

Деятельность Стефановича в «Народной воле» продолжалась менее полугода — 5 февраля 1882 года он был арестован.

Однако, как ни удивительно это было для современников, с арестом его переписка с Дейчем не оборвалась. С разрешения Плеве, он послал Дейчу телеграмму, в которой просил его не приезжать в Россию, куда тот собирался со дня на день. Через руки Плеве проходит и дальнейшая переписка Стефановича с Дейчем, не прекращавшаяся до самого суда.

Никогда раньше не случалось, чтобы два революционера, один из которых находился в тюрьме, а другой — в эмиграции, осуществляли между собой связь с помощью охраны. Это естественно породило слухи о неблагоприятном поведении Стефановича на следствии. Слухи, казалось, нашли подтверждение в речи Стефановича на суде (он судился по «Процессу 17-ти»

<sup>10</sup> Стефанович писал Дейчу ежедневно, «химией», на внутренней стороне бандероли с газетой «Московские ведомости». Содержание некоторых писем известно по их изложению в переписке Дейча с Лавровым (ЦГАОР, ф. 1762, оп. 1, № 268), Кравчинским (ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, № 268), Присецким («Группа «Освобождение труда», сб. № 4, с. 222—223) и некоторыми другими. Кроме того, пересказ нескольких писем содержится в «Кариийских тетрадах», воспоминаниях, написанных Дейчем по просьбе Стефановича в Кариийской каторжной тюрьме в 1889—1890 гг. (Архив Дома Г. В. Плеханова. АД. 10. 2). Здесь Дейч, обращаясь к Стефановичу, писал: «Ввиду того важного значения, которое имело твое пребывание в России для многих, оставшихся за границей, я сообщал содержание твоих писем, как бывшим в Женеве, так и в сокращении, находившимся в разных городах Европы: Сергею — в Милан, Павлу — в Цюрих, Лаврову — в Париж, Мишке и Росселю — в Болгарию, Присецкому — в Сербию и т. д.» (Архив Дома Г. В. Плеханова, АД. 10. 2., лл. 14—15. По именам названы соответственно: Кравчинский, Аксельрод, Дебогорий-Мокриевич).

<sup>11</sup> Много позже А. П. Корба вспоминала, как М. Н. Ошанина рассказывала ей в конце 1881 г.: «<...> двойственность поведения Стефановича замечалась всеми нами. Он держал себя особняком от других членов комитета <...>» («Былое», 1924, № 25, с. 284).

в апреле 1883 г.), которую Кравчинский назвал «криводушной»,<sup>12</sup> и в удивительно мягком, по тогдашнему времени, приговоре ему (8 лет каторги).

О том, что же в действительности произошло со Стефановичем во время следствия, стало известно из двух его писем к Дейчу, пересланных тайно от Плеве. Их Стефанович передал на волю перед самым судом через своего защитника Е. И. Кедрина. Эти послания, написанные симпатическими чернилами, были «смазаны» и впервые прочтены еще в Петербурге. По-видимому, это сделал провокатор Дегаев, который и передал их за границу, но не адресату, а находившимся в то время в эмиграции лидерам народо-вольцев Тихомирову и Ошаниной. Те, в свою очередь, скрыли от Дейча существование писем и вернули их ему только осенью, после шумного скандала.<sup>13</sup>

Именно вокруг этих писем, где Стефанович подробно излагал свои многочисленные разговоры с Плеве и Судейкиным, разгорелись самые жаркие споры. Споры шли уже не об этичности методов революционной борьбы, употреблявшихся Стефановичем, а о возможном его предательстве. Совершенно по-разному прочитали письма друзья Стефановича и эмигранты-народо-вольцы.

Первые хотя и осуждали его поведение, но небезоговорочно. Их позиция наиболее полно выражена в позднейшем письме Дейча к Засулич: «Твоих опасений насчет опубликования кем-нибудь его (Стефановича — Л. Л., А. Р.) истории с письмами я несколько не разделяю и не боюсь этого. Наоборот, мне отчасти жалко, что этого никто не делает, пока Дм<итро> и я живы, а то потом г. г. Богучарские черт знает что напишут. Теперь же мы могли бы установить истинный размер его вины. Несомненно Дм<итро> смалодушничал, но ведь это не такой уж грех, — низости никакой он не совершил, хотя, конечно, ему и малодушие проявлять не подобало».<sup>14</sup>

Противоположным образом интерпретировались перехваченные письма в кругу Ошаниной, которая сделала из них вывод о предательстве Стефановича. Отвечая в 1893 г. на вопросы Э. А. Серебрякова о последнем периоде деятельности Исполнительного комитета, она заявила: «Тут были приняты и некоторые другие члены, в том числе и Стефанович, который и провалил скоро всех».<sup>15</sup>

<sup>12</sup> С. Степняк-Кравчинский. Ук. соч., с. 402. См. также близкую реакцию Л. Г. Дейча (Архив Дома Г. В. Плеханова. АД. 6. 451, лл. 44—45).

<sup>13</sup> Вскрытие и задержание писем Стефановича — факт характерный для атмосферы подозрительности и ощущения провокации, царившей тогда среди народо-вольцев. Не имея возможности подробно остановиться на этом инциденте, который, по ряду свидетельств, явился одним из поводов к разрыву Плеханова и его друзей с народо-вольцами и самостоятельному их выступлению в качестве группы «Освобождение труда», укажем лишь, что он изложен в «Карийских тетрадах» Дейча и в его же статье «О сближении и разрыве с народо-вольцами» («Пролетарская революция», 1923, № 8 (20), с. 5—54). С большим количеством фактических ошибок рассказано о том же Тихомировым («Красный Архив», 1928, № 4 (29), с. 139—174). Из «Памятной книжки» Тихомирова устанавливается хронология этой истории («Воспоминания Льва Тихомирова» М.—Л., 1927, с. 155—164).

<sup>14</sup> Архив Дома Г. В. Плеханова. АД. 1/9, 17. Письмо от 7/20. 08. 1913 г. Дмитро — подпольная кличка Я. В. Стефановича.

<sup>15</sup> ЦГАОР, ф. 1762, оп. 3, № 39, л. 2 об. Последние слова редакция «Былого» не опубликовала, не будучи уверенной, видимо, в истинности сообщения Ошаниной («Былое», № 6, 1907, с. 9). Тогда же «Былое» пыталось получить сделанные в свое время народо-вольцами копии задержанных писем Стефановича (ОР ИРЛИ, Р III, оп. 2, № 2269). Заинтересовавшийся слухами о Стефановиче редактор «Былого» В. Л. Бурцев писал Г. А. Лопатину: «О нем (Стефановиче — Л. Л., А. Р.) писали, а еще больше говорили, очень тяжелые вещи. Многое совсем неверно, многое иначе должно быть сформулировано. Прежде, чем говорить о нем в печати, я хочу опросить

Крайне неблагоприятные слухи о Стефановиче широко распространились среди народовольцев. Слухи проникли и в Карийскую каторжную тюрьму, в которой находился Стефанович в 1883—1890 гг., а после того как он в 1906 г. выпустил «Дневник карийца», резко расхвалившийся с основной традицией народовольческой мемуаристики, они возникли с новой силой. Таким образом, задержанные народовольцами письма имели решающее значение для репутации Стефановича.

Многие годы слухи эти циркулировали лишь внутри революционного мира и впервые были вынесены на страницы печати Н. С. Тютчевым в 1918 г. Его статья дала толчок длительной и резкой дискуссии вокруг имени Стефановича между Л. Дейчем и В. Засулич, с одной стороны, и бывшими народовольцами, с другой.<sup>16</sup>

В ходе полемики народовольцы утверждали, что Стефанович вступил в «Народную волю» с целью «взорвать партию изнутри и придать иное направление ее деятельности»<sup>17</sup> и что для этого им было написано известное письмо Исполнительного комитета эмигрантам с изложением «тактики захвата власти», которой партия, якобы, никогда не придерживалась.<sup>18</sup>

Кроме этого Стефанович обвиняли в том, что во время следствия он вступил в переговоры с Плеве; что факт тюремной переписки с Дейчем косвенно подтверждает его предательство (часть этой переписки была обнаружена в архиве департамента полиции); что «Записка об эмиграции», которую он написал в тюрьме по поручению Плеве и которая была опубликована в 1921 г.,<sup>19</sup> является доносом; что, самое главное, Стефанович выдал члена Исполнительного комитета Ю. Н. Богдановича и, возможно, кого-то еще.

Л. Г. Дейч (1855—1941), оказавшийся по ряду причин после смерти Г. В. Плеханова и В. И. Засулич в некоторой изоляции от других ветеранов-семидесятников, защищал своего бывшего ближайшего друга, воспринимая обвинения против Стефановича почти как личные оскорбления. В соответствии с этим он крайне резко и агрессивно отвечал своим оппонентам. Некоторые обвинения народовольцев ему удалось отвести, другим он давал другую, нежели они, интерпретацию: эпизод с Богдановичем — не преда-

товарищей о нем» (ОР ИРЛИ, ф. 534, оп. 1, № 24, л. 2 об). Ответ Лопатина Бурцеву см.: ЦГАЛИ, ф. 1329, оп. 2, № 1, л. 1. «Былое» так и не высказало своего отношения к Стефановичу.

<sup>16</sup> Н. С. Тютчев. Здание у Цепного моста. — «Былое», 1918, № 4—5, с. 194—229; В. Засулич. Правдивый исследователь старины. — «Былое», 1918, № 7—8, с. 178—191; Н. С. Тютчев. К характеристике Я. В. Стефановича (Письмо в редакцию). — «Былое», 1921, № 16, с. 201—208; Л. Дейч. О сближении и разрыве с народовольцами. — «Пролетарская революция», 1923, № 8, с. 5—54; Он же. Так пишется история. — «Группа «Освобождение труда». Сб. № 2, М.—Л., 1924, с. 346—359; В. Фигнер, А. Прибылева-Корба, Г. Чернявская-Бохановская, А. Прибылев, Л. Г. Дейч и «Народная воля». — «Былое», 1924, № 25, с. 280—289; Л. Г. Дейч. Основательно ли нападение? (по поводу протеста народовольцев). — «Группа «Освобождение труда», сб. № 3, с. 260—277; Он же. Я. В. Стефанович среди народовольцев. — Там же, с. 96—112; А. П. Прибылева-Корба. Мнимое письмо Исполнительного комитета «Народной воли». — «Былое», 1925, № 6, с. 75—83.

<sup>17</sup> «Былое», 1924, № 25, с. 286—287.

<sup>18</sup> А. П. Прибылева-Корба. Ук. соч., с. 78—81. Идея об авторстве Стефановича принадлежала впрочем не А. П. Корбе, а В. Н. Фигнер (ЦГАЛИ, ф. 1185, оп. 1, № 67, л. 54). Вопрос о подлинности письма Исполнительного комитета (письмо оказалось подлинным, оно написано Тихомировым) решен в статье С. С. Волка «Письмо Исполнительного комитета «Народной воли» к заграничным товарищам» (Исследования по отечественному источниковедению. М.—Л., 1964, с. 178—184).

<sup>19</sup> См.: «Былое», 1921, № 16, с. 75—85.

тельство, а случайный промах: «Записка об эмиграции» — не донос, а сообщение известных департаменту фактов, которые никому не могли повредить, и т. д.

Вследствие неудовлетворительности аргументов Дейча в науке 1920-х гг. утвердилось народовольческая точка зрения на репутацию Стефановича.<sup>20</sup>

В ходе полемики Дейч опуликовал тюремные письма Стефановича, но только те, которые проходили цензуру Плеве и не могли поэтому содержать принципиально важных для дискуссии фактов.<sup>21</sup> Конспиративные же письма, задержанные в свое время народовольцами, которые во многом могли помочь восстановлению истины, остались неопубликованными, хотя в полемике на них постоянно ссылались и та, и другая стороны. У народовольцев писем тогда уже не было, а Дейч не захотел или не смог их напечатать.<sup>22</sup> Сейчас мы этими письмами располагаем. Первое из них, публикуемое ниже, кажется особенно важным.

\* \* \*

Главное содержание письма Стефановича к Дейчу составляет изложение многочисленных бесед Стефановича с директором департамента государственной полиции В. К. Плеве и инспектором Петербургского охранного отделения Г. П. Судейкиным. Беседы не носят характера официальных допросов и скорее напоминают переговоры представителей двух политических лагерей, нежели традиционные отношения между подследственным и полицией. Некоторые темы, затрагиваемые в этих разговорах, разительно схожи с темами, которые спустя несколько месяцев будут обсуждаться Судейкиным и завербованным им народовольцем Дегаевым. Поэтому письмо представляет интерес, и как дополнительный источник по истории «дегаевщины», позволяющий более выпукло представить в ней роль как Судейкина, так и Плеве.

О «дегаевщине» известно, в основном, из статьи Л. А. Тихомирова «В мире мерзости запустения». Здесь, основываясь на признаниях раскаяв-

<sup>20</sup> Е. Е. Колосов. Н. С. Тютчев в оценке Л. Г. Дейча. В кн.: Н. С. Тютчев. Революционное движение 1870—80 гг. Ч. I. М., 1925: См. М. Клевенского и Б. Козьмина («Каторга и ссылка», 1925, № 15, с. 254 и № 19, с. 19). Отголоски полемики встречаются в ряде появившихся в ту пору мемуаров. См.: А. В. Прибылев. Записки народовольца. М., 1930, с. 120—123; Ф. Кош. На поселении в Якутской области. — «Каторга и ссылка», 1928, № 43, с. 89—91.

<sup>21</sup> Группа «Освобождение труда», сб. №№ 3 и 4. При сравнении этой публикации с материалами архива Л. Г. Дейча (Архив Дома Г. В. Плеханова. АД. 4. 263. 3—18) видим, что из 16 находившихся в его руках тюремных писем Стефановича Дейч напечатал только 11, а целиком — лишь 4 (от 10. V. 1882, 22. IX. 1882, 18. XII. 1882, 8. III. 1883). В семи письмах им были сделаны пропуски фраз, абзацев, а в одном случае — нескольких страниц (письмо от 17. I. 1883). Выпущены, в основном, те места, которые могли быть использованы оппонентами Дейча в подкрепление своих доводов. Из 5 неопубликованных писем 2 (от 12. III. 1883 и от 21—22. III. 1883) — те, задержанные народовольцами письма, которые были переданы Дейчу в октябре 1883 г. Кроме этих двух народовольцы задержали еще одно письмо Стефановича от 20. VI. 1883. Копия его находится в фонде П. Е. Щеголева (ЦИАЛ, ф. 1093, оп. 1, № 280).

<sup>22</sup> Ощущая себя в ряде вопросов несомненно правым, Дейч, видимо, считал допустимым тенденциозную публикацию стефановичевских материалов. В результате полемики, где его оппонентами выступали такие всеми уважаемые старые революционеры, как В. Н. Фигнер и А. П. Прибылева-Корба, были порваны даже личные отношения между Дейчем и многими ветеранами-семидесятниками. Это привело Л. Г. Дейча в конце жизни к трагическому одиночеству.

шегося Дегаева, Тихомиров впервые сообщил о плане Судейкина организовать с помощью Дегаева покушения на великого князя Владимира Александровича и министра внутренних дел Д. А. Толстого.<sup>23</sup> Покушения должны были привести правительство в замешательство, и тогда в роли «спасителя отечества» выступил бы Судейкин; произведенные Судейкиным в этот момент аресты революционеров и последующее прекращение террора сразу выдвинули бы его в ряд важнейших государственных деятелей.

Это сообщение представляется достоверным. Неясно только, был ли Судейкин самостоятелен или за ним стояли другие, более могущественные силы.

О том, что в планы Судейкина частично был посвящен Плеве, встречаем единственное упоминание в той же статье Тихомирова. Впрочем, через несколько лет ставший ренегатом Тихомиров в письме к Плеве отказался от этого утверждения: «...я позволил опубликовать переданный мне рассказ о вашем будто бы разговоре с полковником Судейкиным о покушении террористов на жизнь гр. Толстого. Тогда я верил этому рассказу, впоследствии понял, что он — простая тенденциозная ложь, которые тысячами сочиняются о всех высокопоставленных лицах».<sup>24</sup>

В. К. Плеве, в наших теперешних представлениях, — крайний реакционер. Убитый в 1904 г. Егором Сазоновым, он стал олицетворением полицейского террора. Когда Аблоухов в романе Андрея Белого «Петербург» говорит: «Я — человек из школы Плеве», — то это означает: я — сторонник жесткого зажима любых демократических побуждений общества. Между тем, как мы видим из письма, в сложный, неопределившийся еще период министерства Игнатъева Плеве играл самостоятельную и вовсе не однозначную роль.

Директор департамента полиции, делавший бурную карьеру (свой пост он занял 35-ти лет), Плеве умел искусно менять свою политическую ориентацию.

«Он будет держаться тех мнений, которые он считает в данный момент для него лично выгодными», — писал о нем С. Ю. Витте, отмечая способность этого «умного, хитрого, бессовестного полицейского» двигаться вверх при любых, даже самых крутых переменах в правительственной политике.<sup>25</sup>

Плеве, по словам Стефановича, явился перед ним в качестве влиятельного деятеля либеральной группировки в правительстве, который, в первую очередь, решает отнюдь не полицейские задачи. Плеве представляет дело следующим образом: его единомышленники, и прежде всего министр внутренних дел Игнатъев, намерены провести в жизнь ряд важнейших реформ. Реакционеры, во главе с великим князем Владимиром и Д. А. Толстым, этому противятся.<sup>26</sup> Террор народовольцев играет на руку реакционерам. Поэтому ему, Плеве, необходимо установить искренний контакт со Стефановичем, представителем умеренного крыла «Народной воли», чтобы выяснить в самой общей форме, какие настроения доминируют сейчас в революционной партии.

Для того чтобы Стефанович поверил, что розыскных целей Плеве перед собой не ставит, директор департамента полиции совершает поступок, прямо противоречащий его служебному долгу: организует отправку за границу предупредительной телеграммы Стефановича тому самому Дейчу,

---

<sup>23</sup> «Вестник «Народной воли», № 2, Женева, 1884, «Внутреннее обозрение», с. 96—98.

<sup>24</sup> «Воспоминания Льва Тихомирова», с. 234—235.

<sup>25</sup> С. Ю. Витте. Воспоминания. Т. 2. М., 1960, с. 34.

<sup>26</sup> Характеристику расстановки сил в правительстве в период министерства Игнатъева см. в кн.: П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870—80-х гг. М., 1964, с. 379—472.

выдачи которого как особо важного преступника Россия вскоре будет требовать у Германии.<sup>27</sup>

Кроме этого, Плевэ вызывает Стефановича на откровенность тем, что излагает ему подробности готовящихся реформ. Он рассказывает ему о создании крестьянского поземельного банка, урегулировании условий детского труда, «Земском соборе», амнистии политическим эмигрантам. Факт достаточно необычный: секреты государственной политики (о предполагаемом созыве «Земского собора» знало до определенного времени всего несколько человек в России) сообщаются подследственному политическому заключенному.

Таким образом, Плевэ создает иллюзию «честной беседы», представляющей для обоих ее участников несомненный интерес.

Возникает вопрос, для чего нужно было Плевэ идти на явное нарушение служебного долга. Можно предположить, что для этого у него было несколько мотивов.

Конечно, его действительно интересовали настроения в революционном лагере и он понимал всю ценность освещения их именно Стефановичем, связанным не только с «Народной волей», но и с «Черным переделом», и с эмиграцией, и с польским освободительным движением. Но Плевэ хотел получить и более конкретную информацию. Частично это ему удалось. Он убедил Стефановича, что вскоре последует амнистия политическим эмигрантам и попросил в связи с ней составить «Записку об эмиграции». И Стефанович, поверивший Плевэ, сделал это, подробно описав расстановку сил у «заграничников», хотя по мере возможности и старался преуменьшить значение каждого из упоминаемых революционеров.

Но и этим, по-видимому, не исчерпывались цели Плевэ. Постоянное подчеркивание им реакционности Толстого и особенно великого князя Владимира Александровича, естественным образом наводит Стефановича на мысль о покушении на них, организовать которое он и советует товарищам в подполье.<sup>28</sup> Вспомним, что именно Владимир и Толстой были намечены Судейкиным объектами покушения для Дегаева. Вряд ли такое совпадение можно считать случайным.

Вообще, несмотря на то, что Плевэ и Судейкин всячески подчеркивали свою независимость друг от друга, складывается впечатление, что Плевэ своей «откровенностью» создавал нужную почву для переговоров Судейкина со Стефановичем. Судейкин, изображающий из себя почти революционера, даже сторонника политических убийств, предлагает Стефановичу организовать побег с тем, чтобы тот гарантировал временное прекращение террора (до коронации), так как реформы возможны только при этом условии.

Когда Плевэ узнает от Судейкина об этом плане (если он, что более вероятно, не был осведомлен о нем с самого начала), то не приказывает своему подчиненному прекратить подготовку к побегу, что обязан был сделать, а лишь «советует» Стефановичу «не связываться» с подпольщиком. Таким образом, можно предположить, что Плевэ весьма искусно и осторожно, с минимальным для себя риском, вел «предварительную обработку» Стефановича, для того чтобы Судейкину было легче с ним договориться о возможном посредничестве в отношениях между полицией и «Народной волей». Здесь директор департамента и начальник охраны могли быть

<sup>27</sup> Характерна реакция на эту телеграмму С. Кравчинского. В марте 1882 г. он писал В. И. Засулич: «... Теперь хочу по поводу Дмитра поговорить, знаете, факт позволения отправить телеграмму и письмо Женке — в высшей степени необыкновенный — наводит меня на предположение еще более необыкновенное: они, вероятно, ведут с ним «переговоры» («Группа «Освобождение труда», сб. № 1. М.—Л., 1924, с. 221—222. «Евгений» — подпольная кличка Л. Г. Дейча).

<sup>28</sup> Письмо от 21—22. III. 1883 г. (второе конспиративное). — Архив Дома Г. В. Плеханова. АД. 4. 263. 18.

заодно. Но, кроме этого, у Судейкина были, безусловно, и свои виды на Стефановича.

Для него Стефанович, который, как впоследствии и Дегаев, требовал с ним свидания сразу после ареста, был прежде всего подходящим объектом для реализации давно уже, видимо, вынашиваемого плана: сосредоточить в своих руках руководство политической полицией и, через подставных лиц, — революционной партией. Весь план побега, якобы втайне от директора департамента, был позже осуществлен с Дегаевым, той же самой была и система «обольщения». Но Стефанович быстро понял Судейкина и, как следует из письма, относился к нему весьма иронически. Стефанович оставил возможность побега таким количеством предварительных условий, что стала ясна невозможность сделать из него провокатора, и Судейкин потерял к нему интерес.

Постепенно Стефанович терял ценность и в глазах Плеве. С отставкой Игнатьева (примечательно, что Плеве пытался скрыть от Стефановича этот факт) и приходом к власти Толстого окончательно определился реакционный поворот в правительственной политике. Многочисленные аресты народо-вольцев и особенно вербовка Дегаева в конце 1882 г. позволили властям сделать вывод, что революционная партия не так сильна, как это представлялось раньше.

Теперь директор департамента в Стефановиче больше не нуждался, тем более что полезной для сыска информации тот почти не давал. «При Толстом он далеко не тот, что был при Игнатьеве», — писал Стефанович. Все же Плеве по-прежнему считал его умным и проницательным человеком (позже он назовет Стефановича вместе с Клеменцем и Натансоном самыми умными революционерами в России<sup>29</sup>) и поручил ему написать «Историю революционного движения в России». В благодарность за уступчивость, проявленную Стефановичем, он добился и смягчения наказания ему.<sup>30</sup>

Из письма Стефановича становится более ясным образ будущего министра внутренних дел, мастера тонкой провокации, в период нового революционного подъема (в начале XX в.) совершенно естественно покровительствовавшего тем методам, которые сам в свое время опробовал, в частности, на Стефановиче.

Необходимо установить также мотивы, которыми руководствовался в переговорах с Плеве и автор письма — Яков Стефанович. Ни точка зрения народо-вольцев (предательство), ни мнение Дейча и Засулич (малодушие), не кажутся нам исчерпывающе объясняющими поведение Стефановича. Сам Стефанович, как видно из письма, вовсе не считал себя предателем, хотя и полагал, что в некоторой степени его поведение вызвано малодушием.

Эту автохарактеристику он почти дословно повторит потом и в «Дневнике карийца»: «Мне не случилось переживать **крутых** поворотов в своих верованиях, убеждениях и в направлениях мыслей. Разные градусы углов зрения, отношение к жизни при большей или меньшей ясности мыслей, компромисс, до известной степени временами мне не чуждо было и чувство малодушия — все это знакомо».<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Л. Г. Дейч. Я. В. Стефанович среди народо-вольцев, с. 118.

<sup>30</sup> Л. Г. Дейч утверждал, что «Стефановичу была крайне неприятна эта чрезмерная благосклонность Плеве и царя: он говорил мне, что он предпочел бы бессрочную каторгу при том условии, чтобы отбывать ее на Каре». (Архив Дома Г. В. Плеханова. АД. 6. 451, л. 47). Впрочем, сам Стефанович перед отправкой в Сибирь обратился к Плеве с письмом, где благодарил его за смягчение приговора («Красная летопись», 1926, № 1 (16), с. 182—183). После окончания срока каторги Стефанович вновь написал Плеве и попросил его заменить ему ссылку в Якутскую область ссылкой в Забайкалье («Красный Архив», 1928, № 4, с. 44—45).

<sup>31</sup> Я. Стефанович. Дневник карийца. [СПб.], 1906, с. 46. При этом заметим, что на официальных допросах Стефанович вел себя так же, как и большинство народо-вольцев, т. е. подробно рассказывал о собственном

Мы полагаем, что поведение Стефановича на следствии естественным образом вытекало из его общественно-политических и этических воззрений. В течение своей революционной деятельности Стефанович примыкал к различным группировкам с часто противоречивыми друг другу теоретическими установками. «Лаврист» в 1873 г. и крайний «бакунист» в 1874—76 гг., чистый народник (автор одной из программных народнических статей в «Общине») в 1878 г., затем чернопеределец и одновременно, в 1879 г., один из организаторов вместе с Аксельродом второго «Южно-русского рабочего союза» с эклектической программой, содержащей ряд политических требований, наконец, народоволец, разделяющий тактику захвата власти, — так внешне выглядит политическая биография Стефановича за одно десятилетие.

Однако в этом пестром пути была своя внутренняя цельность. Мемуаристы единодушно указывали на нелюбовь Стефановича к «теориям», на его сугубо практические революционные интересы. Вот что писал о нем, например, С. Кравчинский: «Нельзя было не изумляться трезвости его суждений по разным вопросам, которые он рассматривал всегда с очень оригинальной и практической точки зрения, в особенности же — его знанию людей <...> В теоретические же препирательства он никогда не вступает, относясь к ним с величайшим презрением и если ему приходится присутствовать при чтении какой-нибудь «программы» или «объяснительной записки», то он нередко буквально засыпает, о чем свидетельствует его громкий храп...»<sup>32</sup>

В деятельности каждой группировки, к которой он примыкал, его интересовали не столько теоретическая основа разделяемого ею учения, сколько те успехи в борьбе с правительством, которых благодаря этому учению могли добиться его адепты.

Прагматизм, определивший политический путь Стефановича, был неразрывно связан с его этическими принципами, которые сложились в начале 1870-х гг. в среде «южных бунтарей».

«Южные бунтари» выработали свою систему этических воззрений, в значительной степени отличавшуюся от той, которой придерживались «чайковцы», — революционная организация с центром в Петербурге и с филиалами во многих крупных городах России. Для чайковцев, к принципам которых восходили моральные и этические нормы большинства членов Исполнительного комитета, была характерна коллегиальность в обсуждении всех основных вопросов, когда каждый член сообщества выступал прежде всего в качестве представителя своей организации, не имеющего права ничего за нее решать, а только подчиняющегося ее коллективной воле.<sup>33</sup>

В то же время у «южных бунтарей» самостоятельность отдельных революционеров при отсутствии сколько-нибудь сильной организации была гораздо выше, и большинство их начинаний было задумано и проведено в жизнь без предварительного совещания. К примеру, ни Стефанович

---

революционном пути, не давая властям улики против своих товарищей. См.: Ш. М. Левин. Из показания Я. В. Стефановича на дознании. — «Историко-революционный сборник», т. 2, с. 405—411. Подробно о поведении народовольцев на следствии см. в кн.: Н. А. Троицкий. «Народная воля» перед царским судом. 1880—1891 г. Саратов, 1971, с. 48—55.

<sup>32</sup> С. Степняк-Кравчинский. Ук. соч., с. 395. См. также: П. Б. Аксельрод. Пережитое и передуманное. Кн. I. Берлин, 1923, с. 190. О том же самом много писал и Л. Г. Дейч.

<sup>33</sup> Очень интересно в связи с этим замечание Е. Е. Колосова по поводу анонимности народовольческой журналистики, которая, с его точки зрения, «объясняется общими настроениями того времени, а не какими-либо иными причинами. Народнические писатели <...> охотно топили свою личность в великом безымянном коллективе, к которому они, по их сознанию, принадлежали, поэтому не я, а безликое мы стояло у них на первом плане» (Д. Кузьмин. Народовольческая журналистика. М., 1930, с. 15).

плане «Чигиринского дела», ни В. Засулич о готовящемся покушении на Трепова не сообщали даже своим близким друзьям по «Киевской коммуне».

Поэтому, если В. Н. Фигнер, с которой пыталась завязать переговоры «Священная Дружина», и О. С. Любатович, к которой со стороны следствия сначала была применена та же тактика, что и к Стефановичу, согласно установившимся в «Народной воле» нормам, отсылали инициаторов переговоров к партийному центру, то Стефанович не видел ничего предосудительного в том, чтобы вступить в переговоры без санкции Исполнительного комитета.<sup>34</sup> То, что не было «стыдно» для Стефановича, о чем он писал своим товарищам в эмиграцию (как видно из письма, предполагалось, что его прочтет не один Дейч), было для большинства народovolьцев невозможным. Их мораль не позволяла брать на себя какие-то обязательства, о чем-то договариваться за спиной товарищей по организации. Народovolьцы никогда не смогли примириться с тем, что член Исполнительного комитета их партии вступил в контакт с деятелями департамента полиции.

Однако причины, по которым Стефанович пошел на переговоры с Плева, этим не исчерпываются. Большое значение имело и то обстоятельство, что к моменту его вступления в «Народную волю» система взаимоотношений внутри Исполнительного комитета претерпела значительную эволюцию по сравнению с той, которая была характерна для народovolьцев эпохи расцвета их организации — в 1879 — начале 1881 гг.

Формирование этики революционеров-семидесятников проходило тогда, когда злобой дня была нечаевщина. Она вызвала в их среде решительное неприятие «генеральства» — противопоставления рядовых революционеров руководителям.<sup>35</sup> Вместе с тем, переход от организационно слабо оформленных кружков середины 70-х гг. к централизованным законспирированным «Земле и Воле» и «Народной воле» требовал определенной системы поддержания дисциплины и единоначалия. Между неприятием «генеральства» и необходимостью создания системы иерархии был найден компромисс. Периферия строго подчинялась Исполнительному комитету, но внутри комитета существовало полное равенство. Распорядительная комиссия, избиравшаяся для решения текущих дел между очередными заседаниями, руководящего значения практически не имела.

Равноправность обеспечивалась, прежде всего, полным отсутствием сколько-нибудь постоянного разделения труда между членами Исполнительного комитета. Закреплялись, и то только временно и почти всегда на очень короткий срок, специальные функции — связь с заграницей, постановка «технических», добывание средств для организации и т. д. Были, конечно, и исключения — некоторые члены Комитета так хорошо справлялись с возложенным на них кругом обязанностей, что равнозначной замены им не было, и они выполняли его постоянно. Например, Л. Тихомиров был бесшумно одним из редакторов печатного органа партии, А. Михайлов обеспечивал безопасность организации и т. д. Однако исполнение этих, а не других функций не было вопросом престижа.

Такая система взаимоотношений имела свои огромные преимущества, но она была рассчитана на вполне определенных людей — создателей Исполнительного комитета — опытных революционеров, сверстников, прошедших вместе весь путь своего поколения — от «хождения в народ» до террора. И когда из создателей Комитета к лету 1881 г. осталось всего 8 человек

<sup>34</sup> Подробнее см. в кн.: С. С. Волк. «Народная воля». 1879—1882. М.—Л., 1966, с. 142—143. Здесь же встречаем указание на публикуемое письмо Я. Стефановича.

<sup>35</sup> Анализ этических принципов и организационного своеобразия Большого общества пропаганды см. в кн.: Н. А. Троицкий. Большое общество пропаганды. 1871—1874. (Так называемые «чайковцы»). Саратов, 1963, с. 26—42, 48—80. См. также постановку вопроса в статье Ю. М. Лотмана «Отражение этики и тактики революционной борьбы в русской литературе конца XVIII в.». — Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 167, Тарту, 1965, с. 3—6.

(первоначально их было 28), они уже не могли руководить «Народной волей» по-старому, их сил не хватало для выполнения всех тех задач, которые ставила перед собой партия. Усложнились из-за ожесточения полицейского режима и условия деятельности. Возросло значение народовольческой периферии — провинциальных кружков и военной организации. Вновь принятые члены Исполнительного комитета не пользовались тем авторитетом, какой имели его создатели, а эти последние находились в постоянных разъездах и в тогдашнем центре партии, в Москве, бывали лишь эпизодически.

Все это привело к тому, что полное равенство, характерное для времени Александра Михайлова, Андрея Желябова и Софьи Перовской, постепенно сменилось лидерством двух наиболее влиятельных членов Исполнительного комитета, постоянно находившихся в Москве, — Л. А. Тихомирова и М. Н. Ошаниной.

В несомненной, хотя и сложной связи с этим явлением находится и изменение тактики партии.

То, что наивысший успех партии — первое марта — не вызвал ни широкого народного движения, ни поддержки либеральной общественности, а, с другой стороны, очевидная растерянность верхов и значительные успехи в пропаганде среди офицеров — толкало «Народную волю» к принятию новой тактики борьбы, тактики захвата власти. Она, в свою очередь, диктовала необходимость перестройки организации по принципу строгого подчинения.

В то же время тактика захвата власти могла быть выдвинута на первый план только в условиях возникшего, из-за обескровленности Исполнительного комитета, «генеральства» Тихомирова и Ошаниной (М. Н. Ошанина отстаивала необходимость захвата власти с момента вступления в «Народную волю»).

Сложившееся положение привело к тому, что многие важные решения руководители «Народной воли» считали теперь возможным принимать без согласования с остальными членами Исполнительного комитета. Так, например, они санкционировали публикацию прокламации Романенко от имени партии, они, уже находясь в эмиграции, в 1883 г. вели переговоры с предателем Дегаевым, которого снова отправили в Россию, не сообщив его истинной роли не только тамошним народовольцам, но даже Г. А. Лопатину, поехавшему на родину для реорганизации партии. Наконец, главное — сама тактика захвата власти была принята Ошаниной и Тихомировым без ведома целого ряда членов Комитета. По крайней мере, В. Н. Фигнер и А. П. Корба, как свидетельствует их спор с Дейчем в 1920-х гг., об этом ничего не знали.

Стефанович был одним из немногих, посвященных в планы Тихомирова и Ошаниной. Он полностью их разделял.<sup>36</sup> Для организатора-одиночки, постоянно готового изменить план действий вне зависимости от первоначальной теоретической установки, исходя из чисто прагматических соображений, принципы бланкистской тактики захвата власти были вполне приемлемы. Причастность к этой тайне и исключительное, благодаря заграничным связям положение в Исполнительном комитете, давали Стефановичу право считать себя одним из лидеров партии. Он, как и Тихомиров и Ошанина, осознавал себя в этот момент не просто революционером-бойцом, а видным деятелем большой политической организации, достаточно сильной, чтобы захватить власть в стране. Такая позиция, в принципе, не исключала возможности переговоров с противником о временном перемирии или взаимных уступках.

<sup>36</sup> Кроме прямого указания на это в «Карийских тетрадах» Дейча (Архив Дома Г. В. Плеханова. АД. 10. 2, лл. 98—100), есть и косвенное — самого Стефановича. В одном из первых писем 1881 г. из России Дейчу он просил «собрать сведения о книгах, трактующих о постройке баррикад, о ведении партизанской войны» (ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, № 150, л. 9 об.).

В свете вышесказанного следует рассматривать и точку зрения Тихомирова на этот вопрос, выраженную в одном из позднейших его писем к В. Л. Бурцеву: «Они <сопроцессники Я. В. Стефановича — Л. Л. и А. Р.> полагают, что **всякие** переговоры с правительством и **всякие** компромиссы — это некоторая подлость. Но огромное большинство революционеров в истории имело несколько иное понятие о своем долге и, «в видах пользы дела», вступало в самые разнообразные соглашения. Я лично думаю, что только чистый проповедник, пропагандист имеет долг не вступать в компромисс. Всякий же, занимающийся практической политикой, не может их избежать и, если этого не понимает, то лучше ему не соваться в политику».<sup>37</sup>

И переговоры Тихомирова со «Священной Дружиной» и с Дегаевым, и беседы Стефановича с Плеве имели, таким образом, общие корни. Когда в дискуссии 1920-х гг. бывшие народовольцы упрекали в «аморальности» Стефановича, а Дейч, защищая его, обвинял в том же Тихомирова, — обе стороны, по сути дела, выступали против одного и того же — чуждого этике революционера-семидесятника «политиканства».<sup>38</sup>

Однако, находясь под следствием, Стефанович совершил несколько поступков, которые невозможно объяснить ничем иным, кроме желания облегчить свою участь. Это и советы с Плеве о содержании речи на суде (упо-

<sup>37</sup> Представление о том, что действия партии могут быть соотнесены с какими-либо мероприятиями правительства, возникает в «Народной воле» именно в этот период. Даже П. А. Теллалов, человек, в отличие от Стефановича, безупречной народовольческой репутации, в записке на волю настаивал на том, чтобы до коронации не производилось никаких покушений и освобождений политзаключенных. С надеждами на послекоронационные реформы связана и скромность требований, выдвинутых подсудимыми на «Процессе 17-ти». Н. А. Троицкий справедливо замечает, что последнее было связано с тактическими соображениями (Н. А. Троицкий. «Народная воля» перед царским судом, с. 128). Нам представляется симптоматичным сам факт появления подобных соображений у народовольцев.

<sup>38</sup> ЦГАЛИ, т. 75, оп. 1, № 16, л. 11. Подчеркнуто Тихомировым.

<sup>38</sup> Уродливые формы приняла концепция «реальной политики» у предателя и провокатора Дегаева. Он, как нам кажется, находил для себя оправдание в том, что цели революционной партии можно осуществить и во временном союзе с жандармским подполковником, хотя бы и ценой выдачи товарищей. Эта его мысль отчетливо проступает в письме его младшего брата В. П. Дегаева Л. А. Тихомирову от 3. II. 1884 г. Здесь В. Дегаев, возмущаясь тем, что Тихомиров в своих статьях называет С. Дегаева предателем, пишет: «Факт выдачи, никто спорить не станет, некрасивый. Таких средств никто оправдывать не может, но тем не менее в данном случае находятся все смягчающие обстоятельства. Человек с таким гениальным умом, с таким характером, с такой энергией, с революционным опытом — мог решиться на такую вещь. Ведь что бы Вы сказали, если бы дело обернулось иначе. А оно могло, как казалось. Никто не может сказать против того, что кажущегося честолюбия у Суд<ейкина> было очень много, и оно было тем пунктом, на кот<орый> хотел действовать Дег<аев>. В конце концов открылось, что Суд<ейкин> был чинушкой, за грош готовый продать отца и мать. Честолюбие его не шло дальше возвращения революцион<ных> книг после обысков и т. п. мелочей. Значит, этот случай был чисто несчастный, это была ошибка. А дело, казалось, могло принять очень хороший оборот. Конечно, подобные вещи оправдывает только результат. И относиться к этому надо, значит, по-другому. Смешивать с обыкновенными предателями такого человека, с такими нравственными качествами, более чем низко. Человек этот делал это не из личных выгод. <...> Никто, опять повторяю, не станет возражать, что жертвы были ужасны. Но Молох революции требует и не таких». (ЦГАОР, ф. 634, оп. 1, № 130, лл. 1—2. Частично опубликовано в насыщенном интересными, нередко малоисследованными документами романе Ю. Давыдова «Глухая пора листопада»).

минание о них находим в письме от 21—22 марта 1883 г.), и опознание по фотографии казненного Халтурина, и противопоставление на процессе себя, «почти чернопередыла», террористам.

Иным объясняется признание Стефановича, что под фамилией Прозоровского скрывается Ю. Н. Богданович. Мы не думаем, что это была сознательная выдача. Скорее, здесь сказались талант следователя Судейкина и потеря бдительности, из-за общей уступчивости и мягкости тона, последственным Стефановичем.

В целом, нам кажется, письмо подтверждает характеристику Стефановича, которую ему дал в своем блестящем психологическом портрете С. Кравчинский: «Вечно деятельный, вечно поглощенный широкими планами, он был неразборчив в средствах и не прочь был побрататься с самим сатаной, если бы это только было ему полезным».<sup>39</sup>

События, изложенные в письме, — переговоры народовольца с директором департамента полиции и жандармским подполковником освещают малоисследованную и таящую, мы уверены, много неизвестного и неожиданного обстановку «смутного времени», последовавшего за 1-м марта 1881 года.

Письмо Стефановича можно также рассматривать как своеобразный литературно-публицистический текст эпистолярного жанра. Оно важно для исследователя-литературоведа и тем, что помогает понять сложную литературно-общественную обстановку 1880-х годов.

Письмо Стефановича от 12. III.—18. III. 1883 г. печатается по подлиннику (Архив Дома Г. В. Плеханова, АД. 4. 263. 17) с листа 1 до листа 20 об. Конец рукописи утерян, и после листа 20 об. письмо печатается по машинописной копии 1930-х гг., хранящейся вместе с подлинником.

Рукопись имеет ряд особенностей: иногда Стефанович писал дважды на одном и том же месте (такие случаи, в основном, разобраны), иногда пропускал слова (явные пропуски вставлены в публикации в угловых скобках). В угловых скобках с вопросительным знаком — слова, в правильности прочтения которых мы не убеждены. Многочисленные описки Стефановича (пропущенные буквы, неверные согласования и т. д.) исправляются нами без дополнительных оговорок. В написании некоторых фамилий восстановлены принятые сейчас формы, т. е. вместо: Горенович — Горинович, Добжинский — Добржинский, Желеховский — Желиховский и т. д. Все подчеркивания в тексте письма сделаны Стефановичем.

За помощь в работе приносим искреннюю благодарность Я. А. Ярославцеву.

\* \* \*

12-го марта. Признаюсь, не без малого страха пишу тебе это письмо. Боюсь, чтобы оно не попало в каким-нибудь образом, чего мне страх не хочется. Во-первых, совестно перед Плеве<sup>1</sup>, а 2-е, уже тогда, наверное, вместо Сибири засадят в Шлиссельбург или Алексеевский равел<ин>, что для меня равносильно смерти. Но я, с другой стороны, не могу оставаться спокойным при мысли, что тебе останутся неизвестными мои послеарестные приключения, как бы они, в сущности, ни были незначительными. С этой именно целью, т. е. чтобы передать тебе это письмо, я и пожелал избрать сам себе защитника<sup>2</sup>. Соглашаясь исполнить мою просьбу насчет письма, он, бедный, чувствует себя в немалом затруднении, как ему меня защищать, так как предлагаемые им системы мною отвергнуты (он, например, советует отказаться от заявления в принадлежности к Н. В. \*). Но бог с ним. Это неинтересно.

Хотел бы я подробнейшим образом и по возможности день за днем рассказать тебе, что со мною было после ареста. Но положительно чув-

<sup>39</sup> С. Степняк-Кравчинский, Уж. соч., с. 404.

\* Н. В. — здесь и далее — «Народная Воля».

ствую, что не в состоянии буду это сделать. Прежде всего потому, что память моя изрядно-таки ослабела, и вообще умственные способности не в прежней силе. Я это отлично осознаю. Это результат катара, развитию которого содействовало годовое сидение в камере без гуляний, и потом потеря крови (от гемороя). Признаюсь тебе откровенно, что едва ли протяну долго, если на Каре<sup>3</sup> обстановка не будет благоприятнее. Надо тебе сказать, что за последнее время очень часто находит мрачное настроение — тоже от причин чисто физиологических. Твои письма положительно являлись для меня единственным средством поддержки не только нравственной-душевной, но и физической. Но я опять удаляюсь от настоящего предмета. Пишу, видишь ли, не думая, т. е. не обдумывая заранее фраз, как то делаю с официальным письмом. Ну, начинаю.

Я уже описывал тебе, как меня арестовали, как я беспокоился за твой приезд, который, наверно, окончился бы арестом твоим, вероятно, раньше, чем бы ты добрался до Москвы, так как по двум твоим последним письмам, взятым у меня, ясно было, что ты едешь...<sup>4</sup> Но я тебе не все описал. Дело было так. Когда городской и помощник смотрителя наотрез отказались нести на почту мое письмо, я остановился на следующем средстве. Еще не знали, кто я такой. Имея представление о Судейкине<sup>5</sup> по рассказам мальчика<sup>6</sup>, я думал: если обращусь к этой личности и выражу ей, что, мол, слышал о его некоторых достоинствах как человека, она, сия особа, несомненно пожелает оправдать в моих глазах такое о себе мнение, причем, конечно, будет иметь и свои задние мысли и намерения. Я составил такой план: пошлите от меня телеграмму моей жене за границу — мне необходимо известить ее о своем аресте не из деловых, а из семейных соображений, она ответит телеграммой же, и подпишется моей фамилией<sup>7</sup>. Таким образом <ом> будете иметь удовольствие сделать доброе дело и полицейскую честь — первый узнать мою фамилию. Я не сомневался, что это удастся, ну а за себя, конечно, мог ручаться, что в засаду не попаду. Кроме того, была у меня маленькая надежда, если повезут меня в Питер, как Огрызко<sup>8</sup>, то, чего доброго, с такой незначительной охраной, что, авось, избавлюсь совсем из плена. Пишу в Жанд<армское> Упр<авление> заявление, что желаю быть препровожденным в Питер, о мотивах какого-либо заявления заявляю там. Дня через два подходит к дырочке городской и происходит у нас разговор, о котором ты уже знаешь. Я воспользовался случаем в том расчете, что один путь хорошо, а два еще лучше. Но каково было мое разочарование, когда на другой день является Скандраков<sup>9</sup> и говорит мне, что знает, кто я. Он думал (что и высказал), что я прошусь в Питер, имея в виду побег, поэтому заявил, что принял все средства против этого. Хотя я подтвердил ему, что я точно такой-то, но и не старался его уверить в противном, сказав только: думайте, как хотите. Мои оба плана оказывались расстроенными. В тот день, по словам Скандракова, меня должны были вести в Питер, а ночью только городской приходил на смену. Я уверен был почти, что, не застав меня и не получив вознаграждения (очки), он примет меня за обманщика и объявится по начальству<sup>10</sup>. Отказаться от поездки значило явно подтвердить мнение Скандракова (т. е. насчет побега): убедиться, дескать, что его узнали, а потому нашел намерение неисполнимым... Делать нечего, еду, надеясь дорогой придумать, как извернуться. Слезкин<sup>11</sup> устроил мое отправление очень торжественно: в особом вагоне с 4-мя жандармами и пятым офицером (Трегубовым). Нечего и говорить, что глаз с меня не спускали. Офицер ужасно трусил. Дорогой я решил обратиться к тому же Судейкину, прибавить на его гуманность тот излишек, который заменил бы реальную для него выгоду от узнавания моей фамилии.

На вокзале тоже торжественная встреча. Везут меня в Департ<амент> (здание III отд<еления>) и помещают здесь в арестантском отделении. Вечером приводят меня в какой-то кабинет, где застаю средних лет мужчину, статского. Приглашает сесть (в кабинете никого больше). — Что побудило вас требовать отправки в Петербург? — спрашивает. — С кем имею удовольствие говорить?

— Директор Д<епартамента> Г<осударственной> П<олиции>.

— Не могу ли я видеть Судейкина?

— Уж не думаете ли его убить?

— Нисколько, желал бы только с ним побеседовать.

— Извольте, хоть сейчас.

— Нет, уж лучше завтра: я устал с дороги.

Некоторое молчание. — Поздравляю вас с вступлением в народо-вольцы. —

— Покорно вас благодарю. (Я еще в Москве как Огрызко заявил, что принадлежу к партии Н. В.) —

— Одно из двух: или вы изменили свои убеждения, или Н. Е. — свои. Не могу ли узнать, которая из этих двух причин... и т. д.

— Отчасти и та, и другая. Жизнь выдвинула Н. В. после столь отчаянной и продолжительной борьбы единственной силой, к которой тяготеет все недовольное у нас в России. Это обстоятельство неминуемо потребовало с ее стороны расширения прежней ее программы. С другой стороны, лично я пришел к убеждению в невозможности существовать какому бы то ни было оппозиционному направлению при существующих условиях, а, следовательно<ельно>, и народничеству.

— Не можете ли вы сказать, насколько террористически настроена в настоящее время партия?

— Определенно не могу ответить, ибо положение в этом отношении еще не выяснилось. Существует два течения: одно, совершенно изверившееся в намерении правительства следовать иной внутренней политике и потому не видящее нужды сообразовываться с какими бы то ни было моментами, а идти все тем же путем; другое — или же все не потерявшее надежды на возможность со стороны правительства другой системы, или, по крайней мере, считающее необходимым воздержаться от террористических предприятий до коронации, чтобы убедить общество, что не она, партия, главная причина в желании правительства держаться реакционной системы.

— Вы принадлежите к которому из этих мнений?

— К последнему.

— Какое течение берет перевес?

— Я затрудняюсь сказать, так как оставил партию, когда окончательный перевес того или иного мнения не успел выясниться.

— В таком случае, нам нужно пожалеть, что вы арестованы?

— Предоставляю об этом судить уж вам.

— Но все-таки вы, конечно, настолько знаете положение дел, что можете предугадать, которое направление получит преобладание.

— Положительно не могу этого предсказать, потому что в этом так много будет значить и ваше поведение.

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что чем больше арестов, тем это дает больше орудия в руки элементов первой категории и действует на настроение в благоприятном для террора смысле.

Такой разговор велся у нас около часа. Плеве не обнаружил никаких полицейских сыщицких приемов и поползновений и произвел на меня настолько хорошее впечатление, что после его вопроса, сделанного уже при расставании, «как это вы разлучились с Дейчем?», я прямо обратился к нему:

— Из писем вы, вероятно, знаете, что он намерен ехать сюда. Я надеюсь, что вы не захотите воспользоваться случаем, чтобы арестовать его. Не позволите ли написать ему мне, чтобы он не приезжал?

— Извольте, напишите.

Я тотчас же, вернувшись в камеру, написал тебе 1-е тюремное письмо. Адрес для ответа (Вокзал, до востр<ебования>) предложил я, опасаясь, чтобы посылка прямо на Департамент не вызвала неприятных для тебя толков<sup>12</sup>. Отдав письмо через офицера, я было пожалел, зачем не сказал, что теперь не нуждаюсь в свидании с Судейкиным, но потом сообразил,

что, во-первых, небезынтересно повидать этого человека, а 2-е, послать тебе через него телеграмму, что все-таки скорее письма. Из последнего твоего письма убеждаюсь, что поступил оч<ень> хорошо, ибо, как ты пишешь, именно телеграмма тебя и задержала.

С Судейкиным у нас завязался такой же разговор, что и с Плеве, с той разницей, что говорил почти он один. Это молодой человек, лет 30, здоровый, красивый и весьма неглупый и, действительно, как сыщик талант замечательный. Его profession de foi такое: он чистокровный демократ, он был бы, наверное, революционером, если б не был жандармом. Он народник. Его иначе не называют в министерстве, как чернопеределец. Но он народник не революционер, п<отому> что верит в одно царское народничество. Он ненавидит конституционалистов, он уважает, но считает вредными террористов, и то, впрочем, пока их террор направлен против царя; убийство мелких лиц он одобряет, ибо ничего с ними, подлецами, не поделаешь. Он против белого террора; он находит существование револ<юционной> партии даже полезным и потому хватает лишь вредных, и то особенно, террористов. Но он все-таки желает знать все, что делается в партии, не из одних полицейских целей, а потому, что передовое движение его интересует, и потому, что он сам рожден быть членом тайного общества, чувствует инстинктивную потребность всюду проникать, все выведывать. Если б он не был жандармом, то был бы Эдиссоном. У него энергия изобретательная. Он жалеет, что жизнь толкнула его на сыщичье поприще. Но что делать, поздно возвращаться назад. Зато никто, даже Игнатъев<sup>13</sup>, не в состоянии сделать столько полезного, сколько он.

— «Помилуйте, какую массу людей я спасаю, людей, которые при другом началь<нике> сыск<ного> отдел<ения> были бы давно арестованы». И т. д. — «Я не только не вредный человек для партии, я ей полезен. Я не хочу нарушать всего здания, я выбираю только одиночек, наиболее опасных для царя личностей. Вот вам доказательство.» Здесь он выложил с десяток фамилий, из коих теперь припоминаю Якимова, Липского, Чихачева<sup>14</sup>. — «Я знаю многих, принадлежащих к партии, но много ли было арестов за мое пребывание в Питере? Всего несколько — Ольга Люб<атович><sup>15</sup>, Тел<лалов><sup>16</sup>, Борейша<sup>17</sup>, Мартынов<sup>18</sup>, но это все отчаянные террористы». Из них, — я говорю, — знаю Люб<атович> и Тел<лалова> — какие же они отчаянные, Христос с вами! — «Да я бы Люб<атович> не арестовал, не уедь она из моих пределов, а то, знаете, задело самолюбие, взяла, да и с глаз прочь — я бы не простил себе, если бы позволил себя провести. Ну, а за Тел<лалова> говорит прошлое.»

О своем сыщичьем отделении Судейк<ин> иначе не выражается, как «моя организация» и «ваша организация» (револ<юционная>). С Судейк<иным> виделся после этого на третий день, принес он мне ответную твою телеграмму. Опять все рассказывал о своей деятельности очень интересные подробности. Пока оставляю его в покое.

С Плеве виделся первые дни чуть не ежедневно. Раз он мне говорит, что если бы правительство обнаружало примирительное настроение маленькой предварительной амнистией (до коронации), послужило ли бы это на партию (так! — Л. Л., А. Р.) в успокоительном смысле? Я говорю, что несомненно <было бы> добрым предзнаменованием ввиду ожиданий, связанных с коронацией. Тут он мне, впрочем, довольно общо рассказал, что в высших сферах, около царя, точно так же, как в вашем кругу, борются два течения. Одно, с Игнатъевым во главе, желает созвать нечто вроде Земского Собора, другое — с Владим<иром> Александ<дровичем><sup>19</sup> — против этой меры. Что, ввиду этого, чрезвычайно важно, чтобы партия не проявляла <себя> резкими поступками. Я повторяю свое мнение и при-совокупаю, что с целью такого же воздействия необходимо, чтобы не было казней по предстоящему процессу и что некоторым лицам следовало бы подать в отставку или вообще устранились от дел.

— Кому же?

— Напр<имер>, Добржинскому<sup>20</sup>, Стрельникову<sup>21</sup>.

На другой, кажется, день Плевелю заходит ко мне в камеру и заявляет, что он внес предложение об амнистии всем нелегальным, в том числе и эмигрантам, не замешанным в убийствах и царевубийствах, что Игнатьев дает ход этому делу<sup>22</sup>. Так как ему, Плевелю, нужно написать об этом доклад, то не могу ли я описать положение эмиграции и степень ее значения в революционном движении. Я соглашаюсь. Дня в 3—4 пишу маленькую записку на 4 листах, где изображаю бедственное положение эмиграции, ее происхождение и постепенное ослабление ее значения в ходе революционного движения, которое (ослабление) с 79 г. превращается почти в ничто.

Призвав меня дня через два, Плевелю показывает несколько писем, присланных из Вильно и взятых у кого-то при обыске. Между прочим, дает мне прочесть твое письмо к народолюбцам, в котором ты выражаешь растерянность по поводу моего ареста и просишь робко, чтобы не забывали, писали. Я сообразил сейчас, что эти письма привезены оказией (тут было и Дурново<sup>23</sup> письмо к кому-то). Затем читаю я письма Голдовского и Гартмана<sup>24</sup> к М. Н.<sup>\* 25</sup> и вообще к Исполнительному Комитету. В них Комитет предостерегается от моих козней, так как я, дескать, поступил в Н. В., нисколько не разделяя ее программы, а единственно, чтобы провести свою и верховодить Комитетом по-своему.

Авторы жалуются, что это уже проявилось явным образом на границе, где они, верные его слуги, оттерты совершенно, а аренной деятельности завладели передельцы — Дейч, Засул<sup>ич</sup>, Плеханов и другие. Жалуются также, будто ты не хочешь отсылать их писем в Россию, что вот, мол, жена Голдовского<sup>26</sup>, благодаря мне и тебе, не была допущена к свиданию с комитетцами и пр. В конце еще раз соболезнуют, зачем сделали такую ошибку с моим приемом. Я заметил по поводу этого письма, что авторы его преувеличивают мои козни, которые не заходят дальше высказанных ему, Плевелю, моих убеждений. Во всяком случае, письмо произвело на Плевелю благоприятное, в мою пользу, впечатление. Оно подтвердило ему, что я высказывался искренно насчет своих взглядов на своевременность террора и пр. Он стал откровеннее. Так, заявив мне, что амнистия приурочивается к пасхе, он выразил сожаление, что меня арестовали, иначе бы и я подошел к амнистии, а то мне придется ждать коронации. Между прочим, включался в амнистию Иван (Бохановский)<sup>27</sup> и вообще все почти эмигранты, (но Кропоткина не было). Тебя не было тоже, на основании Гориничевского дела. Все с уголовными преступлениями оставлялись царю к коронации.

Кстати о моем Гориничевском деле<sup>28</sup>. Еще раньше Плевелю говорит: «Жаль, что за вами уголовщина, а то ваше положение было бы не из опасных.» Я говорю, что не принимал участия в деле.

— Но для суда недостаточно вашего заявления. Нужны доказательства.

Я ссылаюсь на записку Костюрина<sup>29</sup>, о которой он не помнил.

— Все-таки показание каторжника не будет иметь значения.

— Что же делать, — говорю я, — придется ограничиться одним заявлением, потому что хотя я мог бы доказать свое алиби, но с этим связано лицо, которое я не желаю впутывать в дело, тем более, что это значило бы дурно вознаграждать за оказанное им гостеприимство.

— Какую роль играет теперь это лицо?

— Никакой. Это был просто знакомый Костюрина; он давно потерян мною из виду, так как <sup>какого?</sup> отношения к революционным делам не имеет.

Тогда он предлагает мне следующее. Если я назову ему лицо и место тогдашнего его жительства, если по его, Плевелю, справкам, окажется, что то лицо действительно жило там, то ему, Плевелю, достаточно будет этого, чтобы сделать <sup>уведомление</sup> производящим следствием, что на основании сведений полиции я никакого участия в деле Гориничева не

\* М. Н. — здесь и ниже Мария Николаевна Ошанина. (1853—1898).

принимал, и меня не станут даже обвинять в нем. Я сначала не соглашался, так как все-таки то лицо навлечет на себя неприятности, тем более, говорю, что оно из военных. Плевэ уверяет, что раз я говорю правду, что тот господин только укрывал нас и с тех пор никаких касательств к революционерам не имел, то ему ничего не будет, ибо мало ли личностей спокойно гуляют на воле, занимавшихся укрывательством даже в последние террористические годы. Так как он мне дал обещание, что с этой личностью ничего не сделают, а назвал его по имени и отчеству (Бронислав Петрович), ибо фамилию забыл, указываю квартиру, где он жил и я с ним, — через нескол<ько> дней Плевэ объясняет, что навел справки, что Брон<ислав> Пет<рович> есть Трушковский, действительно там жил и с ним еще два человека (я говорю, что это был Бух)<sup>30</sup>. Что теперь это лицо штабс-капитаном служит в Туле и на самом хорошем счету у начальства. Таким образом я освободился от дела, так сказать, негласным путем. Что касается твоего участия, то я <вошел?> в такую откровенность. Естественно, что у людей явилось желание спасти товарищей от арестов, так как было несомненно, что хотя Горинович не официальный шпион, а только частный, Гейкинга<sup>31</sup>, но своим приездом в Elizavetgrad он, Горинович, имел в виду выдачу бунтарей, о которых ходили крайне преувеличенные слухи насчет их революц<ионных> предприятий, что не могло не заинтересовать Гейкинга. Рассказал, словом, то, что описано мною в «Громаде», тобою в «Общине»<sup>32</sup>. А так как ты не имел ни малейшего намерения лить кислоту на живого человека, то, узнав из газет, что в действительности облит был живой человек, будучи еще оч<ень> молодым и впечатлительным человеком, отнесся к этой несчастной случайности с крайним прискорбием. Впечатление сильно отразилось на твоём нравственном состоянии. Я стал замечать это и старался даже отнять у тебя револьвер. Однажды мне показалось — мы ехали в поле за городом — что ты берешься за револьвер, у меня мелькнуло нехорошее намерение. Я схватился за оружие, чтобы вырвать его из твоих рук, но неловко, револьвер выстрелил мне в руку. — Зачем вы оба бравировали в своих показаниях в Киеве? — Не перед Котляревским<sup>33</sup> же нам было пускаться в откровенности и вдаваться в анализ своих чувств.

Я же взял тогда на себя дело пот<ому>, что хотел разделять с тобой одно и то же положение, каковое условие в настоящее время не существует. Будь ты тоже арестован, я, конечно, продолжал бы утверждать то же, что и в Киеве.

В тот же раз, т. е. когда Плевэ показал мне письма, привезенные оканзией, он рассказал наиболее подробно о двух течениях в правительственной среде. Игнатьева проект созыва депутатов с целью выработки более целесообразных узаконений и изменения государственных форм находил поддержку у царя, но Владимир, Ванновский<sup>34</sup> и Дашков<sup>35</sup>, кажется, действуют против этого предложения. По его, Плевэ, мнению, все устроится к лучшему, т. е. по проекту Игнатьева, если только не произойдет ничего террористического, особенно против царя, что несомненно даст перевес партии Влад<имира>.

Тут же он мне, между прочим, вручил для прочтения проекты Земельного Банка и урегулирования детского труда в доказательство известного влияния в правительственной среде. (Эти проекты несколько были изменены, вошедши в закон после дебатов в Государственном Совете; изменения произошло в пользу привилегирован<ных> сословий.)<sup>36</sup>

После этого (но не того же дня) является ко мне Судейкин. Мне трудно теперь передать подробно это длинное, многочасовое свидание. Я расскажу его не в совсем хронологическом порядке. Дело в том, что коронация готовилась в августе, после родов царицы. Судейкин гарантировал, что никакая опасность царя не ожидается. Требовал лишь, чтобы отдали в его распоряжение Москву. Чувствуя всю ответственность взятого на себя обязательства — гарантировать царя от всякой опасности — он задумал волевать в это дело меня. Основываясь на моем мнении, что всякие террори-

стих<еские> мероприятия до коронации не должны происходить, он предложил мне такую вещь: выпустить меня на волю, чтобы я влиял в этом направлении на Комитет. При этом прибавил, что так как выпуск меня при теперешних порядках (когда уже нет III отд<еления>) <sup>37</sup> может состояться не иначе, как с согласия на это царя, что хотя он, Суд<ейкин>, заранее уверен в этом согласии, но находит этот способ неудобным, потому что дело станет слишком громким, о нем будут говорить в высшем слое, возлагать, м<ожет> б<ыть>, больше надежд, чем следует, ждать и т. д. Ввиду всего этого он предлагает выпустить меня от себя, беря дело на свой страх, устроить, одним словом, побег.

Я отвечаю, что охотно взялся бы содействовать задержке террористич<еских> фактов до коронации, если бы находил способ, предлагаемый им, возможным. Но наши положения настолько различны, что должного при этом доверия ни в коем случае существовать не может. Что хотя он, как Судейкин, мож<ет> быть, искренно дает мне слово не злоупотреблять моей свободой в видах чисто сыщических, но, как полициант, конечно, данного слова не исполнит. На это он возразил, что, мол, и нет ему особенной надобности пользоваться мною для этой цели, пот<ому> что он и так знает гораздо больше, чем я думаю. Он выложил мне множество квартир в Москве, из коих я сам знал несколько (Поддубенского, Прозоровского, Ухова, Фомина <sup>38</sup>, и, кажется, еще, теперь не помню). Фамилий этих лиц он не знал, знал только, что все нелегальные. При этом заявил «откровенно», что ищет, глав<ным> образ<ом>, 4 лиц: Кобозева, Грачевского, (я тогда не знал, что Вас<илий> Пет<рович> — есть Грачевский), Баранникову и Фигнер <sup>39</sup>, что остальных он не станет трогать. «В Петербурге у меня никого нет из важных, был Златопольский, но и тот теперь в Москве» <sup>40</sup>. Затем рассказал в подтверждение своего доверия ко мне, что его агенты тоже образуют кружки из молодежи, якобы, революц<ионные>, что в числе его шпионов состоит Виноградов из большого процесса <sup>41</sup>, Пиотровский, освобожденный им из Киева (он вовсе не за границей, как думали) <sup>42</sup>. Несмотря на его уверения, что у него и в мыслях не было сделать меня его шпионом, что он знает, с кем имеет дело, что просто вступает в договор с членом враждебного лагеря насчет временного перемирия, без коего не мог бы устроиться настоящий мир (сиречь реформы после коронации, созыв Собора и пр.), я продолжаю варьировать на разные лады приведенный выше ответ. Он ужасно долго сидел, что-то с 5 ч. до 12 ночи, убеждал всячески и, вообрази, плакал. Я и теперь думаю, что плакал он тогда искренно, слишком увлекся перспективой спасения рус<ского> общества от торжества реакционной клики. Он честолюбив и сам по себе ничуть не реакционер, а просто авантюрист, желающий слыть прогрессистом и действующим на благо народа, а не царя. Он тысячу раз заверял, что это благо связывается с царем и никак не с либералами, и лишь потому готов положить голову за царя, тем паче, что ныне царствующий очень добр, искренно желает благополучия народу и прочее такое. Как бы то ни было, но мы расстались, не пришедши к соглашению. При прощании он просил, чтобы разговор остался между нами, чтобы я не говорил по этому поводу с Плеве, и все-таки обещал забегать, авось я надумаю.

Вчера у меня ужасно болели зубы. Не знаю, насколько связано рассказывал я. Сегодня ничего, поэтому надеюсь быть вразумительнее. Итак, после ухода Суд<ейкина> я начал думать. Всю ночь не спал. В общем, мои соображения были такие. Не было, разумеется, сомнения, что честности Суд<ейкина> доверять не следует. Поэтому я поставил вопрос независимо от Суд<ейкина>. В силу и рост партии при теперешних условиях у нас в России я не верил. С этой вечно сизифовой работой вечно и будешь топтаться на одном месте. Почти все нелегальные в Москве были в руках Суд<ейкина>; на днях перед этим Плеве сказал, что Саранчов выдал всех киевлян <sup>43</sup>. Конечно, всегда так и было, но дело не в системе, а в ее размерах. Пока полицейская политика будет применяться в настоящих размерах, нам и status quo не поддержать. Пока общество молчит — мы

только таинственное пугало, но не сила. Такая мера, как амнистия, хотя бы неполная, и созыв земских депутатов, расшевелила бы общество, и движение не остановилось бы в рамках, которые правительство, само собою, постаралось бы сузить. Предвидя легко возможную реакцию, партия воспользовалась бы временем, чтобы приготовиться к ней, организовать прочнее, расширить свой контингент амнистированными и свежими элементами, которые непременно всплыли бы наружу в такой момент. Следовательно, думал я, нужно желать, чтобы план Игнатьева восторжествовал, следовательно, далее надо воздерживаться от терр<ористических> предприятий и убедить в том людей. Я знал, что готовится убийство Стрельникова, знал, что возможны и другие подобные дела, и даже посерьезнее. Как ни ненавидел я Стрельник<ова>, но, ввиду имеющихся быть событий, охотно оставил бы его в покое. Я был уверен, что Л. \*<sup>44</sup> да и другие согласились бы с моим мнением. Если бы даже проект созыва Собора не осуществился, все же мы не были бы в проигрыше. Правительственные ссылки на партию, как на предлог для излюбленной системы, не имели <бы> в глазах общества никакого значения (а ведь многие этому верят). Наконец, чтобы не соблазнять аппетита Суд<ейкина>, на известное время до коронации можно бы спровадить за границу всех, на кого полиция точит зубы (т. е. почти весь Ком<итет>). Не сумею теперь, спустя год, изобразить тебе ход моих размышлений, в которых, признаюсь, играло (но, право, не первостепенное) значение и перспектива явиться к тебе неожиданно-негаданно. В принципе я решил, что принять предложение Суд<ейкина> следует. Я не забыл истории с Гольденбергом, которого почти так<им> же образом Добржинский убедил выдать всех товарищей<sup>45</sup>. Меня, конечно, считали умнее Гольденберга, и когда тот же Добржинский издали подходил ко мне с такими же целями, я просил его больше ко мне не являться. Не будь Плеве, я не поверил бы ни в какие начинания, но все его поведение, при всей моей предубежденности, не внушало ни малейшего подозрения в ломании комедии. Понимал я также, что Судейкин рассчитывал во всяком случае остаться в барышах, если я приму побег. Он надеялся, без сомнения, следя за мною, опутать организацию сетями со всех сторон; буде же этого не удастся, революц<ионное> затишье до коронации оправдает его обещание царю.

Но как обеспечить себя, чтобы не стать невольным орудием его чисто полицейских целей? Я остановился на немедленном отъезде за границу, что и поставил ему первым условием. Я составил план для передачи Суд<ейкину>, как я буду действовать в интересах цели побега оттуда. Вторым условием поставлю ему воздерживаться от арестов, что необходимо для успешности моих воздействий. Исходя из этих положений, решаюсь вести с ним разговор. Мне ужасно хотелось посоветоваться с тобою, но мне казалось, что письмом приведу только тебя в смущение, тем более, что через Суд<ейкина> не мог я высказать тебе всех своих мыслей и чувств. Думал я рассказать Плеве о предложении Суд<ейкина>, но не хотел поступать против желания Суд<ейкина>, просившего меня с Плеве об этом не говорить. (Я заметил, что они оба друг друга недолюбливают). Может быть, он имел на то свои основания, и я мог расстроить этим его виды.

Итак, когда Суд<ейкин> явился, я выкладываю ему свои условия. Я говорю: «Согласитесь, что наши положения настолько неравны, что строить дело на взаимном доверии немисливо. Сведем его, главным образом, на гарантии.» Он притворился обиженным: «Если б вы могли понять, как мне тяжело это слышать. Положим, я сыщик, но, право, я честный человек.» — «Ну, ладно, — думаю, — разговаривай!»

Стали мы разбирать дело с точки зрения гарантий. Он не находил их для себя в моем отъезде за границу.

— Чем я отвечаю, если не исполню своей миссии? Если моя миссия ока-

\* Л. — здесь и ниже Л. А. Тихомиров.

жется неудачной, я обещаю вернуться и сделать так, чтобы честь моей поимки принадлежала ему. Буде же не вернусь, он может дискредитировать меня в глазах партии и всей публики. Наконец, еще лучшее средство — арестовать моего брата и даже двух<sup>46</sup>, — я не стану покупать свою свободу ценою их ареста.

Он прослезился (да, полдец, пролезился!). И патетически воскликнул: «Я не способен решиться на эту меру.» Но когда увидел, что мое условие неизменно, дал понять, что *raison d'état* заставляет прибегать ко всему самым мягких людей, и принял мое условие. На другое — прекратить аресты до коронации, причем я обещал спровадить всех революционеров и, в том числе, ему известных нелегалов из Москвы, дабы они не смущали его во время коронации, — на это другое условие он отвечал согласием в пределах своего района (Москва и Питер), но исключая двух лиц — Кобозева и Грачевского. (Я узнал от Добржинского, что Птица или Грач, т. е. Васил<ий> Петр<ович> есть Грачевский). За Грачев<ского> он принимал Калужного<sup>47</sup>, о Богдановиче он знал, что тот в Москве, и принимал за него сначала Поддубенского, потом убедился, что Прозоровский — Богданович. Насчет его заметил, что хотя выбрал для себя оч<ень> удобную квартиру, но ведет себя не особенно осторожно. По его словам, ему нужно было арестовать этих двух для того, чтобы утвердить к себе доверие Дашкова (министра двора), приближенного царя. Я отвечаю, что он может заявить ему, что все эти лица в его руках, что он всякую минуту может арестовать их, и если не делает, то потому, что имеет в виду через них добраться до других.

— Это не то: заявление можно сочинить, совсем другое — живое доказательство, — возразил он.

Когда он сказал, что Прозоровского имеет в руках, что он — Кобозев я не мог не смутиться и покраснеть (что со мною обыкновенно случается прежде, чем побледнеть). Он, конечно, это заметил: «Не правда ли, это он?» — Я говорю: «Да». У меня мелькнула мысль вызвать доверие этим утверждением и спасти сожителяницу Прозоровского. На вопрос, кто она, террористка или нет, я начал совершенно спокойно объяснять, что эта женщина — совсем ничтожное существо, больная, вечно лежит в кровати и служит просто мебелью в квартире, как хозяйка<sup>48</sup>.

— Ну, разумеется, мне она не нужна.

Уверял я также, что тот, кого он принимает за Грачев<ского> — не Грач<евский>, а один чернопередедец, вошедший в Н. В., которого в его же видах не следует арестовывать. Когда мы перешли уже к плану побега (которых он предлагал несколько, но об этом не стоит расписывать — время мне теперь дорого), я невзначай вернулся к Прозоровскому и говорю, что он, хотя и Кобозев, но всегда поддерживал меня в проведении моих мнений насчет несвоевременности террора, что, арестуя его, он, Суд<ейкин>, лишает меня значительной помощи, к тому же Прозоровский — близкий мне довольно человек и мне жаль его. Он, показалось, будто расчувствовался и дал слово его не трогать: «Я хочу первый сделать шаг к установлению доверчивых отношений между нами, Яков Васильевич.» (Он так изволил меня величать).

Насчет плана достаточно сказать следующее. Я остановился на некоторых местах. Я заявил, что ни одной квартиры в Питере (где надо было перебыть до отъезда за границу) не знаю. Какими-то квартирами судейкинской организации, конечно, не пожелал воспользоваться и решил выпить в Петербург Липку<sup>49</sup>. (Какая досада, остановился было и начал писать по писаному). Я избрал ее, ибо знал, что она стоит в стороне от н<а-родо>вольцев, настолько меня знает, что недоверию места не может быть, наконец, имел ее безобидный адрес. Чтобы объяснить Суд<ейкину>, почему на ней останавливаюсь, я намекнул, что ее ребенок — мой сын. Таким образом<ом> и завязалась у меня с Липкой переписка. Обменялись, кажется, 3-мя письмами. Она не подозревала, что посредником служит Суд<ейкин>. В первом же письме шифром я просил ее совершенно изолиро-

ваться от людей и скорее приехать сюда. Ею абсолютно не интересовались, даже не считали под надзором. Только недавно Плевле передавал, что Макова<sup>50</sup> назвала ее участницей в Кр<асном> Кресте, почему ее и привлекли к дознанию, но не арестуют. (Так Плевле говорил). Если она сохранила мою переписку, пусть доставит тебе, а то для полноты моего рассказа пусть хоть содержание их подробно передаст. Плевле продолжал держать меня в Департ<аменте><sup>51</sup>. Суд<ейкин> настаивал, чтобы я добивался перевода в крепость, а сам хотел как-то устроить, чтобы вместо крепости я попал в Д<ом> Пр<едварительного> Зак<лючения>. Отсюда нельзя было бы браться за освобождение, ибо это значило бы распорядиться в сфере власти Плевле. Я как-то сказал Плевле, что мне уже надоело тут сидеть, он ответил что-то уклончиво, из чего я заключил, что он, вероятно, думает воспользоваться мною при списках амнистируемых эмигрантов (некоторые его выражения дали основание так думать). Я же думал, что спешить нечего, пока Липки здесь нет. Но после Стрельниковского убийства Суд<ейкин>, пользуясь тревожным состоянием Плевле и, вероятно, лучше меня зная его намерения продержать меня здесь, рассказал ему наше дело. Я не знаю, как он ему рассказывал, не приходилось об этом расспросить. Факт тот, что, несмотря на благоприятные настроения Плевле, после убийства Стрельн<икова>, он на предложение Суд<ейкина> отвечал несогласием. Дело в том, что Плевле всячески старается сохранить непорочность на своем полиц<ейском> посту, он боится припугивать себя к экстраординарным историям, к тому же с Суд<ейкиным>. К тому же, как мне кажется, он поступил так, имея в виду и мои интересы, ему несомненно представлялось что Суд<ейкин> без надувательства не обойдется. Призвав меня как-то, Плевле заявляет, что Суд<ейкин> сказал ему о моем с ним соглашении, но он, Плевле, к этому относится неодобрительно. Он, собственно, выразился так: «Но я нахожу, что к этому делу прибегать не следует». Вообще говорил как-то неохотно, очевидно, не желая высказывать всех своих соображений. Я вынес такое впечатление, что, дескать, не нужно вам связываться с Суд<ейкиным>. Я не считал удобным спрашивать, почему и проч<ее>, и только заметил: «Я в этом деле менее заинтересован, чем Суд<ейкин>». Поэтому мне совсем не трудно от него откататься.» Больше и разговору об этом не было. В этот же раз Плевле к чему-то упомянул Богдановича в таких выражениях, что я понял, что его арестовали вовсе не так давно.

— Разве Богданович арестован? — спрашиваю.

— Конечно, разве вам Суд<ейкин> не говорил?

— Его арест для меня не совсем понятен, — продолжает Плевле, — сожительница Богд<ановича> ушла на глазах полиции. Мне кажется, что она его выдала. Иначе не знаю, как могла полиция не взять ее.

Я был раздосадован за свое некоторое доверие к обещаниям Суд<ейкина> и в то же время обрадован спасением М. Н. Очевидно, все-таки Суд<ейкин> поверил моей характеристике сожительницы Богд<ановича> и не пожелал ее трогать. Очевидно также, что он хотел передо мною оправдаться в аресте Богд<ановича> какой-нибудь выдумкой и смягчить впечатление несдержанного им слова относительно Богд<ановича> тем, что сдержал его насчет сожительницы<sup>52</sup>. Во всяком случае, я при первом свидании решил разделиться с ним окончательно. Но я его больше не видел. По всей вероятности, он не находит предлога требовать у Плевле моего перевода отсюда, а тот, как я теперь думаю, не мог не сказать, что намерен держать меня тут. Так он больше ко мне и не являлся. Потом, узнав, что М. Н. за границей, я не мог удержаться, чтоб не сказать Плевле, что она-то и была сожительницей Богд<ановича>. Этим мне хотелось довести до сведения Суд<ейкина>, что и я не остался у него в долгу. Маленькое замечание: Директор не обязан знать, какими путями и средствами Секр<ет><ное> Отдел<ение> добывает сведения и вообще исполняет свою охранительную миссию.

Возвращаюсь опять к Плевле. В день убийства Стрельн<икова> в 12 ч.

ночи он призывает меня и сообщает об этом событии. Он был в большом волнении, так как это событие давало основание думать, что за этим последуют и другие, и что то террористическое течение, о котором я говорил, взяло верх. В это свидание он был особенно откровенен. Откровенен, впрочем, не в отношении фактическим, а в своих отзывах о разных правительствах лицах. Сущность разговора была та же, что и раньше. В правительстве одна фракция с Игнатьевым желает успокоения общества путем реформ и призывает сословных представителей. Царь склоняется всецело к этой фракции. Но он вообще крайне несамостоятельный человек. Тема рассуждений, какие предполагается представить Земскому Собору — федеративный строй России на манер Австрии. Владимирская кампания — чисто абсолютистская — за старые порядки и белый террор. На мой вопрос, что будет теперь с амнистией, он заявил, что ее решено объявить в день разрешения от бремени царицы, что он не думает, чтобы Стрельниковское дело провалило ее, хотя несомненно противники ухватятся за этот предлог. Сам Плеве не высказывал никакого соболезнования Стрельникову. Так что и я не нашел неудобным выразить свою радость по поводу его смерти. Но вот что показалось ему странным и мне несколько неприятным за Комитет. Убийство совершилось на другой день после помилования осужденных на смерть по процессу 20<sup>53</sup>. Плеве говорил, что очевидно они нисколько не сообразовались с судьбой осужденных, ибо едва ли в Одессе в этот день было известно о помиловании. А между тем, случись событие днем раньше, наверное было бы казнено по крайней мере 3, если не 5. Перед конфирмацией я еще осведомлялся, много ли будет казней. Примирительная партия (к числу коей принадлежал и Плеве, его мнение относительно того, следует или не следует казнить, значит очень много) требовала ни одного, сам царь, хотел всех помиловать, но белые террористы стояли на всех, кроме женщины, и по крайней мере на 5. Потом спустили на 3, и, наконец, Владимир и Ванновский уперлись на Суханове, как на военном, и то царь заменил виселицу расстрелом. По этому поводу шла настоящая борьба, продолжавшаяся около месяца. Разумеется, на властей произвело крайне неблагоприятное впечатление, что на воле ставят ни во что жизнь понавших. В этом видят не осмысленность в терроре, а манню, своего рода болезнь. Признаюсь, и мне это было неприятно. Я объяснял это тем, что, мол, партия абсолютно изверилась в примирительное настроенное правительства и была глубоко убеждена, что оно, правительств, казня или милуя, нисколько не сообразуется с тем, какое это впечатление производит на партию.

На вопрос Плеве, какими бы мерами я искоренял крамолу, если бы стоял?, положим, на официальном высоком посту, я конечно, опять возвращаюсь к амнистии, которую называю лишь прелюдией к дальнейшим мерам. Радикальное же средство вижу в открытии свободного доступа молодежи к народу. Революции от этого быть не может. Только не знающие страны департаментские чиновники и министры воображают народ быстро воспламеняющимся материалом. Напротив, реальная крестьянская действительность отрезвляет от слишком высоких парений. Я бы погнал всю молодежь в народ, понизил бы земский ценз, открыл бы ей свободный доступ в должности, близко соприкасающиеся с народом, и ничуть не смущался неминуемыми на первых порах увлечениями; народа этими увлечениями не взволнуешь, а отдельные попытки государства не поколеблют. Через год — два эти увлечения улягутся сами собой. Между тем как закрепощение молодежи по городам выработывает из нее заговорщиков, которые при абсолютном самодержавии и полном безучастии общества в государственной жизни гораздо опаснее сотен тысяч молодых людей, растворенных в народном океане. Необходимо дать возможность удовлетворять естественным социально-нравственным потребностям нашей интеллигенции так рвущейся на бескорыстное служение народу. Пусть уничтожат все преграды, не допускающие ее к народу, пусть уничтожат условия, делающие жизнь в народе невозможной теперь сколько-нибудь образованному с социальными гуманными

стремлениями человеку. Таким путем будет предоставлен исход брожению, которое, сосредоточившись, помимо своего желания, в городах, принимает теперь острый, отчаянный характер. Я нарочно в общих чертах, изложил, как я высказывался. Ниже ты поймешь — зачем. Конечно, все мои разговоры передавались Игнатьеву. Он жил тут же, в Департаменте, и из его комнат во втором этаже шла лестница в переднюю кабинета Директора (теперь она, хоть и есть, но ход заделан; Толстой<sup>54</sup> не здесь живет). Во всяком случае, я был уверен, что если мои мнения не могут иметь значения, то выслушивают не без интереса. Не мои как такового-то, а как человека партии, которую власти вовсе не считают ничтожной и недостойной внимания со стороны ее взглядов.

Не могу я, и некогда (надо завтра отдать написанное) в подробностях излагать дальнейшие свои тюремные впечатления и сведения. Факт тот, что Плеве все реже и реже стал упоминать мне об амнистии и как-то неохотно говорил на эту тему. Наконец, в мае м<sup>е</sup>сяце на мой вопрос, что же с амнистией, он берет несколько №№ «Московских Ведомостей» и вместо всяких объяснений говорит: «Прочтите эти номера. Вы, вероятно, вместе читаете между строк.»

В газете оказались статьи, в которых Катков с громом накидывался на Земский Собор<sup>55</sup>. В фельетоне (кажется) разбирает Великую революцию, старается доказать, что она и вышла-то, благодаря созыву депутатов от сословий и проч. Очевидно, Катков принимал деятельное участие в закулисной борьбе, но я все-таки не мог решить, насколько его клика оттирает на задний план противников. Так этот вопрос и остался для меня нерешенным.

Плеве я не видел что-то долго. Наконец, 2-го июня меня переводят в крепость. Мне показалось очень странным, почему Плеве не предупредил меня о переводе. Отдавая свои письма (от тебя), я написал на конверте, нельзя ли их доставить мне в крепость, и так, не выдав его, и уехал.

Я был убежден, что это признак чего-то неблагоприятного, но не мог, конечно, догадаться, что Игнатьев слетел, и всплыл опять Толстой — Письма твои мне были присланы в запечатанном конверте, несмотря на то, что по уставу крепости никаких писем при себе держать не полагается. Сижу я в тюрьмы и недоумеваю, что сей сон означает. Тяжеленько мне было, что так вдруг оборвалась наша переписка, что я не мог предупредить тебя об его прекращении. Начал осведомляться стуком, кто соседи. Отозвались двое. Один оказался Лампе<sup>56</sup>, другой — солдат из крепостного гарнизона, распропагандированный Нечаевым<sup>57</sup>. Не помню его фамилии. Это он мне стучал по порядку азбуки. Я тебе уже рассказывал<sup>56</sup>. Нужно тебе знать, что Нечаев сидит в Ал<sup>ексеевском</sup> рavelине, распропагандировал на гуляниях 40 человек солдат. Было недавно два процесса из этого количества. Процессы держатся в строгой тайне. На них солдаты выказывали необыкновенное уважение к Нечаеву, он их совершенно околдовал. Замечательный это человек. Ничто его не ломает. На вопрос суда, за что они, солдаты, так уважают Нечаева, отвечали: «Как нам его не уважать, коли он...» \* Коли сам генерал Потапов не отважился против него пойти. — Потапов пришел однажды к Нечаеву: «Что, Нечаев, в бога веруешь?» Тот отвечал, что верует, но только не в такого, как он. — «А царя полюбишь?» — Нечаев хватил ему в рожу вместо ответа. Потапов только нагнулся, поднял фуражку и вышел: «Что с тебя возьмешь, пропащий ты человек».<sup>59</sup> Нельзя не удивляться доброте этого человека, вспомнив Трепова и Боголюбова<sup>60</sup>, Мезенцева<sup>61</sup> и того же Нечаева. Мезенцев за какую-то грубость, не сопровождавшуюся мордобитием, посадил Нечаева на цепь. Так он просидел два или три года.

Вдруг 10 июня приносят мне в камеру одежду и велют одеваться. — «На прогулку?» — спрашиваю. (Там служителям приказывают не отвечать на вопросы заключенных, что с новичками, обыкновенно, соблюдается строго).

\* предложение недописано.

Просидел неделю, и еще ни разу не ходил гулять. Но меня сажают в карету и везут в Департам<ент>. Оказалось, что Плевелу пожелал поделиться со мной впечатлениями по поводу открытия динамитной мастерской<sup>62</sup>. Меня удивило, что он казался значительно спокойнее, чем после убийства Стрель<никова>, хотя дело для него было неожиданным. Судейкин давно следил за всем, что делается около мастерской и по покупкам в магазинах знал, что там готовится динамит, но, по своей обычной тактике поражать, молчал до дня ареста.

На мой вопрос, насколько это обстоя<тельство> повлияет на благие всякие начинания, Плевелу замахал руками: «Ну, нет, теперь уже все в трубу». Я был так огорчен бестактностью Комитета, что не мог не высказать ему своих мыслей. «Очевидно, там совершенно нет умных людей», — заметил он.

Мысли мои я тебе описывал во 2-м, глав<ым> образ<ом>, письмо в этот период сидения в Департ<аменте><sup>63</sup>. Царь перетрусил, задуманный было переезд в Питер отложен, отложена и коронация. Владимирцы и торжествовали, и бесновались. Плевелу надеялся, что будут всех нас судить военным судом. Он показал мне карточки 17 человек, арестованных по делу мастерской. Из них моими знакомыми я назвал Грачевского и Анну Павловну<sup>64</sup> (ни он, ни я еще фамилии ее не знали). У Андреева взято 8.000 рублей<sup>65</sup>, из коих Судейкин получил вознаграждения за свой подвиг 5.000 рублей и чин подполковника. Остальные лица мне действительно не были известны, кроме Быховского, (товарища по гимназии),<sup>66</sup> с тех пор я его не видал — он всегда был лавристом, когда еще существовала эта кличка. Я уверял Плевелу, что он, наверное, никакого участия в деле не принимал, что, по всей вероятности, почти что так и было. Его к суду не привлекали. Узнал я также, что из Кары бежало 8 чел<овек>, из коих Мышкин и Юрков<ский> добрались до самого Владивостока<sup>67</sup>. На мое замечание, что вследствие этого на Каре, вероятно, страшно теснят теперь, он удивил меня ответом. «О! Конечно». Вообще я заметил, что он тоже не настроен примирительно. Я выразил сожаление, что притеснения едва ли к чему хорошему послужат, стал перебирать все террорист<ические> события прежних лет, вызывавшиеся более жестоким обращением с заключенными. Указывали, что тюрьма служила у нас всегда лучшим воспитатель<ным> заведением в революц<ионном> отнош<ении>. (Примеры Кибальчича, Геси и Колодкевича и др.)<sup>68</sup> Между тем, как декабристы, благодаря гуманному обращению и значитель<ной> свободе, предоставленной им в пределах Николаев<ского> Завода<sup>69</sup>, выходили совсем не такими ярмы, как вошли туда. В заключении свидания, уверенный, что отправляюсь в крепость, прошу у него написать тебе письмо. Он разрешает и при этом говорит, что оставляет меня у себя на некоторое время. Думал было спросить у него о причине моего внезапного перевода в Креп<ость>, но тут доложили, что его хочет видеть товарищ министра Дурново.<sup>70</sup>

Вернувшись к себе в прежнюю камеру, я предался совсем неприятным чувствам и мыслям. Плевелу не сказал мне об удалении Игнатьева (он сам подал в отставку). Мне казалось, что еще все-таки нет полного торжества за Владимирцами, что Плевелу махал руками сгоряча, под влиянием свежих впечатлений от мастерской, что, вероятно, он не оставил бы меня здесь, если б не было у него каких-нибудь видов. В его манере уклоняться от разговоров на тему, что творится в кругу правящих, я нашел некоторые перемены. Посмотрим, думаю, что будет дальше. Не готовит ли Игнатьев какого-нибудь маневра, чтобы все-таки поставить на своем. Написал я тебе письмо, в коем выражал свое неудовольствие на Ком<итет> за его крайне неумную выходку<sup>71</sup>. И в самом деле, какая была глупость, словно трудно так уразуметь, что террористическое предприятие до коронации не послужит в пользу партии, хотя правительство ничего примиритель<ного> не намеревалось предпринять. Я говорил Плевелу, что, может быть, они не думали ничего производить до коронации, а лишь готовились на после, будучи уверены заранее, что коронация хорошего ничего не принесет. Но он справедливо заметил, что не могли же они не допускать мысли, что

мастерская будет открыта; открытие же ее равносильно по значению совершившемуся покушению. Как будто нельзя было устроить ее не в Петербурге, как будто не знали, что тут Судейк<ин>? Ужасная глупость. Я всегда восставал против заведения в Питере каких бы то ни было конспиративных или складочных квартир (хотели ведь сюда типографию переносить). При мне еще и Л. кажется соглашался, что в случае нужды в производстве динамита безопаснее всего этим заняться в Остзейском крае. Письмо было мне возвращено с вычеркнутыми сведениями об арестах и бомбах. Я переписал его. Жду, чем выяснится здесь мое положение. Что-то оч<ень> долго Плеве не вызывает. Получаю твой ответ, где ты упоминаешь о перемене в министерстве. Мне казалось, что это случилось в мое пребывание здесь. Наконец, зовут Плева, не помню уже, зачем. Я выражаю недовольным тоном изумление, что он не сообщил мне о перемене министерства. Он как будто сконфузился.

— Ничего отрадного нет, что было бы вам приятно знать.

— Кто же вместо Игнатьева?

— Угадайте.

Я готов был уже сказать, не Меликов<sup>72</sup> ли. Но он прибавил:

— Самая непопулярная личность в России.

— Или Трепов или Толстой — говорю я,

— Последний.

— Ну, — вырвалось у меня, — достанется же печати за ее лягание.

— Да, не поздоровится.

Этими отрывочными замечаниями он и отделялся. Мелькнула было у меня мысль просить перевода в крепость. Затем другая — лучше подумаю у себя в камере, как мне теперь себя вести.

Прежде всего заняли меня догадки, зачем Плеве оставляет меня в Департ<аменте>. Полицейских поползновений в собственном смысле слова я в нем не предполагал. По крайней мере, в отношении к себе. Во все предыдущие отношения он, конечно, хорошо понял, что таких видов нельзя питать насчет моей личности. К тому же я настолько пригляделся к нему, что не мог не убедиться в том, что он вообще избегает подвохов, запутывания, а тем паче, систематического всасывания человека (система Добржинского). О предательстве он всегда отзывался с непритворной безгильностью, «с чьей бы стороны оно ни было». Как-то читал мне доклад на Станюковича<sup>73</sup>, в котором автор изображает его страшно вредным человеком и удивляется, как его терпят до сих пор на свободе. О Меркулове<sup>74</sup> говорит: «поганая личность» и пр. Он настолько мнит сохранить свою чистоту от грязи своего положения, что воображает, будто можно быть директором полиции и в то же время правдивым человеком. Нередко, на мои нескромные вопросы он обыкновенно или уклонялся от ответа, или прямо говорил: «Этого я не могу вам сказать.» Такой манерой он был поводом к самоубийству Гольденберга. Не будучи посвящен в тактику его опутывания Добржинским, он на замечание Гольден<берга> «помните же, г. прокурор, (тогда он был прокур<ором> палаты), чтобы мои товарищи не были казнены» (в этом роде что-то) — Плевле удивленно возразил: «Ну, это немисливо». Тогда-то Гольд<енберг> понял, что Добрж<инский> надувает его всякими уверениями, будто царь обещает никого не казнить и пр. Тем не менее Плевле обнаруживал какое-то непостоянство настроения, то он очень примирителен и либерален, то слишком бюрократ. На него производит какое-то странное воздействие звезда и мундир. Когда он с этими атрибутами, я заметил, что он гораздо суше и чиннее себя ведет, в черном сюртуке — обыкновенный человек. Одним словом, я решил, что быть настояще не мешает, и сам требовать перевода в крепость не стану, если к тому не представится повод. Причин такого решения было две: 1) возможность переписки с тобой, 2) отчаявшись на что бы то ни было надеяться при Толстом, я стал думать о победе. С крепости нечего было и помышлять. Здесь была возможность, если б кто-нибудь из военных поступил в Штаб Жандармов, офицеры которого дежурят в арестантском отд<елении>

Департамента. Вопрос состоял в заведении сношений с волей и в прискании охотника перевестись в жандармы. Я метил даже на 2-х знакомых офицеров. Но как завести сношения. Выписать поскорее сестру<sup>75</sup>. На это пока я остановился. В этих целях даже дал понять Плеве, что при моем ревматизме и прочих болезнях в крепости сидеть мне не особенно приятно. В сущности, перевес удобств за крепостью. Тут нет прогулок, своего покупать нечего нельзя, даже чай полагается по два стакана вприкуску утром и вечером (чай отвратительный). Обед правда носят, из какой-то кухмистерской, но ужасно скверный. Конечно, все это я мог бы улучшить, обратившись к Плеве, но мне это было неприятно. Только когда оч<sup>ень</sup> разыгрался катар, я попросил удвоить порцию булки, так как обед редко когда ем. Веселья тут никакого, ибо у каждой камеры стоит часовая, так что стучаться постоянно мешают, к тому же редко когда привозят арестованных, а если и привозят, то сажают не рядом. (С двумя всего мне пришлось тут стучать, с Лампе и с каким-то Балком, ссыльным, привезенным из Сибири по заявлению, что он что-то хочет объяснить важное<sup>76</sup>. Мне потом офицер сказал, что это был шпион, т. е. доносчик на каких-то сибиряков, но я с ним ни о чем таком не разговаривал, даже фамилии своей не сказал). Так сижу я долго-долго, обо мне как-будто забыли, даже книг, бывало, не допросишься. Оказалось потом, что Плеве уезжал за границу прохладиться. По возвращении зовет меня, объясняет, что был в странах, где я так долго прожил. — «Не выдали ли моего Дейча?» — спрашиваю, шутя. Он сконфузился почему-то, вероятно, усмотрел в моем вопросе, что я придавал его поездке полицейский характер, и поспешил объяснить, что ездил отдохнуть. Рассказал, что в это время случился побег Новицкого в Саратов<sup>77</sup>, что арестов почти не было, кроме Ивановской<sup>78</sup> и еще каких-то (он не назвал) не важных. Потом предлагает мне следующее: не возьмусь ли я написать для него исторический очерк движения моего периода до 79 года, что он даст кой-какой материал, показания некторых лиц (Трудницкого, Веледницкого, Богуславского<sup>79</sup>). Я прошу подумать и обещаю дня через два дать ответ. Дает он мне очерк движения, написанный каким-то III Отд<sup>еления</sup> чиновником<sup>80</sup>. Мне, собственно, крайне не хотелось писать. Не потому, чтобы из этого мог бы выйти кому бы то ни было какой бы то ни было вред: вольно было мне писать, как захочу. А просто какая-то безразличность писать для Департамента.

Прочел я данный мне очерк. Ерунда страшная. Всему у него причинной личности (начиная с Чернышевского и Михайлова<sup>81</sup>) и ничуть не обстоятельности, не условия нашей жизни. На странице в конце небрежным крупным почерком карандашом написано «Читал» (уже не царь ли, подумалось мне). Отчего же не написать по-своему очерк движения, изобразить настоящее причины его происхождения и развития. Записка наверное, прочтется не одним Плевем, а сказать этим господам истину, хотя и не новую, лишней раз не мешает. К тому же это даст мне возможность преследовать и те мои личные цели. И вот я заявил Плевем, что берусь. Получаю письменные принадлежности и начинаю работать. Сначала шло довольно изрядно, охотно остановился я на движении 74 г., процессе 193-х, чтобы показать, как тогдашнее поведение властей положило впервые прочное основание последующему движению, но мало-помалу мне стало ужасно лениво писать. Однообразие, отсутствие всяких впечатлений, наконец, неудобство сидеть подолгу (геморрой) и вообще вялость — отбили всякую охоту к писанию. Я тянул работу по обязанности, только и все, ожидая приезда сестер. В несколько месяцев написал всего 37 листов крупного почерка и по сей день держу ее у себя. Но как бы плохо ни был написан очерк, в нем все-таки я старался доказать, что наше движение обязано своим происхождением главным образом двум причинам: 1) безвыходностью положения интеллигентных элементов, которые при существующих порядках не могут найти приложения своим силам, не могут удовлетворять присущим им общественно-нравственным потребностям; 2) широкий полицейский режим, чрезмерная система подавлений, гонений и т. п. Эти причины я особенно отте-

няю и, конечно, вольно и невольно подгоняю к ним объяснение разных фактов и эпох движения. (Имей поэтому в виду, что если этот очерк всплывет когда-нибудь наружу<sup>82</sup>, то к его фактической стороне надо относиться не с особенным доверием. Фактов новых никаких, только объяснение уже известных из разных показаний и обеление лиц, справедливо или несправедливо оговоренных; разумеется, с известной осмотрительностью). В заключенные вывожу, что ослабить остроту движения могла бы только широкая амнистия, а полное уничтожение революцион<ного> движения, того, какое, собственно, у нас существует, могли бы <произвести> те меры, о коих я говорил уже при долгой беседе с Плеве в день убийства Стрель<никова>. Я нарочно стараюсь быть не особенно радикальным в своих требованиях, да это было бы неуместно и непрактично. Я не говорю, что только коренное изменение государ<ственных> начал может уничтожить революц<ионное> движение. Напротив, утверждаю, что средства для этой цели есть даже в пределах существующих государ<ственных> форм. Таковы, начиная с широкой амнистии, открытие свободного доступа молодежи в среду народа, привлечение ее на служение ему в должностях вол<остных> писарей, учителей, фельдшер<ов> и пр., понижение ценза земского, введение ценза образов<ательного>, доказываю при этом, что смешно даже предполагать, чтобы из этого вышла пугачевщина или что-нибудь в этом роде. Если у меня будет время (суд через десять дней) и возможность еще передать несколько листов, сделаю выписки из своего очерка. А теперь бросаю его.

Я пишу экспромтом, ужасно торопливо, оттого выходит многое не ясно, должно быть, недосказанно и безграмотно. С каждым днем ожидаю перевода в Д<ом> Пред<варительного> Закл<ючения>, не уверен вполне, что не сделают обыска после посещения адвоката, что обыкновенно всякий раз практикуется в крепости. Хочу страх как передать эти листы сегодня, вчера не удалось. Надеюсь, что еще напишу несколько листиков, но надо сбить эти, чтобы не находились у меня в камере. Хочется мне побольше написать тебе, все мелочи пересказать, но едва ли удастся. Знай наперед мое желание. Я хочу, чтобы ты прочел мое письмо с Верой<sup>83</sup> вместе, не желал бы, чтобы ты его разглашал даже в близкой публике. Рассудите с Верой, что следует сказать, а что не следует. Я хочу, чтобы моя история известна была только очень близким людям, которые меня знают и не перетолкуют моего поведения в дурную сторону. Я знаю что Нечаев, Желябов и вообще люди этого типа повели бы себя иначе. Но я человек другого нрава. Есть известный круг, переступать через который также обязательно для меня, как и для Нечаева, Желябова и пр. Но за этим кругом регламентация ослабевает, выступает индивидуальность, с ее характером, натурою, частными взглядами и т. д. Я хорошо знаю, что ты, напр<имер>, на моем месте повел бы себя иначе, сообразно твоей индивидуальности, отличной от моей, и за которую я тебя так и полюбил. Прежде когда-то ты бы, наверное, осудил меня за такой образ действий, но теперь я этого не ожидаю. Может быть будешь критиковать нецелесообразность того или другого шага или слова в частности, но в общем ничего не найдешь нехорошего. Нельзя сказать, чтобы я не умел бравировать, если б то находил нужным. Но мое положение этого не требовало, и не обещало выгод ни для себя, ни для других. О себе я, разумеется, тоже думал, я бы хотел еще пожить на свободе, не лишившись всех своих сил и способностей... К сожалению, сестры приехали слишком поздно, а то, чего доброго, возможность вырваться нашлась бы. И впредь, конечно, не перестану об этом думать, но уже силы слабеют, энергия, предприимчивость. Заключение быстро развивает мои недуги. Надежда на Кару. Плеве, от которого зависит определить меня туда, прямо говорит, что если не осудят меня на смерть (теперь он на это совсем не надеется, когда стало известно, кто председатель суда<sup>84</sup>), то пошлет меня на Кару. Но черт его знает, он теперь значительно испортился. Обо мне же нередко отзывается: «Если бы судить не на основании формальных улик, а по степени значения в револ<юционном> мире человека, то Вас, разумеется, следовало бы казнить или, по меньшей мере, в Шлиссель-

<бург> поместить» (в таких случаях он обыкновенно улыбается). Но оставим пока рассуждения. Помни, дружок, мое желание. Делать общеизвестной мою историю не хочу я. Да дойди как-нибудь до Плеве, что я ее описал на волю, он, конечно, не станет более благоволить ко мне, а упрячет в одиночное. Там же, на Каре, авось...

Но ты не вздумай предпринимать что-либо. Все, чего я бы желал, — это заведения сношений; поселение вблизи человека такого. Лучше всего было бы для этого воспользоваться братчиками (Л. знает, кто это<sup>85</sup>). Из этой среды людям легче всего там осесться, не вызывая подозрения. Пока до свидания. Надо отдать эту часть письма.

После всего сказанного тебе уже ясно, почему Плеве допустил между нами переписку. Происхождение ее вполне естественно в те времена, когда готовились всякие облегчения и когда видели во мне нужного человека, потом же к этой переписке привык он, перестал находить в ней нечто страшное; нельзя отрицать, что, продолжая ее терпеть, снисходил в этом случае к нашим близким отношениям; будучи, так сказать, отчасти посвящен в них, не мог не понимать, вникать рельефнее в наши взаимные чувства. Тоже ведь человек. Но нельзя также не допускать некоторого утилитарного значения переписки нашей для него. Из нее он все-таки мог составить представление об общем положении эмиграции, почерпать вообще некоторые для себя сведения, хотя и не могущие никому повредить, все же интересные для человека, серьезно взявшегося за изучение нашего движения. А он много над этим работает, прерывает самые старые дела, сидит в Департаменте от 1—6 дня и от 9—12 вечера. Если я являюсь к нему под конец его занятий, всегда застаю его ужасно усталым, совсем мокрой курицей, да и немудрено. Он особенно подчиненным не доверяет, делает все сам (боялся напасть на нового Клеточникова<sup>86</sup>).

Власти у него очень много. По крайней мере, было до назначения 2-го тов<арища> Мин<истра> Жандар<мского> генерала Оржевского<sup>87</sup>. Донесения царю он писал. В день убийства Стрель<никова> я как-то спросил, знает ли уже об этом царь (ночью было). — «Завтра узнает», — и он указал на приготовленный на столе огромный конверт с надписью «Его Им<ператорскому> Вел<ичеству>». Сам по себе человек даже добрый, он в то же время настоящий бюрократ и легалист. При Толстом он далеко не тот, чем был при Игнатеве. Он так же охотно может работать в пользу примирительных мер, если таково веяние сверху, как и обратно. Он может быть даже жестоким, но, разумеется, через подчиненных. Так, чтобы самому быть подальше от впечатлений, вызываемых результатами жестокости. Расшевелить в нем гуманные чувства нетрудно. При этом он тотчас же принимает меры, чтобы исправить несправедливость или излишества. Помню, в разговоре, он в числе считаемых им опасных в револ<юционном> отношении женщин назвал приятельницу Дурново (забыл фамилию — Анна Алек.<sup>88</sup>) — «Бог с вами, — говорю, — она — противница террористов, к тому же совсем к революции, даже передельской не имеет никаких касательств». Он тотчас же распорядился, чтобы дали знать в Моск<овское> Ж<андармское> Уп<равление> о прекращении ее разыскивать. Или с Мартыновым. Добржинский находил его важным очень лицом, изучавшим динамитное производство, и имел какие-то указания, что он даже член Ком<итета>. Я говорю Плеве, что Мартынова не знаю лично, но слышал о нем. Безвреднее личности трудно найти. Смешно даже подозревать его членом К<омитета>. Если с ним имели кое-какие сношения, то интересовались, наверное, не его личностью, а, вернее всего, средствами, которые ему со временем предстояло иметь.

Добржинский, наверно, его впер бы в процесс. Желиховский<sup>89</sup> тоже ужасно почему-то вострил на него зубы. А благодаря Плеве Мартынов отделался административным порядком. Впрочем, однажды сам же Плеве заявил мне, что, в сущности, каторга на Каре легче административной ссылки в Якутскую область. Ссылному придирки полиции совершенно отравляют жизнь. На Каре спокойнее. Романенко тоже он избавил от про-

цесса, хотя нужно сказать, что Ром<аненко> и себе самому много обязан<sup>90</sup>. Златопольский (передает мне защитник) считает его почему-то шпионом. Это, конечно, превращение, если не мухи, то кошки в слона. Ром<аненко> поставил себя собственно отвратительно. Плева отзывается о нем так: «Мальчишка, и даже неумный мальчишка». Он (Романенко — Л. Л., А. Р.) заявил, будто его нарочно посадили в квартиру Ольги<sup>91</sup>, чтобы отделаться таким образом от него. Поэтому он дескать очень озлоблен, на недостаточных товарищей, но выдать никого не может, потому что с очень немногими встречался, ибо в <делах?> не принимал участия. А тех, которых и знал, то лишь по кличкам, а не настоящим фамилиям, так напр<имер> Эдуард, Платон и др. Вероятно сказал что-нибудь б<олее> или м<енее> существен<ное> о Златоп<ольском>, если тот на него так зол; на воле совсем другое было<sup>92</sup>.

Кроме того что при Ром<аненко> взяты статьи, приговоренные для НВ, на него несомненно указывал Борейша, с которым он в Москве нередко виделся, тем не менее его ссылают в южные края Азии или Кавказа, в места, где климат не вредный его здоровью. Он ведь чахоточный.

Я буду писать без всякой системы, так. Искры (1 слово нрзб. — Л. Л., А. Р.), как обрывки воспоминаний, возникают в голове. Ты уже сам в своей собственной приведи все это в порядок. Сначала думали, что это я был у Сютаева. «Не ваш ли это <план?>?» — спрашивал Плева. Я сказал что не мой и никого другого из революционеров. Ибо насколько я слышал там были такие же раскольники, как и Сютаев, только другой <какой-то> Секты<sup>93</sup>.

Потом как-то из Саратова прислали ему послание братчика за подписью Семен Печальный. Но этим делом тут нисколько не интересуются. Убедившись, вероятно, что в Осташковке были не революционеры (Лампе по карточке Сютаев признал за одного из двух, но при очной ставке отказался<sup>94</sup>) и что это дело не всецело, а лишь немножко народовольское (по отпечатанию уложения и послания), сдали его местным Жан<дармским> Уп<равлениям>. О нем никогда не затевают разговора ни Плева, ни Добржинский. Может быть впрочем потому, что само Христ<ианское> Братство замерло.

Я забыл сказать, что в готовившуюся амнистию должен был войти Тихомиров. Им совсем не интересуются, считают удалившимся <давно от дел?>. Таким его изображала Ольга Люб<атович> да и я. Но об отъезде его с семейством за границу и М. Н. Плева имел сведения гораздо раньше, чем ты мне написал.

Еще, кажется, до Стрельн<иковского> убийства Плева читал мне мое письмо к тебе, отобранное в Белграде у Присецкого<sup>95</sup>. В нем я характеризую Исп<олнительный> К<омитет> и выражаю негодование на богатых революционеров, сберегающих свои денежки. Помнишь это письмо? Оно заставило его думать, что я член Исп<олнительного> К<омитета>, в чем я его разуверил: меня не могли так скоро принять, потому что моя личность требовала испытания, а мои убеждения слишком недавно были не совсем подходящие к комитетским, чтобы не вполне согласоваться с убеждениями людей, всецело воспитавшихся в Н. В. Но, разумеется, не арестуй вы меня, я был бы оч<ень> скоро в Комитете.

— Да ведь агентами И<сполнительного> К<омитета> обыкновенно на суде и на допросах именуют себя члены же К<омитет>, а, — замечает он<sup>96</sup>.

Я объяснил, что точно так <следует из?> Гольденберг<овских> показаний. Тогда общество было просто кружком, и чтобы фигурировать в качестве многолюдного сообщества, одни и те же лица брали на себя по два звания. Но после общество действительно разрослось и агентура III степеней уже теперь не миф. Когда-то в 78 г. Исп<олнительный> К<омитет> был только фикцией.

Я вчера очень устал; был защитник, продолжительный разговор меня

утомляет. Не знаю, и не совсем даже помню, что я написал тебе на этом листике. Теперь утро и я чувствую себя бодрее.

Вот образец моих разговоров с Плеве.

— Как велики размеры Н. В. — как-то спрашивает он.

Ответ: Трудно определить эти размеры при установившихся формах организации. Люди научились предотвращать последствия казусов à la Гольденберг.

Отдельные группы по возможности не знают друг друга, изолированы одна от другой и имеют общение между собой лишь посредством агентов. Разумеется, на практике совершенная изолированность не достигается, но сравнительно с недавними годами (с тем, напр<имер>, что было при Гольденб<ерге>), сделан огромный прогресс, который особенно бросается в глаза мне, человеку, долго отсутствовавшему из России. Выдача целиком возможна лишь в пределах одной группы. (Пример с Саранчовым). Конечно, и при этой системе, состоя давно в одной организации и имея возможность сопоставить множество разных мелких обстоятельств, нетрудно определить приблизительный контингент ее. Но я слишком мало пробыл в среде Н. В. (с ноября). Тем не менее, как человек уже бывалый, более или менее представляю себе эти размеры и нахожу их гораздо ограниченнее, чем ожидал.

— Какова же цифра, по-вашему?

— В партии нужно различать среду, в коей живет и питается Н. В., и собственно организацию. Размеры среды вам, вероятно, гораздо лучше знать, чем мне. Она создается не усилиями личности, а внешними обстоятельствами, тактикой, политикой правитель<ства>. В организации же, по моему, наберется не более человек 500—600<sup>97</sup>.

— О! Это сила дела тайного общества!

— Вы находите? Я думаю, что при более деятельной энергии, при благоприятных обстоятельствах, какие представляет среда эта цифра могла бы быть гораздо больше.

Плеве: Удивляет меня, что так долго не выходит 10 № Нар<одной> В<оли><sup>98</sup>. Мне кажется, типогр<афию> устроить — левое дело. (Разговор был после побега хозяев из квартиры типографии в Москве<sup>99</sup>). Не следует ли думать, что они решились замолкнуть до коронации?

Ответ: Я склоняюсь к Вашему предположению. Но надо также и то иметь в виду, что при строгой централизации машина вообще двигается оч<ень> медленно. Безопасность и прочность организации при наших русских условиях неминуемо приобретается за счет быстроты действия.

Не мешает народovolьцам знать, что собственно к литературной стороне газеты относятся здесь крайне неуважительно. Такие люди, как Суд<ейкин> (из юнкеров), в этом деле, конечно, ничего не понимают. Но Плеве — образованный, Муравьев — бывший профессор<sup>100</sup>. Последний видел меня в Жан<дармском> Упр<авлении>.

— «У вас литературных талантов совсем нет», — таково его мнение.

Он удивляется, что при стесненном положении легальной печати не сумели создать солидной револ<юционной> литературы. Он объясняет это тем, что Н. В. как партия не особенно популярна в обществе, если литер<атурные> силы, теснимые цензурой, не льнут к ней. Напрасно сложилось у нас мнение, что правительство не обращает внимания на нашу литературу. По степени ее значения и талантливости оно судит о значении партии в обществе. Прокламационную часть оно совершенно игнорирует. Одни только заявления Исп<олнительного> К<омитета> возбуждают его интерес. Суд<ейкин> говорил, что по поводу покушения Санковского с нетерпением ждали объявления, чье это дело, партийное или нет<sup>101</sup>. (Нужно тебе, друже, знать, что я настоял на том, чтобы не присваивали себе этого дела, и сам составил редакцию заявления. После убийства Стрельн<икова> долго ждали заявления. Почему оно не является, строили предположение, что Комитет из политики думает обойти это дело молчанием, чтобы показать тем, свою готовность не резать глаз правительству террористич<еским> заявлениями до коронации. В таком предполагаемом намерении ус-

матривали благоприятный признак. (Это было время «начинаний»). Обстоятельством этим (явится или нет заявление) настолько интересовались, что когда оно, наконец, вышло, Плевее позвал меня, чтобы рассказать об этом, как об интересной новости. Обращают внимание и на самую редакцию заявления. Так, в Стрельниковском утешались тем, что оно написано сдержанно, без угроз<sup>102</sup>.

Раз Добржинский принес мне только что вышедшие №№ 8 и 9 Н. В.<sup>103</sup> и просил прочесть передовую статью в доказательство, что И<с-полнительный> К<омитет> настроен совсем непримирительно. Мы провели в разборе этой статьи фразу за фразой. Я хотел показать, что из нее нельзя выводить террористич<еских> намерений, quand même; он мне выдергивал одни фразы, я противопоставлял другие. Кстати, Добржинский считается лучшим знатоком положения револ<юционной> партии и значения тех или других ее деятелей. Суд<ейкин> причислял его мне к партии белых террористов; это довольно верно. Даже до убийства Стрельн<икова> он находит, что амнистия должна быть обусловлена подпиской обещания не заниматься впредь револуц<ионными> делами. Я говорил, что это значило бы совершенно парализовать действие амнистии, ибо даже самый безвредный нелегальный или эмигрант сочтет для себя унизительным дать такую подписку: на нее будут смотреть как на требование отказа от своих убеждений. После Стрельн<иковского> дела забегал раз (и в послед<ний> раз) Суд<ейкин> (на другой день убийства) и потешался над Добржинским, как он ужасно за себя трусит. Он же, Суд<ейкин>, сам давно пророчил Стрельн<никову> такую судьбу и увещевал его быть гуманнее. Насчет себя заявлял, что хотя ожидает и себе подобной участи, что это будет несправедливо со стороны партии, ибо он, Суд<ейкин>, вреден лишь для террористов, а вообще револ<юционную> партию считает даже полезной, необходимой для нас, русских. Твой шифрован<ные> места о Мальчике были разобраны, Суд<ейкин>, конечно, не верил Дегаеву и раньше<sup>104</sup>. Он следил за ним в Москве, как мы и предполагали, называл мне гостиницу, где Дегаев останавливался, Макову (но о квартире Л. ничего не говорил). Много он рассказывал о своей деятельности в Киеве. Восхищался нашим побегом, причем заметил, что я, должно быть, хорошо играю в шахматы. «Это была настоящая шахматная игра».

Интересен разговор о вооружен<ном> сопротивлении в д<оме> Коссаровского. Когда одного жандарма убили, остальные отказались ему повиноваться, не хотели идти на приступ. Тогда он должен был прибегнуть к военной силе и для ареста Бабичевских гостей взял тоже простых солдат и городских, не надеясь на храбрость жандармов<sup>105</sup>. Осинского он хотел арестовать, предупредив возможность вооруженной защиты. «Я, — рассказывает Суд<ейкин>, — употребил такую хитрость: — Выбрал самого несчастного, плохого городского и приказал ему остановить Осинского на улице и попросить в участок. Я был уверен что Осин<ский> пойдет, потому что ему и в голову не могло прийти, что для его ареста избрали тщедушного, мизерного бударя!»<sup>106</sup>

Производил он расследование о нашем побеге, хотел непременно привести для себя в ясность всю «игру», не понимал он, куда мы и каким путем уехали из Киева<sup>107</sup>. Доносов было множество — на кондукторов, которые будто привозили нас прямо к границе, на каких-то урядников, будто нам помогавших и укрывавших. Но все-таки ему не удалось добиться толку. По протекции Суд<ейкина> в Москву назначили начальником Сек<ретного> Отд<еления> Скандракова, его друга. О нем Суд<ейкин> говорит: «Мы с ним друзья, как вы с Дейчем.» Они ежедневно переписываются и часто ездят на свидание друг к другу на промежуточных между Питером и Москвой станциях.

— Сколько вы получаете жалования? — спрашивал я. —

— Ох, что-то много.

— Тысяч 5 будет?

— Больше<sup>108</sup>.

— Через 2—3 года, пожалуй, будете губернатором.

Он сделал гримасу:

— Я и теперь не променял бы своего места на губернаторское, даже на генер<ал>-губернаторское. Вы не знаете, как много можно сделать в моем положении! Со своими подчиненными шпионами он обращается по-приятельски. Его состав совсем обновлен. Суд<ейкин> повыгонял прежних и понавозил своих киевских или сам, как он выражается, воспитал новичков в Питере. Воспитание идет быстро. Я любопытствовал спросить, практикуется ли пытка. Он уверяет, что это вздор, одного Соловьева пытали<sup>109</sup>. Но это было при III Отд<елении>. Я-то уверен, что пыток теперь не существует в настоящем значении слова. Златопольский утверждает, будто Александра Михайлова замучили<sup>110</sup>. Невозможного тут нет, если взять во внимание: 1) что в Алексеев<ском> равелине после обнаружения Нечаевского солдатского общества страшные строгости и 2) что А. Мих<айлова> считают оч<ень> важным революционером. Одной обстановкой могли убить.

Шлиссельбург и Алек<сеевский> рав<елин> теперь переполнены. Привезли сюда 8 чел<овек> из Сибири, тех, что бежали, из них привозили в Департамент (думаю, не Андриана<sup>111</sup> ли) в кандалах. Кстати, вспомнил о Льеве Златоп<ольском>. После суда он заявил желание изложить какие-то свои открытия, с помощью них правительст<во> искоренит крамолу. Он сидел со мной в Департ<аменте> около 3 мес<яцев>, все писал. Я не сноился с ним, нельзя было, далеко сидел. Плевэ говорил мне, что он, кажется, тронувшийся, маниак. Глубоко верит, что его отсюда выпустят на свободу. В чем заключался его план искоренения, я не знал. Тогда еще сам Плевэ не знал, а то бы сказал. Потом я его как-то забыл совсем об этом спросить. Теперь думаю, что если и спрошу, то не скажет. Во всяком случае ему, Л. Злат<опольскому>, свободы получить не пришлось<sup>112</sup>.

Мой Плевэ настолько испортился, что не передал мне твоей брошюры о Кибальчиче<sup>113</sup> и итальян<ской> книжке<sup>114</sup>. На днях я его видел, просил дать мне заключение Киев<ской> Палаты по Чигир<инскому> делу и, между прочим, заявил желание прочесть недоставленные мне книги, — Вы что-то становитесь строги, — я говорю, — Ведь давали же вы мне автобиографию Михайлова<sup>115</sup>, книжку Степняка<sup>116</sup>.

Он обещал прислать, записал на заметку, а между тем не присылает. Тоже опять вырезал две строчки из твоего письма начиная от фразы: «Аресты объясняются, впрочем, подчисткой и приборкой всего лишнего...» Прежде с письмами этого никогда не случалось. Иногда в моих что-нибудь вычеркивал (напр<имер>, что я сижу здесь, в Депар<таменте>), а в твоих ничего. Вообще, он немного безалаберный. Так, вычеркнул из списка книг Маркса<sup>117</sup> (зная, что он умер) и les français Hist<oire> de la Com<munisme><sup>118</sup>, а сам же давал мне такие книги, как Hist<oire> de 10 ans. Luis Blanc<sup>119</sup>, «Politique moderne» — не помню, чья, очень радикальная книга<sup>120</sup>, История Интернационала (по фран<цузски>) редактора Journal de Débat<sup>121</sup>. Письма мои идут к тебе без вычеркивания. Если я их сам отдаю Плевэ, тогда он делает некоторые замечания (боится, чтобы в газеты не попало). Я его успокаиваю и он запечатывает и отдает чиновнику (тоже и последнее не отпривал бы, если бы я сам не отдавал непосредственно.) Отсюда можешь вообразить несколько этот тип. Тут же он сказал мне, что мне, вероятно, еще придется тебе писать. Книги, надеюсь, будут при мне. Просил сестру раздобыть побольше русских. Таким образом, привезу карийцам подарок. Ввиду этого, (а не только личного для себя) назначения книг, я и дерзал от вас просить высылки их, не церемонясь с расходами. Я желал доставить Крас<ному> Кресту возможность дать доказательство своего существования карийцам или крепостникам. Отсылая часть денег Олимпу<sup>122</sup> и «Вест<ник> Евр<опы>», имел в виду всю тамошнюю компанию ссыльных. Если точно Кр<асный> Кр<ест> существует не только номинально, то знай наперед, Женюк, что если буду обращаться (через отца) за деньгами с обозначением суммы — значит

прошу не для себя, а вообще, для всех. Это, разумеется, в случае, если Кр<асный> К<рест> есть реальное существо.

Признаться, когда сам попал в мир пострадавших, не могу без укора вспомнить, как мы, вольные, забывали о заключенных. Вот, напр<имер>, Теллалов за все время ареста получил лишь от родных 25 р., не курит (что для него большое лишение), не видит булки, не пьет чаю; а крепостной хлеб ужасно грубый. Можно было бы присылать на имя директора (не из заграницы и, не обозначая от кого) или Добржинского. Последний рассказывал, что однажды получил 10 р. неизвестно, от кого с просьбой передать Фроленко. Он это сделал, потом оказалось, что прислала деньги Лебедева<sup>123</sup>. Разумеется, не один Теллалов так бедствует, о нем мне защитник передавал. Теллалов от защитника отказался и ему не назначили. Напрасно отказался, демонстрировать не перед кем, а то хоть бы новостей узнал или передал что-нибудь на волю. Мой защитник, конечно, заинтересовался узнать, почему меня тут держат. Я рассказал в общих чертах, ссылаясь, главным образом, на «очерк движения». Об этом пойдет болтовня по городу, но не важность. Удивляются иные и из офицеров моему долгову здесь сиденью. Через них нередко (но почему-то не всегда) передаются твои письма, зпечатанными в конверт (что вообще не водится); я, с своей стороны, если есть лишний конверт, запечатываю в него адресованный к тебе с подписью Директ<ору> Департамен<та>. Поэтому некоторые меня побаиваются или же боятся, чтобы не убежал, если слыхали о Киевск<ом> побеге, и надоедают частым заглядыванием в окошечко.

Когда будешь писать моему отцу<sup>124</sup>, то, если найдешь нужным, пиши два листка: один отец будет пересылать в полицию (что он, впрочем, и с до сих пор бывшими твоими письмами не всегда делал), другой пообстоятельнее будет переписывать для меня, а подлинный хранить. На всякий случай я сестер об этом предупрежу.. Подателя этого письма прими радушно<sup>125</sup>. Он привезет несколько пустяковых старых моих вещей, раздели их на память между собой, Верой и Лизой<sup>126</sup> (она зубы любила чистить, дай ей щетку). Кстати, о Лизе несколько слов. Из твоего письма, взятого у меня, а также из того, что в Москве передал городской начальству (там была фраза «спасибо Лизе за всегдашние ее симпатии ко мне»), заключили, очевидно, что у нас с ней были особенные интимные отношения. Никто, впрочем, на этот счет, не посмел задавать мне вопросов. Однажды Плева, показывая мне карточки Халтурина и Желвакова, уже казенных<sup>127</sup>, взял тут же лежавшую другую, нарочно, как видно, приготовленную, и подает: «А вот Хотинская». Я посмотрел: «Да, она.» И, ни слова не говоря, положил на стол. Вероятно, он думал, что я попрошу ее у него и хотел сделать мне эту любезность. Но, не видя с моей стороны ничего подобного, повернул разговор на что-<то> другое. Кланяйся и поцелуй ее за меня. Но ты, дружок, судя по твоим письмам, кажется, заблуждаешься, насчет размеров наших с ней отношений. Если ей это не неприятно, а тебе интересно, пусть она все тебе расскажет. Скажи, что я храню о ней самые хорошие личные воспоминания. Я поручил сестре написать ей и дал адрес Директ<ора>. Авьось, чего доброго, одна из сестер, Мария, приедет учиться за границу. Ты прими ее и помоги ориентироваться.

Одно время у меня была фантазия указать на кого-нибудь из женщин как на невесту, обвенчаться с тем, чтобы она поехала на Кару; была бы полезной, думал я, для сношений, а из сношений, если вернется изобретательность и здоровье, может выйти и что большее. Но ни на ком не мог остановиться, чтобы быть уверенным заранее в ее охотном согласии на эту жертву. А вести переписку об этом было неудобно. При сестрах опять эта фантазия было возникла. Хотел дать тебе знать, не найдется ли такая женщина, думал было указать тебе поразведать, напр<имер>, о сестре Василя Марии<sup>128</sup>, так как я с ней мог познакомиться за границей в ее <поездку?> с братом. К тому же она сибирячка известной в Сибири фамилии, след<овательно>, можно надеяться, что власти несколько благово-

лили бы к ней. Теперь, разумеется, не вздумай затевать этой истории... Уже поздно.

Если бы подателю не хватило денег на обратный отъезд, то снабди его. Ты говоришь ведь, что имеешь для меня неск<олько> сот. Я понимаю это так, что если есть возможность у меня наделять сотоварищей по заключению, то могу обращаться к тебе. Деньги, вероятно, Крестовские<sup>129</sup>. Хотел бы я быть уведомленным, что это письмо ты получил в исправности. Я был бы тогда гораздо спокойнее. Условимся так: если окажется возможность написать тебе мне до отправки на Кару официально, то вспомни как-будто à propos что мое письмо, посланное с женской оказией и путешествовавшее с ней по Италии, ты получил. Можешь даже высказаться по поводу содержания настоящего письма, разумеется, так, чтобы я один мог понять, о чем идет речь. Если официально известить меня о получении уже будет, то, быть может, сестрам не прекратят свиданий со мной до отправки. Тогда пришли мне подарки. Это и будет значить, что ты письмо это получил. При этом, пожалуй, вырази одобрение его содержания, прислав что-нибудь красного цвета, (значит, ты мною не доволен), а неодобрение — черного цвета что-нибудь. Наконец, если захочешь сообщить какие-нибудь сведения, просьбы, требования, не могущие пройти через руки директора, напиши записку, (только не своею рукой), быть может, ее найдется случай передать мне. А то, так и все эти три способа употреби. Это даже лучше будет.

Не будучи уверен, что смогу еще передать листы своего письма, выскажу свое душевное желание, которое повторял во всяком нелегальном письме: не езд, голубчик, в Россию. Если ты чувствуешь себя чем-нибудь обязанным мне, заплати исполнением этого желания. Оставим общественную точку зрения; нельзя же человеку жить только этим хлебом. Ты знаешь, как я тебя люблю. Я ведь никого не любил, кроме тебя. Оттого все мое личное прошлое, настоящее и будущее сосредотачиваются на тебе. Одна мысль, что ты так рано пропадешь, мне ужасно мучительна. Тебе, может, это непонятно, ибо натура и обстоятельства делают твою привязанность ко мне слабее, чем моя к тебе. Но все же не настолько велика разница между нашими чувствами чтобы ты не захотел принимать во внимание мое спокойствие, а след<овательно>, и здоровье, а следоват<ельно>, — опять и продолжительность моей жизни. Захоти, милый мой Женючек! Постарайся удовлетворить своим общественным чувствам, оставаясь за границей. Хлопочи об основании журнала. Я после тюремных столкновений особенно придаю значение этому делу. В России ведь журнала не устроишь. Если не журнал, то хоть газету, вроде «Недели»<sup>130</sup>. Не могу представить, чтобы не нашлись деньги на это дело. Останься я дольше на свободе, не сомневаюсь, что достал бы. Необходимо только избрать жизненную программу, а не глав<ным> образ<ом>, теоретическую. Журнал или газета не должны быть крайне-социалистич<еского>, направления, иначе останутся без практического значения. Чисто социалистич<еское> учение может быть предметом отдельных брошюр, книг. Одним словом, в той или другой форме возьми на себя литературное дело. Навык в нем приготовит тебя к деятельности в пределах самой России при более свободных условиях. Организаторов-заговорщиков воспитают сами обстоятельства, а о литературе обстоятельства мало заботятся. Если б я был на твоём месте и ты бы упрощал меня так оставаться за границей, я бы всего себя посвятил на литератур<ное> дело. Постарался бы добыть денег, ну хоть женился бы на богатой барыне и завел издательство в возможно широких размерах.

Для России все полезно, что ей запрещают читать. Ах, Женюк, как бы я был счастлив, если бы таким образом ты устроился. \* Ты, дружок, как-то спрашивал в письме, и за что я так тебя полюбил... Прежде всего за то, что в тебе нет тех качеств, которые мне не нравятся в самом себе; за то, что в тебе есть много такого хорошего, чего нет во мне; за то, наконец, что и ты меня любил. Последнее, однако, не главная причина. За доказатель-

\* здесь рукопись обрывается.

ством недалеко ходить. Лиза меня любила, но этого было недостаточно, чтобы я ее полюбил. Вот, напр<имер>, я сравнительно с тобой положительно трус. При таких обстоятельствах, при каких меня арестовывали, ты, наверное, бы убежал, а у меня ноги подкосились. Ты решителен, потому что можешь быстро соображать, я же в критический момент, хоть и сохраняю спокойствие, не становлюсь такой тряпкой, как (пропуск — Л. Л. А. Р.), но это спокойствие пассивное, не деятельное. А если из области темперамента перейти в область ума — опять ум у меня ленивый, тяжелый, к увлеченному мышлению совсем негодный, тебя напротив. Наконец, у меня гораздо меньше воли, чем у тебя. Обстоятельства, правда, сложились для моего образа в представлении людей благоприятнее, чем для тебя, но, сталкиваясь со мной, эти люди убеждались, что я далеко стою не на той высоте, на какой помещался в их воображении. Чигиринское дело прославило меня за организатора; народовольцы (Л. и М. Н.) очень разочаровались в этих моих достоинствах. Побег составил о мне понятие как о необычайно ловком человеке, а причем тут была моя ловкость, сам знаешь. Полиция представляла меня страшным и умным, в то же время чудовищем. Насчет ума она, кажется, если и разочаровалась, то немного, а об ужасности Суд<ейки> как-то говорит: «Плеве мне сказал, что совсем не таким вас представлял, что вы вовсе не такой страшный, как он думал.»

Я, по всей вероятности, уже кончил свой жизненный путь, ты же — нет, если только захочешь исполнить мою волю. Жизнь для тебя еще впереди, и что ни говори, а я положительно по письмам ясно вижу, что ты развиваешься, умнеешь, это доказывает, что предел твоему росту еще не настал.

18 марта. Когда я начинаю сомневаться, что это письмо дойдет до тебя, мною овладевает уныние, такое тяжелое, что, кажется, и смерти был бы рад. А между прочим, письмо не заключает в себе ничего особенно важного, что могло бы послужить пригодной для нашей братии. Я это знаю. Но таково уж влияние иллюзий в одиночестве. Будь у меня больше спокойствия и уверенности в безопасной передаче письма получателю и в благополучной доставке его тебе, не бойся я, что вдруг да сделаю обыск (хотя, по здравом размышлении, это оказывается весьма сомнительным), я бы сделал письмо интересным, ибо материал во всяком случае большой... Жаль, что не могу прочесть написанного, не ругаюсь даже, достаточно ли крепок раствор химии. Если слабо, читай через увеличительное стекло.

Ты, вероятно, ждешь моих мнений относительно дальнейшего направления революционной деятельности. Я сам думаю, что не мешало бы высказать в общем свои соображения. Опасаюсь только, не попало бы письмо в руки властей, у меня ли или на воле. Не хочется мне, страх не хочется, быть упрятанным в рavelин. Видишь, как я о себе хлопочу. Невозможно, да и не в моем нраве соразмерять тяжести последствий с той целью, из-за которой их можно накликал. Вот как я думаю: до коронации безусловная тишина, ты уже знаешь, почему я нахожу это нужным. К сожалению, сделанных ошибок против такого рода тактики не воротить. Коронация определяет дальнейший образ действия. Допустим маловероятное положение — амнистия. Какие размеры ее должны повлиять на политику партии? Я стою на почве реальных отношений и не хочу забывать, что мы в России, а не во Франции, поэтому не следует требовать многого. Минимум, как мне кажется, будет не очень минимальным, если сведется на следующее: полное помилование всех не каторжан, перевод на поселение всех тех каторжан, которые не участвовали в царубийственных фактах. Если бы даже такая амнистия не сопровождалась объявлением реформ, облегчающих политическое существование российских граждан, политика партии должна принять примирительный характер. Исп<олнительный> Ком<итет> выпускает манифест: амнистия Исп<олнительный> Ком<итет> принимает как знак того, что правительство решилось удовлетворить желаниям общества. Прaвитель<ельство>, конечно, очень хорошо понимает, что сама по себе амнистия не может уничтожить движение, раз останутся причины, неизбежно его вызывающие. Амнистия есть не более как форма договора, в силу коего пра-

вит<ельство> требует от партии и общества известного времени, необходимого для уничтожения условий, принуждавших партию прибегать к террористическим приемам борьбы. Исп<олнительный> Ком<итет> понимает, таким образом, значение амнистии, готов помириться временно с ее неполнотой и приглашает партию воздерживаться как от террор<истических> предприятий, так и от иных таких способов борьбы, которые могут послужить на пользу реакционной клике и поколебать правительство в намерении следовать по <избранному> им пути. Таково должно быть содержание <манифеста> Исп<олнительного> Ком<итета>.

В других заявлениях излагается минимум реформ, необходимых для существования партии в иной форме, чем то было доньше. Тон и самые требования умеренны, вроде письма к Алек<сандру> III<sup>131</sup> (хотя и там, насколько помню, выставляется, кажется, программа Клемансо<sup>132</sup>). Умеренность необходима в двояких видах: 1) чтобы дать правительству возможность действительно сообразоваться с мнением партии. Голосом общества правит<ельство> легко игнорирует, потому, что общества несколько не боится. Будьте уверены, совсем другое с революционной партией. Оно принимает её мнения во внимание, если только эти мнения не настолько радикальны, что исключают для правительства возможность принимать их в расчет. 2) Эта умеренность, при неоправдавшихся надеждах, является наилучшим оправданием в глазах всего русского и заграничного мира возвращения партии к прежней системе действия. Террористический Комитет, призывающий партию воздержаться от террора, — это произведет чрезвычайный эффект.

Разумеется, нельзя сидеть сложа руки в это (подразумеваемое) переходное время. Оно должно быть посвящено организаторской и пропагандаторской работе. Относительно 1-й мое мнение такое: централистическая форма — единственная, могущая выдержать борьбу за существование не только при абсолютизме полицейском, но и там, где нет вообще широкой политической свободы. Тип организации Н. В. — самый практичный, хотя у меня осталось впечатление в необходимости просмотра устава в частностях и внесения изменений. При этом (т. е. при организационной работе) не следует упускать из виду, что Судейкин проведет в нее не одного из своих чинов. Он очень интересовался цифрами Исп<олнительного> Ком<итета>, на что я как не член, не мог ему ответить, буде даже желал. По его мнению, чем эти цифры меньше, тем Ком<итет> страшнее, ибо многолюдие неизбежно с отсутствием единства действия, что ослабляет силу всей партии. Пропагандаторскую деятельность свожу я, главным образом, на литературу, заботой о которой должна ведать вся партия, а ведение самого дела обязательно должно быть вверено специальной группе. Литература никак не должна носить исключительный характер по направлению. Орган партии (пропуск — Л. Л., А. Р.) отражает вполне настроение центра партии и его политику на данный момент. Повести его таким образом значит заставить правительство относиться к нему так же, как и к органу, положим, Бисмарка<sup>133</sup>. Будьте спокойны, сравнение вовсе не так гиперболично. Время укажет, когда терпение партии должно иссякнуть, если, что всего вероятнее, правительство не сделает ничего существенного. Признаки разочарования начинаются с побегов водворенных на поселение (я говорю об организованных побегях), и, наконец, окрепшая организационной работой, популярная, благодаря солидной литературе, партия разражается громом и молнией.

Само собой, к такому концу надо приготовить заранее, предвидя его возможность. Такую тактику должен, по-моему, усвоить Исп<олнительный> Ком<итет> с подобающими вариациями на случай: 1) если коронация даст более или менее широкую амнистию, но без торжественных обещаний коренных государственных преобразований; 2) если то и другое вместе; 3) если будут торжественные заявления, но никакой, или очень жалкая амнистийка. Этот случай весьма возможен. Правительство побойтся, чтобы общественное возбуждение, вызванное ожиданиями обещанного, не обострилось под влиянием революционных элементов. Затем возьмем почти несомненное

положение, когда коронация не дает амнистии, не послужит поворотным пунктом в обычной внутренней политике. Что тогда? Ничего более, как литература и тот же террор. Из своих столкновений я убедился, что террористические факты далеко не действуют лишь в смысле закрепления реакции. Разумеется, если эти факты есть плод расчета, соображений момента, а не рутинная раз заведенной машины. Царь совсем не знает, как ему быть, либеральничать или свирепствовать. Он колеблется; даже после Стрельниковского убийства поговаривали о возможности призыва Лориса в министрство (он ведь представитель в правительственной сфере европейского конституционализма, а Игнатъев — славянофил, его проект состоял лишь в созыве комиссии на манер Екатерининской). Царь высказывает даже такие мнения: «Я — враг административной расправы» — слова, написанные им, на каком-то докладе, забыл по поводу чего. Столпы реакции — Владимир и Толстой. Устранение этих двух лиц, наверное, положит конец колебаниям царя. Правда, есть «Бедоносцев»<sup>134</sup>, Ванновский, но это уже второстепенные персоны. Владимир и Толстой — (пропуск — Л. Л., А. Р.). Вся суть в успехе дела, а не в одной попытке. Напротив, неудачная попытка на Владимира привела бы ещё к худшему. Но не следует пока трогать Судейкина. Его смерть сделает невозможным убийство Владимира и Толстого. Все ведь считают Судейкина непреодолимой преградой, через которую трудно добраться террористам до высокопоставленных особ. Погибни он, тотчас закуперятся в свои Гатчины. Не следует (пропуск — Л. Л., А. Р.) заниматься приготовлениями снарядов здесь, лучше всего сделать их за границей (но не в Швейцарии). Нелегальным жить в Питере абсолютно не следует. Дело надо поручить людям недавним, ибо все здешние легальные радикалы отлично известны Судейкину. Не думайте, что за военными не наблюдают. Известно полиции, что Фигнер образовала целый кружок на юге, и что между военными есть кружки. Мне, напр<имер>, Судейкин называл фамилии Орловских военных (я их знал, теперь забыл<sup>135</sup>), М. Н. их знает, причём упоминал, что один из них (М. Н. знает), бедный, вдруг получил 600 (кажется) рублей и берет отставку, что, дескать, очень подозрительно. Не нужно также устраивать квартир по типу хорошо уже изученному полицией. Бездетные квартиры с одним мужем и женой тотчас привлекают внимание Судейкина. Свидания на улице или в трактирах крайне непрактичны. Лучше всего вести себя непринужденно, накликать даже на себя обыск, немножко чернопередельничать... Сочтут самым безвредным существом. Было бы очень важно затеять дело на Владимира и Толстого одновременно (конечно, неодновременно — это нелегко). Но так, чтобы лица, причастные к одному делу, не знали о готовящемся другом. В полицейском отношении, конечно, самый вредный для организации человек — Судейкин и его приятель Скандраков. Оба они любители своего дела по призванию и едва ли кем заменимы. Судейкин, впрочем, очень расхваливает своего помощника, Яковского<sup>136</sup>, но трогать их прежде Влад<имира> и Толстого положительно не следует. Это значило бы предпочитать государственной пользе — личную (т. е. по отношению к организации). Но нельзя не признать, что пока существует Судейкин, организация всегда будет чувствовать себя под миной. Вот мои мысли. В частности вдаваться некогда, — хоть в них часто и бывает вся суть. Но по этой части есть люди, которым не мне давать советы.

Недавно арестованы Вера Фигнер и Никитина<sup>137</sup>, вообще в Питере мало арестов, все в Москве да в провинциях. Говорил Плеве, что арестован Суровцев, хозяин типографии Нар<одной> Воли<sup>138</sup> (так ли, объяснят тебе Л. и М. Н.). Женщины сидят в Доме Предв<арительного> Закл<ючения>. Все они, кроме разве Ивановской, ужасно расстроены нервами и нездоровы. О сообщаемых мною сведениях и мыслях поговори с Л. и М. Н. (относительно других, как Жорж, Павел<sup>139</sup> — само собою разумеется). Я заторопился, вдруг кого-то привезли и посадили через две камеры от меня. Здесь окна матовые, форточка заделана густой сеткой, подходить к ней все-таки по правилам нельзя. Но я уже давно не обращаю внимания

на крики часовых и лишь заслышу стук экипажа во дворе, сейчас выбираюсь на окно. Привезли какого-то неважного совсем, ибо всего один офицер сопровождал. Обыкновенно же два или три жандарма. Заторопился я потому, что думал, не за мной ли приехала карета, чтобы отвезти в Д<ом> Пред<варительного> Зак<лючения>. Хотя теперь вижу, что нет, а торопливость все-таки не проходит. Сегодня отдаю эти листы и не знаю, успею ли еще написать. Поэтому на всякий случай прощаюсь с тобой, дорогой мой братик. Я часто целую твою карточку так же страстно, как моего живого Женюка. Подчас всплакну, когда раздумаюсь о тебе. Нельзя без этого. Здоровье мое слабое, но положительно не так, как ты предполагаешь. Все поправимо при иной обстановке. До сих пор совершенно не думал о суде. Надо будет все-таки подумать, что сказать по Чигиринскому делу. Я пробежал заключение (собственно, обвинительный акт) Палаты. Совсем иное впечатление получил, как будто от незнакомого мне дела. Очень интересное дело и гораздо грандиознее, чем мы знали. В общем, придется сказать то, что я уже писал тебе. Податель может подробнее узнать о Суде, о заявлениях подсудимых — пусть обо всем этом расскажет. Хотел взять мою защиту Спасович<sup>140</sup>. Вообще адвокатам интересно на меня поглядеть. Но замечательно, Богдановичу в Жан<дармском> Управлении рекомендовали взять Николадзе<sup>141</sup>, человека на самом дурном счету у начальства. Я все же думаю, что не последний листок пишу тебе. Прощай, мой Женичек. Ты всегда был моим гением-хранителем. Будь им и впредь, если не разлюбил меня. Твой до гроба Митя.

### Примечания

1. Плеве В. К. (1846—1904). В 1881—84 гг. — директор департамента полиции.
2. Защитником Стефановича на «Процессе 17-ти» был Е. И. Кедрин (1851 — после 1919).
3. Кара — Қарийская политическая каторжная тюрьма в Забайкалье.
4. Письма Дейча, изъятые у Стефановича при аресте, см.: «Группа «Освобождение труда», сб. № 3, стр. 163—178.
5. Судейкин Г. П. (1850—1883). В 1878 г. — адъютант, затем помощник начальника Киевского губернского жандармского управления (ниже — ГЖУ), с 1882 г. — начальник Петербургского охранного отделения. Убит 16. XII. 1883 г. народолюбцами на квартире С. П. Дегаева и при его помощи.
6. Мальчик — В. П. Дегаев (1864 — после 1917). Младший брат С. П. Дегаева. В 1881 г. с вехом С. П. Дегаева, С. С. Златопольского и, вероятно, Л. А. Тихомирова, вступил в контакт с Судейкиным, надеясь проникнуть в важные для «Народной воли» секреты сыска.
7. Телеграмма «жене» была условным знаком. Стефанович никогда женат не был.
8. Стефанович был арестован 5. II. 1882 г. в Москве с паспортом на имя дворянина Минской губернии М. В. Огрызко.
9. Скандраков А. С. (1849—1905). В 1870-х гг. служил в Киевском ГЖУ. В начале 1880-х — начальник Московского охранного отделения.
10. Стефанович, сидя в Московской Арбатской части, просил охранявшего его городского отнеси на почту письмо Дейчу, обещая за это золотые очки. См.: «Группа «Освобождение труда», сб. № 4, стр. 174—175.
11. Слезкин И. Л. (1818—1882). В 1867—82 гг. — начальник Московского ГЖУ.
12. Адрес, по которому Дейч должен был послать Стефановичу телеграмму, уведомляющую о получении письма, следующий: Петербург, вокзал Николаевской железной дороги. До востребования. Степану Васильевичу Яковлеву. См.: «Группа «Освобождение труда», сб. № 3, стр. 181.
13. Игнатъев Н. П. (1832—1908). С I. V. 1881 по 30. V. 1882 — министр внутренних дел.

14. Якимов В. М. (ок. 1859—1909). Арестован в конце марта; 1882 г. Липский А. А. (1858—?). Арестован летом 1882 г.; Чихачев Н. Н. — участники революционного движения 1870—1880-х гг., близкие к «Народной воле».
15. Любатович О. С. (1854—1917) — член Исполнительного Комитета «Народной воли» (ниже — И. К.). В октябре 1881 г. сумела уйти от внешнего наблюдения в Петербурге и была арестована 6. XI. 1881 г. в Москве.
16. Теллалов П. А. (1853—1883) — член И. К. Арестован 16. XII. 1881 г. «Прошлое» Теллалова — это участие осенью 1879 г. в подготовке покушения на Александра II.
17. Борейша А. С. (1858—1924) — народоволец, арестован 18. XII. 1881 г. На следствии дал откровенные показания.
18. Мартынов С. В. (1856—1919) — член И. К. Арестован 16. XII. 1881 г.
19. Владимир Александрович (1847—1909) — великий князь, брат Александра III.
20. Добржинский А. Ф. (1844—1897) — прокурор, один из самых опытных и коварных следователей по политическим делам.
21. Стрельников В. С. (1838—1882) — известный своей жестокостью военный прокурор. Убит 19. III. 1882 г. в Одессе Н. А. Желваковым при участии С. Н. Халтурина.
22. По игнатьевскому плану амнистии подлежали те нелегальные и эмигранты, которые не участвовали в покушениях на Александра II. План не был приведен в исполнение. См.: П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов. М., 1964, стр. 383.
23. Дурново Е. П. (1854—1910) — участница революционного движения 1870—1900-х гг. Входила в «Черный передел». В 1880—86 гг. жила в эмиграции.
24. Голдовский — В. И. Иохельсон (1855—1937); Гартман Л. Н. (1850—1913) — народовольцы, находившиеся в начале 1880-х гг. в эмиграции. Упомянутое письмо В. И. Иохельсона от 2. III. 1882 г. опубликовано в кн.: «Историко-революционный сборник», т. 2, Л., 1924, стр. 401—405.
25. Оловенникова М. Н. (1853—1898). По первому мужу — Ошанина, по второму Кошурикова (Бараникова). Член И. К. После арестов в 1881 г. осталась одним из самых влиятельных членов Комитета. Весной 1882 г. эмигрировала.
26. Имеется в виду, по-видимому, О. Г. Павелко.
27. Бохановский И. В. (1848—1917) — вместе со Стефановичем и Дейчем — один из организаторов «Чигиринского дела». С 1878 г. жил в эмиграции.
28. Горинович Н. Е. (ок. 1855—?) — участник южных революционных кружков. Привлекался к дознанию по делу «193-х» и дал откровенные показания. Когда после этого стал разыскивать в Елизаветграде революционеров, то те заподозрили, что он это делает с целью нового предательства. В ночь на 11. VI. 1876 г. Л. Дейчем и В. Малинкой в Одессе было произведено покушение на Гориновича. Горинович был ранен в голову, но остался жив. Думая, что он мертв, покушавшиеся облили его серной кислотой. Версия об участии Стефановича в покушении основана на его собственном признании в этом на следствии в Киеве.
29. Костюрин В. Ф. (1853—1919). Принимал участие в организации покушения на Гориновича. В 1879 г. был приговорен к десяти годам каторги. «Записка» — это, по-видимому, его показания по делу Гориновича.
30. Бух Н. К. (1853 — после 1934) — участник кружков «южных бунтарей», позднее — член И. К. Б. П. Трушковский — по-видимому, тот офицер, у которого Бух и Стефанович жили в Кишиневе во время покушения на Гориновича. См.: Н. К. Бух. Воспоминания, М., 1928, стр. 131.
31. Гейкинг Г. Э. (1835—1878). В 1874—78 гг. — адъютант Киевского ГЖУ.

32. См.: «Листок Громади», 1878, № 1, стр. 23—24; «Община», 1878, № 8—9, стр. 16.
33. Котляревский М. М. (1844 — после 1914). В 1878 г., будучи товарищем прокурора Киевского судебного округа, вел следствие по «Чигиринскому делу».
34. Ванновский П. С. (1822—1904). В 1881—98 гг. — военный министр.
35. Воронцов-Дашков И. И. (1837—1916). В 1881—97 гг. — министр двора и уделов.
36. Проекты указов «О создании крестьянского поземельного банка» и «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах» были утверждены соответственно 26. IV. и 1. VI. 1882 г.
37. 6. VIII. 1880 г. III отделение было закрыто и его функции переданы департаменту полиции.
38. Фомин А. А. (1859—1933) — народоволец. Арестован 6. III. 1883 г.; Поддубенский Х. В. (ок. 1853—?) — народоволец. Арестован 5. IV. 1882 г.; Прозоровский — Ю. Н. Богданович; Ухов — В. А. Панкратьев (1855 — после 1894) — народоволец. Арестован 10. III. 1882.
39. Кобозев — Ю. Н. Богданович (1849—1888); Грачевский М. Ф. (1849—1887); Баранникова — М. Н. Ошанина; Фигнер В. Н. (1852—1942) — члены И. К.
40. Златопольский С. С. (1855—1885) — член И. К., с декабря 1881 г. находился в Москве. Арестован 19. IV. 1882 г.
41. По-видимому, имеется в виду Виноградов С. И. (1850 — после 1881).
42. Пиотровский — лицо неустановленное. Возможно, имеется в виду Рахальский П. О. (?—1883) — участник киевских революционных кружков, живший некоторое время по паспорту П. И. Петровского.
43. Саранчов И. М. (1856 — после 1890). Народовец, арестован весной 1881 г. Дал обширные показания предательского характера.
44. Тихомиров Л. А. (1852—1923). С 1879 г. член И. К., Распорядительной комиссии и редакции «Народной воли». Эмигрировал в 1882 г. В 1888 г. отрекся от революционных убеждений.
45. Гольденберг Г. Д. (1855—1880) — народоволец. Арестован в 1879 г. Обманутый следователем Добржинским, дал показания, сыгравшие большую роль в разгроме «Народной воли». Осознав факт собственного предательства, покончил в тюрьме жизнь самоубийством.
46. Братья Стефановича — Михаил (1857—1917) и Олимп (1858—1904). Участники революционного движения 1870-х гг.
47. Калужный И. В. (1858—1889) — агент И. К. Арестован 23. III. 1882 г.
48. Несколько иначе выглядит этот эпизод в пересказе В. И. Засулич. См.: «Былое», 1918, № 13, стр. 179.
49. Липка — Л. П. Барышева (ок. 1848 — после 1883) — сестра участницы «Киевской коммуны» М. П. Ковалевской, в начале 1880-х гг. была близка к народоольцам.
50. Макова Н. И. (1847 — после 1886) — хозяйка одной из квартир народоольцев в Москве. Арестована 26. X. 1882 г. Дала обширные показания о народноольческом Красном Кресте.
51. После того, как Стефановича перевезли из Москвы в Петербург, он содержался с 18. II. по 3. VI. 1882 г. в тюрьме при департаменте полиции, с 3. VI. по 10. VI. 1882 г. — в Петропавловской крепости, с 10. VI. 1882 г. по 26. III. 1883 г. — вновь в тюрьме при департаменте, после чего был переведен в Дом предварительного заключения.
52. В конце 1881 — начале 1882 гг. М. Н. Ошанина и Ю. Н. Богданович были хозяевами квартиры И. К. в Москве. Ю. Н. Богданович был арестован с паспортом на имя Прозоровского 15. III. 1882 г. Рассказ М. Н. Ошаниной о том, как ей удалось спастись от ареста, см. в кн.: Г. Ф. Чернявская-Бохановская. Мария Николаевна Оловенникова. М., 1930, стр. 23.

53. По «Процессу 20-ти», проходившему с 9 по 15 февраля 1882 г., десять подсудимых были приговорены к смертной казни. Девяти из них казнь была заменена пожизненной каторгой. Н. Е. Суханов (1851—1882), возглавлявший военную организацию «Народной воли», был расстрелян 19. III. 1882 г.
54. Толстой Д. А. (1823—1889). В 1882—89 гг. — министр внутренних дел.
55. Катков М. Н. (1818—1887). В 1863—87 гг. редактор «Московских Ведомостей». Имеются в виду его передовые статьи в «Московских Ведомостях» от 12 и 13. V. 1882 г.
56. Лампе И. Ф. (1860 — после 1891) — народоволец. Арестован 21. I. 1882 г.
57. С. Г. Нечаев (1847—1882). Организатор общества «Народная расправа». В 1873 г. приговорен к двадцати годам каторги. Отбывал в Алексеевском равелине. В 1877—1880 гг. распропагандировал охрану равелина. Деятельность Нечаева была обнаружена в середине декабря 1881 г. 24 солдата охраны были преданы суду, Нечаев переведен в совершенно изолированную камеру, где через полгода и умер.
58. Письмо от 14. IV. 1882 г. См.: «Группа «Освобождение труда», сб. № 4, стр. 96—98.
59. Потапов А. Л. (1818—1886). В 1874—76 гг. — шеф жандармов и начальник III отделения. В 1876 г. в ответ на угрозу Потапова подвергнуть Нечаева телесному наказанию, тот нанес Потапову пощечину.
60. 13. VII. 1877 г. по приказанию петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова (1812—1889) был подвергнут телесному наказанию политзаключенный Боголюбов — А. С. Емельянов (ок. 1852 — после 1885).
61. Мезенцев Н. В. (1827—1878). В 1876—78 гг. — шеф жандармов и начальник III отделения.
62. Динамитная мастерская «Народной воли» была захвачена 5. VI. 1882 г. При обыске было обнаружено много взрывчатых веществ и один снаряженный динамитный снаряд.
63. Письмо от 16. VI. 1882 г. — Архив Дома Г. В. Плеханова. АД. 4.263.7.
64. Корба А. П. (1849 — не ранее 1937) — член И. К. Арестована 5. VI. 1882 г.
65. Андреев Н. П. (1853 — после 1900) — агент И. К. Арестован 5. VI. 1882 г.
66. Быховский С. В. (1851 — после 1885). В 1874 г. был близок к киевским «чайковцам». Арестован 5. VI. 1882 г. и вскоре освобожден под особый надзор полиции.
67. Весной 1882 г. с Кары бежали восемь человек. И. Н. Мышкин (1848—1885) и Н. Е. Хрущов (1858 — после 1889) добрались до Владивостока, где были арестованы. Ф. Н. Юрковский (1851—1896) был пойман казаками на границе с Китаем.
68. Кибальчич Н. И. (1854—1881); Гельфман Г. М. (1854—1882); Колодкевич Н. Н. (1850—1884) — видные народовольцы. В 1870-х гг. каждый из них по несколько лет провел в предварительном заключении.
69. Николаевский Завод — тюрьма Петровского Завода, где с 1830 г. отбывали каторгу декабристы.
70. Дурново И. Н. (1830—1903). В 1882—86 гг. товарищ министра внутренних дел.
71. См. примечание 63.
72. Лорис-Меликов М. Т. (1825—1888) — с августа 1880 по май 1881 г. — министр внутренних дел.
73. Станюкович К. М. (1843—1903) — писатель, был связан с революционными кругами.
74. Меркулов В. А. (1860 — после 1910) — народоволец. Арестован 27. II. 1881. Во время следствия сделался предателем.
75. В 1883 г. в Петербург приехали две сестры Стефановича — Вера и Мария.

76. Балк — лицо неустановленное.
77. Летом 1882 г. народовольцы предприняли попытку освободить революционера М. Э. Новицкого (1855—1920) из Саратовской тюрьмы. Попытка окончилась неудачно.
78. Ивановская П. С. (1853—1935) — агент И. К. Арестована 13. IX. 1882 г.
79. Трудницкий Г. С. (1854—1876); Веледницкий; Богуславский А. А. (1854—1880) — участники киевских революционных кружков 1870-х гг. Во время следствия дали обширные показания, частично изданные департаментом полиции в кн.: «Свод указаний, данных некоторыми из арестованных по делам о государственных преступлениях, СПб., май 1880 года». [СПб.], 1880.
80. Имеется по-видимому, в виду книга: А. П. Мальшинский. Обзор социально-революционного движения в России. СПб., 1880.
81. Михайлов М. Л. (1829—1865) — писатель-революционер.
82. Очерк Стефановича пока не обнаружен.
83. Вера — Засулич В. И. (1849—1919) — видная участница революционного движения, близкий друг Стефановича.
84. На «Процессе 17-ти» председательствовал сенатор Д. С. Синеоков-Андреевский (1829—1905).
85. Братчики — члены «Христианского братства».
86. Клеточников Н. В. (1846—1883) — агент И. К. С января 1879 по январь 1881 г. служил по заданию народовольцев в III отделении.
87. Оржевский П. В. (1839—1897). В 1882—87 гг. товарищ министра внутренних дел и командир корпуса жандармов.
88. Анна Алек. — лицо неустановленное. Возможно, имеется в виду А. С. Решикова (Серебрякова), позднее известная провокаторша. О ее близкой дружбе с Е. П. Дурново см.: «Группа «Освобождение труда», сб. № 5, М.—Л., 1926, стр. 48.
89. Желиховский В. А. (1843 — после 1915) — прокурор, обвинитель в нескольких крупных политических процессах.
90. Романенко Г. Г. (1855—1928) — член И. К. В Россию из эмиграции вернулся летом 1881 г., а 9. XI того же года был арестован. Был административно сослан в Ташкент.
91. Имеется в виду О. Любатович, на квартире которой Романенко был арестован.
92. Любопытные подробности об отношении С. С. Златопольского к Романенко, а также вообще о взаимоотношениях в И. К. содержится в неопубликованной части письма Стефановича Дейчу от 17. I. 1883 г. АД 4.263.
93. В начале 1882 г. члены «Христианского братства» В. Гусев и Ф. Крылов вели пропаганду в секте «сютаевцев», которой руководил крестьянин Новоторжского уезда Тверской губернии В. К. Сютаев. «Братчики» передали Сютаеву брошюры «Соборное послание Христианского братства...» и «Соборное уложение Христианского братства». Задержать пропагандистов полиции не удалось. Вскоре после этого Гусев и Крылов уехали в Саратов. Видимо, именно они отправили оттуда «Послание» Сютаеву. Во время ареста у Стефановича было изъято несколько сотен экземпляров брошюр «Христианского братства». Стефанович пытался убедить следствие в том, что «братчики» только воспользовались народовольческой типографией и больше никакого отношения к партии не имели.
94. 27. V. 1882 г. по подозрению в сходстве с Ф. Крыловым в Тверь был доставлен И. Ф. Лампе. Свидетелями-сектантами сходство Лампе с разыскиваемым пропагандистом не было подтверждено.
95. Присецкий И. Н. (1858—1911) — участник революционного движения 1870—1880-х гг. В 1881—82 гг. жил в Белграде. Упомянутое письмо см.: «Группа «Освобождение труда», сб. № 4, стр. 222—225.
96. Н. А. Троицкий отмечает, что «агентами именно 3-й степени называли себя после ареста, как правило, все члены И. К. (Н. А. Троицкий. «На-

родная воля» перед царским судом. Саратов, 1971, стр. 209.) Это соответствовало Уставу И. К.

97. Определить сколько-нибудь точно количество членов партии «Народная воля» не представляется возможным. Число участников революционного движения 1879—1882 гг. — приблизительно 3,5 тыс. человек. См. об этом: Л. Я. Лурье. Возрастная структура «семидесятников» (в печати).

98. № 10 «Народной воли» вышел в сентябре 1884 г.

99. Типография была захвачена 18. VI. 1882 г. Хозяева квартиры — Г. Ф. Чернявская-Бохановская и Д. Я. Суровцев успели скрыться.

100. Муравьев Н. В. (1850—1908). В 1881—84 гг. — прокурор Петербургской судебной палаты. До этого читал в Московском университете лекции по уголовному судопроизводству.

101. Санковский Н. М. (1854—1890) — 13. XI. 1881 г. совершил покушение на генерала Черевина. Заявление о непричастности И. К. к этому покушению было напечатано вначале отдельно 22. XI. 1881 г., а затем в № 7 «Народной воли» 23. XII. 1881 г.

102. Объявление И. К. об убийстве Стрельникова появилось осенью 1882 г.

103. № 8—9 «Народной воли» вышел 5. II. 1882 г. В передовой статье (авторы, предположительно, В. Лебедев и М. Ошанина) отстаивался принцип «захвата власти».

104. Имеется в виду следующее место из письма Дейча от 2. II. 1882: «Кум Судейкин несомненно извлечет из него (В. Дегаева — публ.) больше пользы, чем вы; кум, наверное, знает, что мальчик поставлен кашеями (народовольцами — Л. Л., А. Р.) и надеется их перехитрить, что ему, вероятно, удастся...». См.: «Группа «Освобождение труда», сб. № 3, стр. 171. Впоследствии Дейч неоднократно высказывал мысль, что аресты весной 1882 г. в Москве явились результатом слежки за В. Дегаевым.

105. 11. II. 1879 г. в Киеве под руководством Судейкина были произведены аресты революционеров-народников. В доме Коссаровского в квартире братьев Ивичевичей жандармам было оказано вооруженное сопротивление. На квартире курсистки Н. Я. Бабичевой (дом Батухина на той же Жилинской улице) были арестованы находившиеся там В. Дебогорий-Мокрневич, М. Ковальская и П. Орлов.

106. Осинский В. А. (ок. 1853—1879) — революционер-народник, организатор и участник нескольких террористических актов. Арестован в Киеве 25. I. 1879 г.

107. Имеется в виду побег Стефановича и др. из киевской тюрьмы в мае 1878 г.

108. Официально оклад Судейкина в это время (вместе с разъездными и столовыми, квартира ему предоставлялась казенная) — 3500 рублей. Какие суммы, кроме этой, получал Судейкин, неизвестно. Следует учесть, впрочем, что в его руках находились значительные средства «на расходы по наблюдению, розыскам и на содержание агентам». По штатному расписанию на 1883 год эта сумма составляла 72 990 рублей. См.: ЦГАОР, ф. 63, оп. 1, № 340, т. 1, л. 225. (Сообщено Ю. А. Дмитриевым.)

109. Соловьев А. К. (1846—1879). 2. IV. 1879 г. совершил неудавшееся покушение на Александра II. Слова Судейкина подтверждают ходившие в революционных кругах слухи о том, что Соловьева на следствии пытали.

110. Михайлов А. Д. (1855—1884) — виднейший член И. К. «Народной воли». С 26. II. 1882 г. по 18. III. 1884 г. отбывал каторгу в Алексеевском ревелине. Умер от «острого катарального воспаления легких». Слух 1883 г. о его смерти ошибочен.

111. Адриан — Михайлов А. Ф. (1853—1929). Революционер-земледелец. А. Ф. Михайлов в побеге с Кары не участвовал, и его в Петербург не переводили.

112. Златопольский Л. С. (1847—1907) — агент И. К. «Народной воли», брат С. С. Златопольского. Судился по «Процессу 20-ти», был приговорен к двадцати годам каторги. После суда вызвался написать проект об изменении социального строя под названием «Основание рациональной

системы общественно-экономической деятельности». Для работы над проектом с 2. III. по 27. V. 1882 г. содержался в тюрьме при департаменте. Полезных для сыска указаний не дал и был возвращен в Трубецкой бастион, а затем отправлен на Кару.

113. Имеется в виду книга: Николай Иванович Кибальчич (Материал к биографии). Лондон, 1882. Здесь были напечатаны воспоминания о Кибальчиче Л. Г. Дейча.

114. О какой итальянской книге идет речь, неизвестно. В письме от 10. X. 1882 г. Стефанович просил прислать ему итальянскую грамматику. См.: «Группа «Освобождение труда», сб. № 4, стр. 170.

115. «Автобиографические заметки А. Д. Михайлова». — В сб.: «На родине», № 3, Женева, 1883, стр. 5—30.

116. Имеется в виду первое (на итальянском языке) издание книги С. Кравчинского «Подпольная Россия» (Милан, 1882).

117. Неясно, какая из книг Маркса имеется в виду. Известно, что Стефанович интересовался трудами Маркса. 21. III. 1883 г. он писал Дейчу: «Было бы очень хорошо, если бы душеприказчики Маркса уступили бы вам перевод на русский язык его книги «Производство». Напечатание ее в нашей типографии было бы большой для нее (типографии) честью, а издержки, наверное, окупилась бы даже при тайном распространении книги в России». См.: Архив Дома Г. В. Плеханова. АД 4.263.18, л. 2.

118. Видимо, имеется в виду книга: *Étude sur mouvement communaliste à Paris en 1871, par G. Lefrançais, ... Neuchâtee, 1871.*

119. Последнее по отношению к письму Стефановича издание этой книги Луи Блана вышло в Париже в 1881 г.

120. Имеется в виду книга: *La Politique moderne, traité complet de politique, par N. Villiamé, Paris, 1873.*

121. Имеется в виду книга: *Histoire de l'Internationale, par E. Villetard, ... Paris, 1872.* Было также и издание 1871 г.

122. В 1883 г. брат Я. В. Стефановича Олимп находился в ссылке в Сибири в Тюкалинске.

123. Лебедева Т. И. (1850—1887) — член И. К., гражданская жена члена И. К. Фроленко М. Ф. (1848—1938). Фроленко был арестован 17 III. 1881 г., Лебедева — 3. X. 1881 г.

124. Л. Г. Дейч находился в постоянной переписке с отцом Я. В. Стефановича В. И. Стефановичем, сельским священником, проживавшем в селе Делтовка Черниговской губернии. Письма сохранились в фонде Л. Г. Дейча в Архиве Дома Г. В. Плеханова. АД 1.23.

125. Лицо, которое должно было отвезти это письмо за границу, не установлено.

126. Лиза — Хотинская Е. А. (1855 — после 1895) — близкий друг Стефановича, Дейча, Засулич. В 1879—95 гг. жила в эмиграции.

127. Халтурин С. Н. (1856—1882) — организатор Северо-Русского рабочего союза, член И. К.; Желваков Н. А. (ок. 1860—1882) — народо-волец. Казнены 22. III. 1882 г. в Одессе. При допросе Халтурин не назвал своей настоящей фамилии и был попушен как Степанов. Его фотографию предъявили Стефановичу для опознания. Стефанович подтвердил, что на фотографии — Халтурин.

128. Василь-Игнатов В. Н. (1854—1885) — черноперелец, позже член группы «Освобождение труда». Мария — Игнатова М. В., двоюродная сестра В. Н. Игнатова. В 1880—81 гг. М. В. ездила с больным В. Н. за границу.

129. Деньги для оказания материальной помощи Стефановичу были выделены не из сумм «Красного Креста», а переданы Л. Г. Дейчу В. Н. Игнатовым.

130. «Неделя» — популярная политическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге в 1866—1901 гг.

131. Письмо Александру III — документ, с которым И. К. «Народной воли» обратился к правительству после царевубийства 1 марта. В письме содержа-

лись требования амнистии, установления политических свобод, выборов в народное собрание.

132. Клемансо Ж. (1841—1929) — французский политический и государственный деятель. В начале 1880-х гг. — лидер радикалов. Выдвинул широкий план буржуазно-демократических реформ.

133. «Бисмарковским органом» обычно называли ежедневную газету «Norddeutsche allgemeine Zeitung».

134. «Бедоносцев» — Победоносцев К. П. (1827—1907). В 1880—1905 гг. обер-прокурор Синода.

135. В конце 1881 г., по поручению И. К., Стефанович совершил поездку в Орел, где познакомился с орловскими офицерами-народовольцами. См.: Архив Дома Г. В. Плеханова. АД 10.2, тетрадь 3, л. 98.

136. Янковский Г. И. — помощник Судейкина с лета 1882 г.

137. В. Н. Фигнер была арестована 10. II. 1883 г. С. В. Никитина (1860—1884) — народоволка. Арестована 13. I. 1883 г.

138. 18. XII. 1882 г. в Одессе была захвачена типография «Народной воли». при этом были арестованы Д. Я. Суровцев (1852—1925), а также С. и Л. Дегаевы.

139. Жорж — Г. В. Плеханов (1856—1918); Павел — П. Б. Аксельрод (1850—1928).

140. Спасович В. Д. (1829—1906) — известный адвокат, выступал на ряде народовольческих процессов. На «Процессе 17-ти» защищал супругов Прибылевых.

141. Николадзе Н. Я. (1843—1928) — журналист, адвокат. В 1882 г. был посредником в переговорах «Священной дружины» с «Народной волей». В «Процессе 17-ти» участия не принимал.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### Статьи

|  |    |
|--|----|
| Е. В. Душечкина. Статейный список 1652 г. как литературный памятник . . . . .  | 3  |
| Ю. М. Лотман. О Хлестакове . . . . .   | 19 |
| С. Г. Исаков. Роль прибалтийско-немецких литераторов в пропаганде творчества М. Ю. Лермонтова в немецком культурном мире   | 54 |
| П. С. Рейфман. К проблеме эволюции либеральной журналистики в 1860-е годы. (Санкт-Петербургские ведомости. 1863—1874. Время издания и редактирования газеты В. Ф. Коршем) Статья 1 | 68 |
| В. И. Беззубов. Леонид Андреев и Достоевский . . . . .   | 86 |

### Материалы и сообщения

|  |     |
|--|-----|
| И. А. Паперно, Ю. М. Лотман. Вяземский — переводчик «Негодования» . . . . .  | 126 |
| П. С. Рейфман. Из истории журнально-литературной борьбы вокруг крестьянского вопроса во второй половине 1850-х годов . . . . . | 136 |
| Б. Ф. Егоров. Новые материалы об Ап. Григорьеве . . . . .  | 146 |
| Л. Я. Лурье, А. Б. Рогинский. Неопубликованное письмо Я. В. Стефановича Л. Г. Дейчу . . . . .                                  | 161 |